

## Воспоминания

### Моим детям, внукам и правнукам

МОСКВА  
КАНОН+  
2009

Д. И. ДУБРОВСКИЙ

Дубровский Д. И.

Д 79 **Воспоминания. Моим детям, внукам и правнукам** / Д. И. Дубровский. – М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2009. Изд. 2-е, доп. 336 с.: ил.

ISBN 978-5-02-022560-6

Автор книги профессор Д.И. Дубровский – главный научный сотрудник Института философии Российской Академии наук – рассказывает о событиях своей жизни в годы Великой Отечественной войны, о том, как попал четырнадцатилетним юнцом на фронт, об атмосфере послевоенного времени, учебе на философском факультете Киевского университета в сталинские времена, о замечательных личностях, с которыми его сводила судьба.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ</b> .....	3
<b>НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВТОРОМ ИЗДАНИИ</b> .....	5
<b>ДЕТСТВО</b> .....	7
<b>ВОЙНА</b> .....	13
1. Эвакуация .....	13
2. Село Шгефан. Колхоз «Искра» .....	17
3. Рассказы отца .....	20
4. Колхоз «Искра» (продолжение) .....	25
5. Завод .....	29
6. Дорога на фронт .....	49
<b>ФРОНТ</b> .....	84
1. Банно-прачечный отряд .....	88
2. Боевое крещение .....	91
3. «Прощай Родина!» .....	101
4. Гриша .....	105
<b>КАК Я ЧУДОМ НЕ ПОГИБ ПОСЛЕ ВОЙНЫ</b> .....	113
<b>МЕЛИТОПОЛЬ</b> .....	123
<b>КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ</b> .....	143
<b>БОЛЕЗНЬ</b> .....	167
<b>МОИ КРИМИНАЛЬНЫЕ ДЕЛА</b> .....	195
<b>ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УЧЕБЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ</b> .....	214
<b>О ТРЕХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЯХ</b> .....	227
1. Геннадий Сардионович Гургенидзе .....	227
2. Владимир Спиридонович Готт .....	253
3. Владимир Павлович Эфроимсон .....	285
<b>ОЛЯ И САША</b> .....	311

1

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Чтобы решиться писать, надо верить, что это кому-нибудь нужно.

Я знаю, что у меня будет, но крайней мере, три заинтересованных читателя: дочь Ирина, внуки Иван и Петр. Им и предназначены мои воспоминания.

Связь поколений сильно ослабела. Наши истоки быстро заметает время. И это усиливает чувство одиночества, случайности нашего бытия. Ведь очень многое, желая того или нет, мы унаследовали от своих предков. Но их жизнь уже через одно-два поколения часто оказывается для потомков призрачной. Лишь немногие знают важные подробности жизни дедов и прадедов, не говоря уже о более ранних представителях своей родословной. Утрата этой связи, историческая пустота за спиной обедняет личность, отнимает у нее часть жизненной силы.

Вот я, например, мало знаю о своих предках. Смутно помню деда по отцу. Он умер, когда мне было шесть лет. В моей памяти он остался суровым, немногословным стариком с большой бородой, в очках, вокруг которого почтительно ходили домочадцы. Звали его Соломон. Он был мастеровым человеком. Говорят, искусно делал шапки, шил воротники и шубы из меха. Клиенты стояли у него в длинной очереди. Бабушка Лиза – его супруга – жила после его смерти еще много лет. Она была исключительно доброй, мягкой, приветливой, ничего не жалеющей для внуков. Остался ее образ, излучающий тепло, сердечность, умиротворение. И еще в ее облике была какая-то покорность судьбе, связанная, наверное, с ее набожностью. Добрая бабушка Лиза передала мне много душевной теплоты.

Ее отец – по фамилии Дубров – жил где-то около станции Пологи, недалеко от Гуляй-поля, и занимался портняжничеством. Это все, что я о нем знаю.

Об отце же деда мне известно только, что он жил в Феодосии и оттуда переехал в город Орехов (Запорожской области).

Бабушка по материнской линии жила в нашей семье и умерла в 1942 году. Мать не помнила своего отца, он умер, когда ей еще не исполнилось и года. Рано овдовев, бабушка зарабатывала на

жизнь шитьем, содержала небольшую лавку в городе Орехове. О родителях бабушки я ничего не знаю. Все это кануло в прошлое навсегда.

Я жил в такое время, когда прадеды нас не очень интересовали. Мы были устремлены в будущее. Лишь последние лет двадцать этот интерес стал возрастать. Но было уже поздно: те, кто могли бы ответить на мои вопросы, ушли из жизни. И мне оставалось только давать волю воображению, чтобы представить своих предков, их лица, характеры, образ жизни. Сейчас все это для меня очень важно: ведь моя завершающаяся жизнь незримой нитью уходит в далекие века. Каждый из нас – звено в цепи поколений, несет в себе бремя прошлого и передает его потомкам. И я не сомневаюсь, что тем, кто идет от меня, будет интересно узнать о моей жизни: дочери Ирине, по настоятельным просьбам которой я, собственно, и начал писать воспоминания, внуку Ивану, родившемуся в один день со мной – 3 марта – спустя пятьдесят пять лет, и внуку Петру, который пока еще не достиг шестилетнего возраста, но уже показывает характер.

Надеюсь, мои близкие поверят, что я мало озабочен тем, чтобы сохранить память о себе, ибо, как человек, отдавший много лет занятиям философией, хорошо понимаю тщету некрологов, надгробий, славы, всевозможных потуг увековечить себя. Хотя слабость такого рода устремлений, наверное, свидетельствует о сильном снижении уникальной ценности отдельной личности. Может быть, от того, что нас становится слишком много, а жизнь – всё более динамичной.

Но все же я уверен, что потомкам важно знать свои истоки. Такое знание, зачастую бессознательно, питает личность смыслом и жизненной энергией.

Хочу поместить в книгу некоторые фотографии, которые будет любопытно посмотреть моим внукам и их детям. Кто знает, может быть, для них окажутся не только интересными, но и в чем-то полезными сведения и образы этой книги.

И пусть их жизнь будет не менее содержательной, долгой и удачливой, чем моя!

Я написал первую часть воспоминаний, завершавшуюся годами учёбы в Киевском университете и решил издать ее, так как не знал, хватит ли у меня времени и сил, чтобы описать свою жизнь в остальные долгие годы, из которых восемнадцать лет прошли в До-

нецке, а последующие тридцать в Москве. Но потом мне в голову пришла мысль написать ещё одну главу, посвященную трем замечательным личностям, сыгравшим в моей жизни чрезвычайно благотворную роль, а заодно кратко осветить наиболее заметные события моей жизни в Донецке и в Москве.

Вначале я даже не предполагал издавать свои воспоминания, хотел аккуратно переплести рукопись и подарить дочери. Я рассказывал об этом своим друзьям. А одному из них – известному режиссеру и писателю Теодору Юрьевичу Вульфвичу (он создал такие замечательные фильмы, как «Последний дойм», «Крепкий орешек», «Товарищ генерал») – давал читать главы по мере их написания. Я очень благодарен ему за дружеские советы и замечания, особенно за добрые слова о тех разделах рукописи, которые посвящены событиям войны. Теодор Вульфвич – боевой офицер, командир взвода разведки (а мы, фронтовики, знаем, что это такое!), награжденный многими орденами, человек резкий в суждениях, сохранивший, несмотря ни на что, офицерскую честь и прямоту. Его слова были особенно значимыми.

У меня есть не только друзья, но брат и сестра, о которых часто ведется речь, у них есть дети и внуки. Может быть кое-кому из них тоже будет интересно прочесть мои воспоминания. И я решил издать их самым малым тиражом. К тому же книжка не потеряется.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВТОРОМ ИЗДАНИИ

Опубликовав свои воспоминания в 2000 году, я не мог и подумать, что возникнет необходимость второго, дополненного издания. Я уже как бы подвел черту под своей жизнью, что вполне естественно, когда тебе перевалило за 70.

Но не тут то было! Судьба приготовила мне сюрпризы – не пойму только, за какие заслуги. В 75 лет я женился на Ольге Васильевне Дашкевич, а на 77 году жизни родился мой сын Саша. И воспоминания, которые я адресовал своим внукам и правнукам, оказались незавершенными. Как можно теперь уйти из жизни и не

оставить хотя бы немногих слов о ее неожиданном, прекрасном повороте, о моей любимой, доброй, умной, замечательной жене и нашем дорогом малыше, которому исполнилось три года. Они подарили мне вторую жизнь! И сейчас я должен держаться изо все сил, сколько возможно, чтобы помочь хоть немного вырастить Сашу.

Моя дочь Ира старше своего братишки более чем на 40 лет. Моим внукам Ване – 24 года, а Пете – 13. И у них теперь есть дядя Саша, которому еще только 3 года. Племянникам очень нравится их дядя, а ему очень нравятся его племянники. И если у Вани в ближайшее время появится ребенок (что весьма вероятно), то Саша, имея от роду 4–5 лет, станет дедушкой. Вот такие дела! Я надеюсь, он справится с этой ролью при поддержке всех своих родственников.

Во втором издании осталось все, что было в первом (нет ни малейших исправлений). Оно дополнено лишь отдельной главой в конце, посвященной последнему этапу моей жизни. Эта глава так и называется «Оля и Саша». Я верю, что у Саши тоже будут дети. И теперь книга, адресованная моим внукам и правнукам, будет, наконец, завершена. Думаю, они проявят интерес к своим истокам, далеким событиям жизни их предков, к пережитым мной и описанным в книге эпизодам нашей российской истории, особенно периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени, когда еще жив был Сталин с его тяжелой рукой. Впрочем, кто знает, будет ли это для них действительно интересно или не очень – слишком быстро меняется характер общественной и личной жизни. В любом случае – как это представляется мне – я выполнил перед ними свой долг.

Первое издание вышло минимальным тиражом в 150 экземпляров (у меня еще осталась почти половина). Я хотел и второе издание выпустить таким же тиражом – ведь эта книга только для близких. Но издатель, Юрий Валентинович Божко, – мой добрый приятель (и ученик в карате) – настаивал на большем тираже. За чем? Я вначале возражал, но потом подумал: ладно, его дело.

## ДЕТСТВО

Я помню себя с двухлетнего возраста. Мне помогла это установить моя мать, которой я в разное время рассказывал о своих первых впечатлениях.

Я родился в городе Орехове в 1929 году, где прожил около трех первых лет жизни. Отчетливо помню большую башню, она казалась мне уходящей высоко в небо и вызывала необыкновенное ощущение чего-то огромного, таинственного и страшного. Мать рассказывала, что это была не столь уж высокая вышка артезианского колодца, стоявшая в городском саду, в котором она часто гуляла со мной весной 1931 года.

И еще отчетливо помню гудки паровозов, рождавшие у меня необыкновенное чувство, трудно поддающееся выражению: это была весть из другого мира, нечто призывное, грозное, захватывающее дух, зовущее в неизведанное, что-то жуткое, но притягательное.

В 1932 году мы переехали в Мелитополь, где уже обосновались все братья отца. Потом, примерно до четырех лет, у меня не сохранилось ярких воспоминаний. В памяти всплывает наш дом в Мелитополе, за которым простирался большой пустырь, я ловил там стрекот, кузнечиков-красноперок и синеперок.

Хорошо помню (это было уже в 1933 голодном году), как у нас закололи свинью, которую с большими трудами долго выкармливали, как готовили весь день колбасу, сало, что-то варили и жарили. А наутро – крик матери: в сенах проломил стену и все украли.

В 1934 году в Мелитополь прилетел дирижабль. Он опустился на окраине, до которой от нашего дома было не очень далеко. Мать ушла на работу, и вместе с толпой ребятишек и взрослых я побежал смотреть это чудо. Дирижабль болтался в воздухе на длинных канатах. Вокруг скопилась огромная толпа. Меня оттерли от соседских мальчишек, и я потерялся. Только к вечеру – не помню уж как – попал домой. Мать была в истерике: искала меня весь день и не знала уже, что и думать. В общем, она здорово отлупила меня скрученным мокрым полотенцем. Это осталось одним из самых ярких впечатлений раннего детства.

По соседству с нашим стоял единственный на всей улице двухэтажный дом. В нем жил мой сверстник Борька Игнатъев. Его отец

был инженером, а мать, Мария Павловна, учительницей русского языка в школе. На общем фоне это семейство резко выделялось своей культурой и аристократизмом. Мария Павловна – высокая красивая женщина – происходила из дворянского рода. Я не очень дружил с Борькой. Но не раз бывал у них в доме, и от общения с Игнатъевыми у меня сохранилось чувство прикосновения к чему-то высшему и благородному. Мария Павловна всю жизнь преподавала русский язык и литературу в одной и той же школе. Мне повезло учиться у нее. Такого уровня интеллигентности, достоинства, прекрасной русской речи, благородства облика, манер, некоторого высокомерия, но вместе с тем и уважения к достоинству ученика я больше не встречал среди школьных учителей.

Не буду слишком утомлять воспоминаниями раннего детства – они в большинстве своем довольно тусклы.

В 1936 году (мне исполнилось семь лет) родители решили построить свой дом. Отец и мать целыми днями возили тачками песок и глину, вместе с мастером месили ногами «вальки» – смесь соломы и глины. Сначала клали один слой «вальков», он сох несколько дней, потом на него другой. Наконец начали ставить крышу, и все было усыпано свежими стружками и обрезками. Затем долго-долго делали все остальное, и мы жили в одной комнате без полов. На осень мать послонила арбузы в огромной бочке, и к октябрьским праздникам они были готовы.

1937 год обошел нашу семью своими бедами. Отец – простой парикмахер, мягкий, услужливый, большой труженик. Все родственники были мастеровые. Они как-то проскочили это время без потерь, хотя в Мелитополе сажали и расстреливали немало.

Мне же запомнился подарок матери – огромный том сочинений Пушкина с прекрасными иллюстрациями. Исполнилось как раз столетие со дня его смерти. В ту зиму я сидел около жарко натопленной печи и читал «Руслана и Людмилу». Мне открывался новый мир, душа моя воспаряла в этот необыкновенный мир и трепетала там. Лишь десятилетия спустя я понял, какой след оставила в моей душе поэзия Пушкина.

До войны я окончил пять классов. У меня и моих сверстников довоенная жизнь была исключительно насыщенной, интересной, волнующей. Мы пели песни со словами «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и т.п., но оно действительно для меня было счастливым. И прежде всего, благодаря детской желез-

ной дороге, которую (неизвестно по какой случайности) построили в Мелитополе, если не ошибаюсь, в 1938 году. Это было настоящее чудо для того времени. Что бы там ни говорили о сталинском деспотизме, репрессиях, чудовищных жертвах режима, обмане и насилии, – все это было, но остается фактом, что в довоенном Мелитополе «партия и правительство» очень много делали для детей.

Детскую железную дорогу построили по последнему слову тогдашней техники. Она составляла более трех километров и шла вокруг городского парка. На ней соорудили две станции: «Пионерскую» и «Павлика Морозова», кроме того, выстроили депо, подъездные пути. Небольшой паровоз, специально для нее сделанный, и шесть вагонов, вмещавших примерно по тридцать человек, курсировали вокруг парка. Окрестности оглашались веселыми паровозными гудками у переездов. Всё – от начала до конца – выполняли дети. Правда, рядом с машинистом – это был, конечно, старшечка – находился наставник. Я начал «работать» на железной дороге, когда учился в третьем классе. Меня приняли в службу пути (были еще служба движения, служба связи и др.). Вначале я дежурил на переезде у входа в парк. Моей обязанностью было по свистку опускать шлагбаум, следить, чтобы никто не перешел пути перед приближающимся поездом и встречать его, держа желтый флажок.

Все мы носили железнодорожную форму со знаками отличия и очень гордились ею. Вскоре меня повысили в должности, и я стал «бригадиром пути», носил в петлице три «птички» (покрытые красной эмалью уголки шириной примерно в четыре миллиметра). На следующий год меня сделали «дорожным мастером». Теперь в моих петлицах красовались две «гайки» (покрытые красной эмалью шестиугольники). Это была моя высшая должность на железной дороге. Я отвечал за участок пути протяженностью в один километр, и мои «подчиненные» обязанности были обеспечивать нормальное состояние пути, менять шпалы, регулярно проверять крепление рельсов, проводить ремонт. Начальником службы пути был десятиклассник Арон Закс, который работал вместе с инструктором – взрослым специалистом, обучавшим нас и контролировавшим нашу деятельность.

Это было действительно серьезное дело. Паровоз, вагоны, пути – все настоящее. Очереди малышей и родителей за билетами в кассе на станции «Пионерская» никогда не убывала – все хотели

прокатиться в новеньких, сияющих вагонах, украшенных по праздникам кумачом и цветами. Мы отвечали за жизнь сотен людей, ежедневно катавшихся вокруг парка. Поэтому график дежурств соблюдался неукоснительно, строго выполнялись все инструкции во время дежурства. Лучший способ воспитания у детей чувства ответственности и дисциплины трудно придумать. В особом почете были машинисты – они вели самостоятельно паровоз (под присмотром наставника). Это были ученики седьмого-десятого классов, прошедшие специальную подготовку. Над нами шефствовала настоящая железная дорога, и мы являлись частыми гостями станции Мелитополь. Нас встречали там как взрослых, объясняли премудрости профессии, показывали, как работают железнодорожники.

Детская железная дорога стала центром жизни мелитопольской молодежи. Она называлась «Малая Кагановичская», носила имя наркома путей сообщения Лазаря Моисеевича Кагановича, заботами которого она якобы и была сооружена – по указанию, конечно, величайшего вождя народов, друга детей, мудрого и любимого товарища Сталина.

Как бы там ни было, но «Малая Кагановичская» – по нынешним меркам – являла собой чудо организации детского воспитания. При ней работали десятки всевозможных кружков самодеятельности: драматический, хоровой, литературный, оркестр струнных инструментов, был «свой» замечательный духовой оркестр. Каждую неделю устраивались вечера, на которых выступали участники художественной самодеятельности, устраивались танцы и игры. Душой этих вечеров был наш массовик (так он назывался) Исаак Матвеевич Берман, – сколько лет прошло, а я помню его по имени-отчеству. Он устраивал каждый раз новый аттракцион с получением призов, новые замысловатые, но очень веселые и интересные игры-соревнования. Помню, поперек зала на уровне человеческого роста закреплялась бечева, к которой на нитках подвешивались разные разности: туалетное мыло, одеколон, конфеты, блокноты и завернутые в бумагу, замаскированные смешные сюрпризы. Желающим принять участие в игре, а их всегда было хоть отбавляй, завязывали глаза, давали ножницы, потом их несколько раз раскручивали на месте. Они должны были определить правильное направление, подойти к подвешенным на нитках предметам, расположенным друг от друга примерно на расстоянии тридцати сантиметров, и срезать один из них. Сколько было смеха, веселья!

На вечера приглашались знаменитости. Однажды к нам приехал известный актер Николай Крючков с новеньким Орденом Трудового Красного Знамени на лацкане пиджака, который я благоговейно рассматривал, а Крючков весело улыбался и что-то рассказывал, отвечая на вопросы.

При детской железной дороге работали также многочисленные профессиональные кружки: радиолюбителей, радиооператоров, юных натуралистов и другие. Многие из нас, выполняя свои обязанности на самой железной дороге, одновременно участвовали в нескольких кружках – и на все хватало времени. Я, например, посещал кружок радиооператоров и после трех или четырех месяцев учебы сдал экзамены и получил удостоверение радиостанции третьей категории: изучил азбуку Морзе, мог передавать и принимать на слух несложные сообщения. И это в одиннадцать лет! Кроме того, я два года работал в кружке юных натуралистов. Им руководил преподаватель мелитопольского сельхозинститута Коваленко (забыл его имя и отчество). Это был очень симпатичный и добрый человек лет тридцати пяти, с задумчивыми голубыми глазами, очень обходительный, влюбленный в свою профессию, умевший увлечь своих учеников.

Я вначале выращивал на обработанной мной делянке сорго и получил очень высокий урожай, а на следующий год по предложению Коваленко, который был, конечно, убежденным мичуринцем, провел увлекательный эксперимент.

Около станции имени Павлика Морозова возвышалось депо для паровоза и вагонов. Прямо к нему примыкал большой сад и участок земли кружка юных натуралистов, составлявший более гектара. Коваленко считал, что можно управлять процессом созревания плодов, изменяя условия, ускорять или замедлять этот процесс. Мы выбрали четыре дерева черешни, стоявшие на краю сада около самого депо. Еще в конце зимы началась работа. Два дерева по периметру их корневой системы я старательно обкладывал несколькими днями толстым слоем льда. После этого мы достали большое количество опилок и плотно покрыли ими лед, предохраняя его от быстрого таяния весной. К другим двум деревьям мы, наоборот, подвели горячую воду и регулярно, по несколько раз в день, тщательно поливали ею площадь вокруг этих деревьев. Горячую воду брали от паровоза с помощью длинных шлангов, вода текла по специально сделанным канавкам. Уже при первых проблесках вес-

ны я начал обильный полив деревьев горячей водой, от нее шел пар, я был весь мокрый, по несколько часов в день старательно поливая из шланга деревья, подправляя канавки, чтобы горячая вода пропитывала всю нужную площадь. Это была тяжелая работа. Но в итоге черешни зацвели первыми, и яркие, сочные плоды созрели дней на десять раньше. Еще ни у кого не было черешни, а у нас была. Другие два дерева, наоборот, зацвели поздно и дали плоды недели на две позже. Черешня уже сошла, а у нас только появилась. В общем, эксперимент удался. Даже какое-то городское начальство приезжало смотреть. Меня и Коваленко хвалили. Для одиннадцатилетнего мальчишки это была хорошая школа. В конце лета меня выбрали на Республиканский слет юных натуралистов. Вместе с еще четырьмя участниками этого слета от Запорожской области мы поехали в Киев с Коваленко (мать с трудом меня отпустила – только благодаря уверениям Коваленко, которого она очень уважала). Как это было ново и интересно – побывать в Киеве, жить в общежитии с ребятами из разных городов, участвовать в торжественном открытии Республиканского слета, слушать выступления знаменитого тогда академика Богомольца, ездить на экскурсии по Киеву!

От кружка «юннат» (так говорили тогда) под руководством Коваленко, мы ездили в знаменитый питомник Асканию-Нову, в Бердянск.

В июне 1941 года мы отправились на экскурсию в Геничек. Приехали туда утром в субботний день 21-го числа, купались в море, загорали, осмотрели местное хозяйство. Ночевали в вагоне, выделенном специально для нас большой железной дорогой. В воскресенье с утра мы снова были на море и там примерно в середине дня узнали, что началась война.

Мы вернулись в Мелитополь ночью. Пока я добрался с вокзала домой – шел пешком через темный, притихший город – было уже за полночь. Родители не спали, они ждали меня. Помню их растерянность, тревогу. Мать была беременна, ей подходило время рожать, а война уже стучалась во все двери. Но в первые дни мои близкие были уверены, что война продлится недолго, враг будет наголову разбит, как пелось в песнях и как внушали нам наши вожди. У меня же – мальчишки – вообще не было никакой тревоги, никаких сомнений и страхов, я испытывал душевный подъем и мечтал уйти на фронт, бить фашистов и стать героем.

12

## ВОЙНА

### 1. Эвакуация

Немцы неожиданно быстро продвигались вперед. Это удивляло. Ведь у нас – мы твердо знали – была самая могучая и непобедимая Красная Армия. Сводки Совинформбюро становились с каждым днем все более мрачными. Немцы бомбили Днепропетровск и Запорожье. Уже в июле стало ясно, что надо готовиться к эвакуации. По этому поводу среди нашей многочисленной мелитопольской родни шли споры между оптимистами и пессимистами. К счастью, последние оказались в меньшинстве.

Все родственники-оптимисты, не решившиеся бросить нажитое добро, верившие, что до Мелитополя враг не дойдет, вместе с их малыми детьми были уничтожены как евреи.

В середине июля отца призвали в армию, но он оставался в Мелитополе, так как попал в госпиталь, который формировался из местных врачей. Его взяли туда парикмахером, и эта специальность не раз сохраняла ему жизнь, о чем я расскажу позже.

11-го августа мать родила Люсю, через неделю вышла из роддома, а еще через два дня – 20-го августа – мы покинули Мелитополь. Как потом выяснилось, это был крайний срок, через неделю было бы уже поздно.

Организовал отъезд дядя Гриша – родной брат отца, работавший в артели «Правда». Он был отличным пекарем и вообще деловым человеком, которому советская власть не давала развиваться. Эта артель имела свой гужевой транспорт, неплохих лошадей. Не знаю, как ему удалось, но дядя Гриша «выбил» для всех Дубровских отдельную подводу с парой лошадей. На ней эвакуировались три семьи: жена дяди Гриши – тетя Феня с двумя сыновьями (старшему Абраше было 16 лет, младшему Зиновию – 7); дядя Иосиф – старший брат отца (он был глухим из-за контузии в Первую мировую войну) и все его семейство: жена – тетя Слава, очень энергичная и деловая женщина, умевшая править лошаадьми и командовать людьми, их дети – Рахиль семнадцати лет и Моисей – шестнадцати. Наконец наша семья: мать с новорожденной, я и мой брат Рома, которому исполнилось семь лет. Кроме этого, с на-

13

ми ехали бабушка Лиза – мать отца и бабушка Башева – мать моей матери. Итого, в одной подводе тринадцать человек.

Нетрудно представить, как она была нагружена и сколько вещей могла взять с собой каждая семья. Разрешалось брать лишь самое-самое необходимое. На подводу к тому же погрузили несколько мешков с сухарями, хлебом и другими продуктами. На ней ехали мать с маленькой Люсей, две бабушки и малыши. Остальные шли пешком, лишь изредка, по очереди, проезжая немного, чтобы отдохнуть. За нами бежала наша любимая дворняга Пират.

Мы двинулись в путь, напоминая цыганский табор. Еще на трех подводах эвакуировались семьи других сотрудников артели «Правда». Главнокомандующим стал пожилой, опытный конюх Бескин, ехавший впереди. Дядя Гриша остался в Мелитополе, так как ожидал призыва в армию.

Вначале наше медленное движение казалось мне увлекательным путешествием. Ночевки у костра около какой-нибудь деревни, иногда на сеновале у добрых людей. Мне было двенадцать лет и я, конечно, оценивал происходящее сообразно своему возрасту.

Мы двигались в сторону Таганрога и Ростова большей частью по проселочным дорогам. Другие пути оказались уже отрезаны. Немцы подошли к Запорожью и Днепропетровску. Прошел слух, что они высадили под Таганрогом десант. Как позже стало известно, это соответствовало действительности, но десант разбила отступавшие войска, и путь на Таганрог для нас остался свободным.

По мере приближения к Таганрогу поток беженцев нарастал, и вскоре вся дорога оказалась забитой подводами, тачками, множеством идущих на Восток людей. Стояли знойные дни, мучила жажда, мы продвигались в сплошной пыли, оседавшей толстым слоем на лицах, одежде, поклаже. Но я отчетливо помню, что весь этот человеческий поток двигался спокойно, сосредоточенно, никакой паники, даже плач детей слышался редко. И лишь однажды, когда налетели немецкие самолеты и начали бомбить и стрелять, все перемешалось, люди бросились в разные стороны, испуганные лошади несли вскачь телеги, некоторые переворачивались, давя несчастных, грохот, крики женщин и детей, перекошенные страхом лица.

Но нам повезло: основной удар пришелся впереди, у нас никто не пострадал, за исключением Пирата – ему переехало заднюю ла-

пу, он жалобно выл, волоча раздробленную ногу. Я схватил его на руки и хотел посадить на подводу, но тетя Слава грубо сбросила его, дала мне хорошего тумака и, нахлестывая лошадей, стала быстро выбираться на простор, приказав всем держаться за подводу. Вскоре мы выехали на поле, пересекли его и оказались на какой-то глухой дороге, по которой, впрочем, уже продвигались беженцы. Я долго ревел, не мог примириться, что мой любимый Пират так безжалостно брошен.

Это была обыкновенная дворняга, умная и преданная, прожившая в нашей семье года три. Средней величины, Пират был с узкой мордой, черный с белыми пятнами на шее и груди, слегка мохнатый. Он жил в конуре и свободно бегал по двору, никогда не кланчил еду, терпеливо ждал лежа, положив голову на вытянутые лапы, когда его покормят. Все в нашей семье любил Пирата и не раз с горечью вспоминали о нем. Но эта грустная история имела продолжение.

После нашего отъезда отец оставался в Мелитополе еще больше месяца. Получилось так, что немцы взяли Запорожье примерно в середине сентября, а очередь Мелитополя пришла лишь в октябре. Отец оставался в городе чуть ли не до последнего дня, и потом с огромными трудностями госпиталь пробился к своим, потеряв почти все оборудование и много людей. И вот буквально за несколько часов до ухода из города отец забегал на квартиру, чтобы взять какие-то нужные ему вещи (ведь мы оставили в доме практически все). Когда он выходил из дверей, то увидел, что во двор проковылял на трех лапах Пират, до крайности изможденный – один скелет, обтянутый облезлой шкурой. Отец сильно разволновался. Если Пират вернулся, что случилось с нами? Как он потом рассказывал, это не давало ему покоя.

Но сам факт, что собака вернулась домой, пройдя с перебитой лапой около четырехсот километров за пятнадцать–двадцать дней, не может не вызывать удивления. Потом соседи рассказали, что Пират жил во дворе. Когда двое немецких солдат вошли в наш двор, Пират бросился на них с лаем и его расстреляли из автомата.

Мы добрались до Таганрога дней через пятнадцать и еще дней через десять до станции Аксайской, неподалеку от Ростова-на-Дону. Там находился распределительный пункт для эвакуированных. Мы сдали лошадей и, увязав пожитки, стали ожидать бар-

## 2. Село Штефан. Колхоз «Искра»

жу, на которой нам определили плыть до Калача. Нам дали направление в Сталинград.

Дня через два прибыл пароход с баржой, началась посадка. Тысячи людей, скопившихся на пристани, хлынули на пароход и баржу. Как-то получилось так, что моя сестра – грудной ребенок – оказалась на руках у тети Славы, волна напивавших сзади занесла мать на баржу, а тетю Славу с ребенком на пароход. Изменить было ничего нельзя. Караван тронулся в путь. Мать билась в истерику, ее успокаивали. Не помню уж как, но примерно к вечеру (а тронулись в путь мы утром) тетя Слава добилась от капитана, чтобы он переправил ребенка на баржу, и это сделали два матроса, когда пароход, буксировавший баржу на длинном тросе, сблизился с ней. Пока младенца, запеленатого и орущего, передавали на баржу, мать была близка к обмороку. Но все обошлось.

Из Калача до Сталинграда мы добирались поездом. Толпа, среди которой почему-то преобладали беженцы из Молдавии, бросилась на штурм вагонов. Люди будто остервенели: давка, вопли, ругань. Я с крошечной Люсей на руках вдруг оказался в этом людском водовороте и каким-то чудом втиснулся в тамбур, а потом был ввален внутрь вагона. Люся, туго запеленатая, лежала на подушке, которую я вместе с ней прижимал к груди. Потом ее передавали матери через головы.

В Сталинграде мы несколько дней жили на стадионе, который стал гигантским эвакуопунктом. Там скопились тысячи людей, ждавших под палящим солнцем своей дальнейшей участи. Наконец, тетя Слава добыла нужные бумаги: нас направляли в Нижне-Добринский район, в одно из сел бывшей Республики немцев Поволжья. Все ее жители немецкого происхождения были выслены отсюда и под конвоем отправлены в Сибирь и Казахстан.

Помню, что следующий этап эвакуации прошел более или менее благополучно. Большая группа, куда входили все мелитопольцы, пешком добралась до пристани и затем на пароходе по Волге отправилась в Нижнюю Добринку. Этот поселок являлся районным центром Сталинградской области. Там мы прожили под открытым небом несколько дней, пока не подали лошадей, чтобы доставить нас в село Штефан (по-русски оно потом называлось Водно-Бурачное).

Это село находилось от Нижней Добринки в тридцати километрах. Когда мы прибыли туда, оно оказалось совершенно пустым. Добротные дома, безлюдные улицы; деревянная кирха, возвышающаяся над всеми строениями, множество черного воронья, какая-то давящая тишина.

Мы подъехали к бывшему правлению колхоза. Нас встретил районный чиновник и сразу же стал проводить собрание. Он объявил, что из нашего коллектива организуют колхоз под названием «Искра», председателем назначается местный товарищ, а мы можем выбрать любой дом и завтра с утра должны выйти на работу.

В селе насчитывалось около ста домов. Выбирай любой! Все Дубровские поселились рядом. Нам попалась обычная сельская изба с большой, о четырех окнах, комнатой и одной маленькой, которая напоминала прихожую. В большой комнате, примыкая к стене, стояла печь, в которую было вмонтировано два больших железных котла. Они быстро накалялись, и в комнате сразу становилось тепло. Я таких печей больше не встречал.

Уже в октябре наступили холода. Лес далеко, километра за два. Мы разбирали заборы – высокие, из толстого теса, ограждавшие обширные дворы, – и рубили их на дрова. Потом в ход пошли и небольшие деревянные постройки, которые стояли в каждом дворе и, видимо, использовались немцами для содержания скота и птицы.

Зима пришла суровая, с частыми метелями. В селе организовали школу, два класса: пятый и шестой. Каждый из них посещали не более десятка детей. Я вначале по настоянию матери ходил учиться, но через пару недель бросил. Не до учебы! Надо помогать матери, которая с раннего утра убегала на работу, оставляя Люсю на попечение мое или Ромы (ему ведь шел восьмой год, почти взрослый человек по меркам военного времени).

Так началась моя трудовая жизнь. Я работал на конюшне, присматривая за лошадьми, возил солому и сено, заготовленные еще немцами, помогал ремонтировать избу-читальню и, главное, писал лозунги. Меня к этому приспособил заведующий избой-читальней Дан – бывший редактор мелитопольской газеты. Я писал их белыми на красных полотнищах («Все – для фронта! Все – для побе-

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

ды!» и т.п.). Выходило неплохо, и Дан считал, что открыл художественный талант.

Все мелитопольцы постепенно приспособились к деревенской жизни. Нельзя сказать, чтобы мы голодали, хотя бывали и голодные дни. Как-то перебивались. Помню, одно время мать устроилась на ферму крутить маслобойку. Две женщины вертели колесо, пока не сбивалось масло. За это мать приносила домой литра два пахты (отработанной жидкости), и это было величайшее лакомство. Ближе к концу зимы стало голодно: колхоз перестал выдавать хлеб, вместо него получали в виде пайка мерзлую картошку.

И тут, в конце февраля, когда морозы и метели стали особенно суровы, свершилось настоящее чудо: приехал отец.

Утром – мать еще не успела уйти на работу – к нам, запыхавшись, ворвалась тетя Слава и сказала, что только что из соседней деревни (в пяти километрах от нас) звонил в правление колхоза отец, и председатель послал за ним лошадей с санями. Мать чуть не упала в обморок.

Отца привезли ближе к середине дня. Мы выбежали на улицу. Он, в заснеженной шинели, долго обнимал всех нас разом, по его заросшей щетиной лицу текли слезы. Отец был худой, в неказистой солдатской форме, с винтовкой и вещмешком, из которого он извлек консервы, кусок сала и сахар – невиданные лакомства. До этой встречи мы не имели от него никаких известий.

Как же произошло это чудо?

После того, как госпиталь, в котором служил отец, оставил Мелитополь, они дважды выходили из окружения, неся потери от бомбежек. Особенно туго им пришлось под Харьковом, когда с огромным трудом удалось эвакуировать раненых в тыл, а основной состав госпиталя буквально в последний час под огнем вырвался из замыкавшегося кольца окружения, потеряв больше половины автомашин и многих убитыми.

Остатки госпиталя вначале отправили под Сталинград, а потом – уже зимой, когда завершилось укомплектование людьми и оборудованием, – его перебросили на станцию Паласовка. Здесь он находился в бездействии более двух месяцев, ожидая приказа об отправке на фронт.

Костяк госпиталя составляли все те же мелитопольцы. Его комиссаром стал бывший секретарь мелитопольского горкома партии Фесенко – весьма порядочный человек, хорошо относившийся к

отцу. В Мелитополе он жил по соседству с нами. Его давно и близко знали многие из состава госпиталя, отзываясь о нем как о скромном, справедливом и доброжелательном человеке.

Фесенко проявил себя смелым, волевым командиром. Отец рассказывал, что в самых трудных, казалось бы безвыходных ситуациях, он решительно пресекал панику, наводил порядок и личным примером, рискуя жизнью, вел людей вперед. Именно благодаря Фесенко отец смог встретиться со своей семьей через полгода после разлуки и полного неведения друг о друге.

Еще в октябре 41-го, когда остатки госпиталя отвели в тыл, отец начал искать нас. Он писал в различные эвакуопункты, в Пензу, куда выехал с заводом из Мелитополя его брат дядя Мона, в Центральный распределитель в Москву и т.п., но всё безрезультатно. Через Паласовку проходили многие эшелоны с эвакуированными. Часто, когда появлялась возможность, он выходил на станцию и искал мелитопольцев. Однажды ему повезло. В одном из эшелонов он встретил земляка, и тот сказал, что его родственники Бескины находятся в селе Штефан. Но ведь старик Бескин был начальником нашего табора, и если он в Штефане, то там должны быть и мы. Отец сразу же послал запрос в Сталинградский эвакуопункт и вскоре получил подтверждение.

По карте нетрудно определить, что село Штефан находится примерно в ста километрах от Паласовки. Отец стал просить комиссара Фесенко дать ему возможность повидать семью. Чтобы добраться до Штефана пешком (а другого способа не было) и успеть вернуться обратно, требовалось минимум десять дней. Фесенко не имел права рисковать, ведь в любой момент мог поступить приказ об отправке госпиталя на фронт. Отец умолял Фесенко отпустить его на десять дней, и, наконец, тот согласился. На свою ответственность он выдал отцу отпускные документы, помог ему разработать маршрут переходов от села к селу. Ведь стояли сильные морозы, дороги замело и идти по проселкам было опасно. Немудрено сбиться с дороги и замерзнуть в степи.

Добирался отец трудно. В сильную метель потерял дорогу, несколько километров шел, утопая по колено в снегу, ночевал в заброшенном сарае, стоявшем в открытом поле, отстреливался от волков. И только на шестой день достиг цели.

Пробыл он с нами половину дня, ночь и рано утром председатель на своих санях отвез его до ближайшего села, а оттуда он сно-

ва пошел пешком. В Паласовку отец добрался на одиннадцатый день, но госпиталь уже уехал. Ему повезло опять. Он получил у коменданта сведения о пути следования госпиталя – об этом позаботился Фесенко – и через два дня догнал его около Сталинграда.

Да, отцу везло. В 44-ом он снова повидал семью, получив отпуск из части. Но, главное, прошел всю войну и остался жив.

### 3. Рассказы отца

Мой отец был мягким, очень обходительным и опасливым человеком. В противоположность ему мать отличалась резким характером, решительностью, прямотой оценок, с трудом шла на компромиссы, не прощала двуличия. Она твердо правила семьей, и в юности я немного презирал отца за его, как мне казалось, слабость, склонность к уступкам, к умиротворению всех и вся. Лишь со временем я понял, что ошибался, и до сих пор испытываю по этому поводу угрызения совести.

Отец родился 7 апреля 1904 года в Орехове и еще подростком освоил профессию парикмахера. Прошел все ступени подмастерья и с помощью родителей и родственников к восемнадцати годам открыл собственную парикмахерскую. Это было в начале НЭПа. Он неплохо зарабатывал, мог позволить себе поехать в Запорожье к родственникам в гости, купить их детям подарки, хорошо одеться.

Потом наступили другие времена, и он стриг и брил своих клиентов, так сказать, по государственной линии, ибо частная собственность стала всенародной. После переезда в Мелитополь и до начала войны он был заведующим парикмахерской, в которой, кроме него, работало еще два-три мастера.

Отец отличался повышенной чистоплотностью и аккуратностью, тщательно мыл руки перед едой, всегда опасался какою-либо загрязнения. Можно представить, как нелегко ему было выносить окопную жизнь и тяготы военных лет.

Впрочем, его военная служба началась в госпитале, где условия жизни могли быть вполне сносными, если бы госпиталь не переезжал с места на место, если бы его не обстреливали и не бомбили, если бы армия не отступала.

Летом 1942 года немцы прорвали наш фронт на юге и дошли до Сталинграда и Кавказа. Это было катастрофическое по своим мас-

штабам отступление. Госпиталь отца находился тогда в Донбассе. Они успели отправить раненых железнодорожным эшелоном, а сами отступали со своим имуществом на автомашинах и телегах. Но уже в первые дни, чуть не попав в окружение, они потеряли под непрерывными бомбежками и обстрелами с воздуха весь свой автотранспорт, частью уничтоженный, а частью рассеявшийся, ибо все были охвачены паникой и любой ценой стремились ударить от немцев. Командиры исчезли. Осталось несколько телег, навьюченных госпитальным добром. Во время бомбежки отца ранило в ногу, он еле передвигался на костылях.

Через несколько дней осталась одна телега, груженная простынями, на которой ехали двое солдат-ездовых из госпиталя и раненый отец. Однажды ночью он подслушал разговор двух дружок-ездовых: они были украинцами и рассуждали о том, как бы махнуть домой вместо того, чтобы драпать от немцев; все равно, мол, не убежишь, да и какой смысл. Через два дня, проснувшись рано утром в хате, где они остановились на ночлег, отец обнаружил, что телега с ездовыми исчезла, его бросили.

Что делать? Не оставаться же у немцев. Тогда уже все знали, что попасть в плен еврейю значит быть расстрелянным. От села, где отец ночевал, до переправы через Дон оставалось около двадцати километров. Главное – перебраться через Дон, там стоит наша оборона, там спасение. И отец двинулся на костылях по указанной ему проселочной дороге. По ней время от времени мчались грузовики и проезжали подводы с отступающими. Отец просил взять его, но напрасно. И ему ничего не оставалось, как, преодолевая боль, ковылять к переправе. Он шел весь день, всю ночь и к утру достиг станицы Константиновской.

Когда он вышел на берег Дона, то увидел страшную картину: переправа взорвана, вдоль берега – сколько хватает глаз – горы брошенного имущества, развороченного бомбежкой. Среди этого мессива кое-где шныряют мародеры, местные жители: что-то собирают, увязывают в мешки.

Отец, изможденный до крайности, лег на землю, не зная, что делать. Ведь он не умел плавать. Как перебраться на ту сторону Дона? Немцы должны были вот-вот появиться, а это – конец. Собрав последние силы, он поднялся, чтобы что-то предпринять. И тут, как в сказке, на берег вылетели верхом двое военных. Они спрыгнули с коней около отца: «Ты что тут делаешь?» Отец сказал,

что хочет перебраться на тот берег, но не умеет плавать. «Эх, ты... так твою мать!» Но, увидев, что он ранен – с перебинтованной ногой, рядом лежат костыли – смягчились. Все это длилось несколько секунд. Они вдвоем выдернули из-под какой-то рыхляди торчавшую рядом добрую треть разбитого снарядом телеграфного столба, столкнули его в воду. Лошади поплыли, они держались за них, а один держал обломок телеграфного столба за вбитый в него штырь для изолятора, отец же, обхватив обеими руками другой конец столба, плыл вместе с ними. Когда они доплыли до зарослей камыша у противоположного берега, на то место, где они находились десять минут назад, вылезли два немецких танка. Лошади уже успели скрыться в камышах, а отец оставался еще на виду, и танкист дал по нему пулеметную очередь. Там, где рос камыш, было уже мелко, и отец успел спрятаться.

После того, как вся группа выбралась, наконец, в рощицу, примыкавшую к берегу, спасшие отца всадники приказали ему предъявить документы. Эти люди, оказывается, были сотрудниками СМЕРШа – так называлось военное подразделение НКВД. Они тщательно проверили документы и направили отца в село, где находился госпиталь. Там его приняли, подлечили и оставили служить, им нужен был парикмахер.

Этот госпиталь вскоре перебросили под Сталинград. Стоял август 1942 года – самое тяжелое и страшное время. Немцы подходили к предгорьям Кавказа, рвались к Сталинграду. Именно в августе 1942-го отец вступил в партию. Он никогда не был особенно идейным человеком, жил интересами семьи и думал лишь об одном: как бы заработать и прокормить семью, купить самую необходимую одежду. Сколько помню, наша семья в течение многих лет едва сводила концы с концами. Все силы отца уходило на это. Мать же вершила домашние дела – с раннего утра до поздней ночи. Были времена, когда она помогала отцу, делала с ним косы и шиньоны на продажу, просиживала, сгорбившись, долгие часы за станком, кропотливо плела и плела на его иглах волосы.

Весной 43-го или, может быть, немного раньше (я точно уже не помню) отца перевели в другой госпиталь, специализировавшийся на ранениях в голову. Он должен был обривать поступающих раненых, готовя их к срочной операции. Он брил день и ночь разрозненные, залитые кровью головы. Чего это ему стоило, ведь он был по натуре чистюлей, «аккуратистом», как его называла бабушка,

боящимся крови, не умевшим привыкнуть к страданиям раненых.

И вот летом 1943-го, когда уже началось наше наступление, пришел приказ: «Коммунисты – на фронт!» Отец обрадовался. Начальник госпиталя и замполит пытались его удержать, предлагали ему «заболеть» и «полечиться» месяц в госпитале, а потом уже приказ как бы необязательно выполнять; во всяком случае, можно будет оправдаться. Его уговаривали, просили. Где найдешь такого работающего парикмахера? А без него – как делать операции? Но отец стоял на своем и через день с группой других коммунистов прибыл в запасной полк, откуда на фронт отправлялись маршевые роты.

Отец попал в гвардейскую дивизию. Когда группа бойцов из маршевой роты добралась до батальона, пополнение выстроили, и старшина стал выкрикивать: «Повара есть?», «Сапожники есть?», «Парикмахеры есть?», «Три шага вперед!» Отец колебался, сильно уж надоела ему парикмахерская работа, но потом все-таки не выдержал, признался.

Он стал обыкновенным бойцом, делал все, что положено рядовому солдату. Но как только кончался бой или рота после марша останавливалась на отдых, по цепи неслось: «Дубровского – к комбату!» Отец брал инструменты и шел брить комбата, а потом – политрука, парторга, командира роты и т.п. И не раз проклинал себя, что признался. Все солдаты поели и отдыхают, а он бреет и бреет.

Скоро выяснились, правда, и положительные стороны. Командир батальона (забыл его фамилию) был Героем Советского Союза, человеком резким, решительным и жутким матерщинником. Но отец он полюбил и нередко оставлял его при штабе, а повару своему приказывал подкармливать парикмахера.

Однажды в начале 1944 года, когда дивизия наступала на Украине, немцы организовали контрудар и смяли наши передовые части. Батальон понес большие потери и отступил на пару километров. Немцы подошли вплотную к штабу, и, когда стемнело, комбат решил провести контратаку. Собрали всех ездовых, поваров, писаря, всех штабных до единого, построили сильно поредевший батальон, и тут вышел комбат, который сам решил возглавить контратаку, окинул взглядом строй и заорал: «А ну, Дубровский, марш охранять штаб!», и на старшину: «Так и раз этак, твою мать! Убьют его, кто будет в батальоне наводить культуру!»

Многие участники контратаки полегли в ту ночь, почти все

приятели отца. Комбат был легко ранен в руку, но остался в батальоне. Немцев отбросить не удалось, но к утру подошли свежие войска, и наступление возобновилось.

Отец хлебнул пехотной жизни на передовой сполна. Тридцатикилометровые марши с винтовкой и поклажей, смерть и кровь все время рядом, бесконечное рытье окопов на каждом новом месте, сон урывками в окопе, где попало: на шинели спи, шинелью укрывайся. Но самое страшное для него, как он много раз повторял, были грязь и вши. Даже после бани и прожарки одежды вши все равно появлялись неизвестно откуда. Как он ни воевал с ними – всё напрасно. У отца возникло хроническое воспаление кожи рук и ног. Кожа покрывалась струпьями, из-под которых местами сочилась кровь. Раза два его отправляли на неделю в медсанбат подлечиться, но без особых успехов.

Отец начал просить комбата отправить его в госпиталь, но тот не соглашался, понимая, что он больше к нему не вернется.

Когда однажды отец еще раз повторил свою просьбу – это было в землянке, после бритья, – комбат всплился и сдернул с себя гимнастерку вместе с нижней рубашкой: «На, смотри!» И отец увидел, что все тело комбата покрыто экземой, местами расчесанной до крови. «Видишь? И я сижу на передовой, не лезу в госпиталь как ты».

После этого дальнейшие просьбы стали неуместными, надо было терпеть. Но тут отцу снова подвалила диковинная удача. Батальон, потрепанный в непрерывных боях, вывели во второй эшелон. Солдаты попарились в бане, выпалились. В большом селе, где расположился батальон, стояли и другие воинские части, в том числе какой-то госпиталь. Отец не удержался и решил посмотреть: что за госпиталь? Когда он подошел к зданию сельской школы, вокруг которого стояли санитарные машины с красными крестами, прямо на него выехал открытый «Виллис», в котором сидела женщина-подполковник медицинской службы. Отец прямо-таки остоленел: это была начальница того госпиталя, который сформировали в первые дни войны в Мелитополе. До войны она работала заведующей отделением кожных болезней в местной больнице и, конечно, хорошо помнила отца. Она его сразу узнала и остановила машину. Начались распросы: ведь они расстались летом 42-го года, когда госпиталь разбомбили и паника отступления, безудержного, повального бегства, разбросала всех в разные стороны. Прошли два года войны. Кто мог надеяться остаться живым?! С той

поры она почти никого из своих не встречала и была искренне рада отцу, который не преминул попросить ее выписать какое-нибудь лекарство от его болячек, – ведь она хороший специалист по кожным заболеваниям.

Отец сразу понял, что перед ним начальница госпиталя, расположенного в селе. Она тоже все поняла и сказала отцу, чтобы он взял в своей части любое направление в госпиталь, хотя бы только для осмотра и амбулаторного лечения – любое направление, а дальше уже ее дело, она отца никуда не отпустит, госпитально крайне нужен парикмахер.

Отец побежал к комбату, рассказал ему о встрече и стал уговаривать показаться врачу, поскольку начальница госпиталя, большой специалист именно по экземе, и нельзя упускать такой случай, а заодно и отец пару дней побудет с ним и подлечит свои болячки. Комбат по всей форме выписал себе и отцу направление для обследования и оказания амбулаторной помощи.

Начальница приняла комбата очень приветливо, но заставила его раздеться, сдать все на хранение и облачиться в госпитальный халат, затем поместила его в лучшую палату. Обследования показали, что комбат действительно серьезно болен. Хотя он бунтовал и хотел вернуться в часть, начальница через посредство командира дивизии заставила его пройти полное обследование, а затем подчиниться приказу об отправке в тыл на лечение. На прощание комбат сказал отцу: «Ну и хитрюга же ты, Дубровский. А может и прав. Ну, ладно, не поминай лихом!»

Так отец остался в госпитале и до конца войны прошел с ним Румынию и Болгарию. В июле 1945-го он демобилизовался и почти месяц добирался из Болгарии в Мелитополь.

#### 4. Колхоз «Искра» (продолжение)

К весне 1942 года в селе Штефан почти не осталось заборов и деревянных построек во дворах – зима была суровой. Стало голодно. Мы отыскивали в поле мерзлую картошку, выковыривая ее из только что оттаявшей земли. Мать поехала в соседнее русское село и выменяла за свои золотые серьги полмешка муки. Это нас сильно выручило.

Весной я работал в колхозе с утра до вечера. Вначале – прицепщиком на тракторе, с удовольствием заменял за рулем тракториста, пожилого пьянчужку. Он охотно отдавал мне руль, а сам, выпив стакан омерзительной по запаху сивухи, дремал на солнышке. Мне оставалось только держать руль так, чтобы колесо трактора не выходило из борозды и следить за плугом. Поле было ровным, и борозда тянулась на добрый километр. Потом я научился разворачивать трактор, устанавливать плуг и начинать новый гон. Когда трактор принимался чихать и глохнул, приходилось будить моего шефа, и тот, тихо матерясь, шел ремонтировать стального коня.

Так мы пахали, а потом сеяли. Я зарабатывал трудодни и получал в правлении колхоза скудное пропитание, которое относил матери.

Ближе к лету председатель колхоза перевел меня на новую работу. Мне шел четырнадцатый год, и я чувствовал себя уже совсем взрослым. Ведь доверили такое ответственное дело – возить керосин и бензин из районного центра Нижней Добринки для колхозных тракторов и комбайнов. От нашего села до нефтебазы в Добринке было примерно тридцать километров.

Мой транспорт состоял из телеги, запряженной парой волов и специально приспособленной для двух железных бочек, лежавших одна за другой между продольными балками остова телеги. Я быстро наловчился одевать на волов ярмо и замыкать его занозой. Управление осуществлялось при помощи длинной палки. Волю шли медленно и понуро, пустые бочки погромыхивали на колдобинах. Путь в один конец мы преодолевали за день и полночи, если все шло гладко. На беду один из волов – его звали «Куцый» из-за отрубленного хвоста – был с особым нравом и устраивал мне «веселую жизнь». То он вдруг останавливался, и сколько его ни лупи, мечтательно стоял на месте, потом, когда я, отчаявшись, не знал, что делать, вдруг трогался и шел дальше, как ни в чем не бывало.

Однажды он выгнул занозу, освободился от ярма и пошел в поле щипать клевер. Все мои попытки запрячь его он нагло игнорировал: стоило взять его за рога, чтобы подвести к ярму, как он мотал головой, и я отлетал в сторону.

В одну из поездок он преподнес мне сюрприз. На пути между Добринкой и Штефаном располагаются три села. В одном из них, стоявшем примерно посредине, – звалось оно Гольдштейн – жил

наш сосед из Мелитополя по фамилии Хумыш. Это был еврей лет пятидесяти, высокий и тощий, весьма добродушный и отзывчивый. У него я иногда останавливался переночевать, чтобы дать отдохнуть волам, которые всю ночь паслись на поле около деревни. Хумыш спутывал им ноги, чтобы они далеко не ушли. В Мелитополе он был «керосинщиком» – развозил по домам на телеге керосин. Поэтому в колхозе он работал конюхом, умел хорошо управляться со всякой тягловой силой.

И вот, проснувшись утром, мы обнаружили только одного вола. Где же «Куцый»? Хумыш сел верхом на лошадь и объездил всю округу. Вол исчез. Что делать? Хумыш – добрая душа – разволновался, хорошо понимая все последствия такой пропажи. Он повел меня на конюшню, дал коня и приказал ехать на север от села, чтобы осмотреть все в пределах не менее пяти километров, а сам поехал в другую сторону. Весь день я безрезультатно объезжал поля, забыв о голоде и обо всем. Вернулся, когда уже стемнело. Хумыша не было. Мое ожидание казалось длилось вечность. Наконец полностью посыпались звуки идущей шагом лошади. Я побежал навстречу. Хумыш гнал «Куцего». Он нашел его в другом селе за восемь километров от Гольдштейна: «Куцый» мирно пасся на тамошном поле.

Я хотел немедленно ехать домой – ведь там ждали горячее, и мать волнуется. Но Хумыш закрыл «Куцего» в сарае, а меня накормил и уложил спать. Домой я вернулся на следующий день под вечер.

Моя транспортная эпопея продолжалась все лето. После того случая «Куцый» присмирел; может быть оттого, что боялся кнута, которым я обзавелся по совету Хумыша. Свист кнута делал его, как я заметил, гораздо более послушным.

Вскоре немцы начали бомбить Добринку, но в нефтебазу не попали. Метрах в ста от нее зияли две воронки от бомб. Фронт приближался, немцы уже подошли к Сталинграду, а до него от нас – рукой подать. Время становилось все более тревожным.

Приписав себе лишний год, я в августе 1942-го вступил в Комсомол и мечтал ударить на фронт. Как и большинство моих сверстников, я был очень идейным и «За Родину!», «За Сталина!» готов был, не задумываясь, отдать жизнь.

В конце августа мобилизовали всех ребят 1925-го года рождения, им исполнилось семнадцать лет. Среди них и моего двоюрод-

ного брата Абрашу – сына дяди Гриши. Это был тихий, добрый и трудолюбивый мальчик. Мы с ним дружили. Его все любили за скромность и безотказность. Еще зимой он возил сено на скотный двор. В морозы, в пургу надо доехать до конны, стоявшей в чистом поле иногда за три километра, нагрузить вилами сено, привезти его, не рассыпав, а потом разгрузить. Это была очень тяжелая работа. Абраша никогда не отказывался от нее. Я хорошо помню его в длинном отцовском пальто, в валенках и теплом материнском платке, завязанном так, что видны были только одни глаза, с кнутом в руках, молчаливого, покорного.

Новобранцев провожала вся деревня – их было человек десять, семнадцатилетних, уходивших на войну. На околице матери, родственники обняли их в последний раз, и они пошли по дороге, ведущей в райцентр, под командой присланного за ними сержанта. Отойдя уже порядком, Абраша обернулся и в последний раз помахал нам рукой. Мне показалось, что последнему именно мне, слегка улыбнувшись как будто. Я ему очень завидовал, ведь он уже был в моих глазах защитником Родины, а я оставался погонщиком волон.

Я не мог подумать, что вижу Абрашу в последний раз. Больше о нем и обо всех мобилизованных ребятах никто не слышал. На все запросы приходил один ответ: «Пропал без вести». Была такая формулировка, когда факт смерти солдата не могли зафиксировать, или батальонный писарь забывал занести его фамилию в список убитых.

Ходили слухи, будто ребят везли по Волге в Камышин для обучения перед отправкой на фронт; баржу, на которой плыли новобранцы, расстреляли и разбомбили самолеты, и все они погибли. Это похоже на правду, так как ребята клятвою обещали написать сразу же по прибытию в часть. Но никто не успел.

В конце сентября, когда немцы обошли Сталинград с севера, и положение стало катастрофическим, неожиданно в Штефан прикатили два армейских грузовика. К нашему изумлению, это был дядя Гриша. Он предстал перед нами в форме старшего сержанта, запяленный, осунувшийся и, не теряя времени на приветствия и поцелуи, приказал всем Дубровским немедленно собираться в дорогу.

Надо сказать, что дядя Гриша был не просто старшим сержантом, а начальником хозяйства какого-то воинского подразделения. Он привез много продуктов для своей семьи, но и всем Ду-

бровским перепало. Очень опечалился он, что Абрашу забрали в армию. Оказывается, часть дяди Гриши стояла недалеко от Сталинграда, и он, опасаясь, что немцы пойдут дальше, решил вывезти нас в более безопасное место. Мы быстро погрузили свои нехитрые пожитки и двинулись в путь. Нас повезли в город Маркс Саратовской области (тоже город бывшей Республики немцев Поволжья, находившийся от Штефана примерно в двухстах с лишним километрах вверх по Волге). На следующий день мы прибыли на новое место жительства.

## 5. Завод

Дядя Гриша неслучайно повез всех нас в Маркс – туда эвакуировались два мелитопольских завода, там жили многие знакомые и приятели Дубровских, которые могли помочь.

Так и получилось. Мы чуть ли не в день прибытия нашли себе жилье. Это оказалось нетрудно: ведь все жители города – немцы – пребывали теперь где-то в Сибири и Казахстане, а здесь дома освободились. Тогда мы не понимали трагедии немцев Поволжья. В чем были виноваты сотни тысяч женщин, детей, стариков? Шла война, и в нашем суженном сознании слово «немец» стало синонимом врага.

Нам достался хороший дом близко от центра города с двумя комнатами и прихожей. К дому примыкал обширный сарай, в котором удобно хранить дрова. Без особых трудностей мы встали на учет и получили хлебные карточки – благо, заместителем председателя горисполкома в Марксе являлся Трунов, занимавший ту же должность в Мелитополе, – эдакий провинциальный вельможа, средних лет, интеллигентного вида, всю войну просидевший в исполкомовском кресле, в то время, как его сверстники гибли на фронтах. Примерно через год с небольшим, в начале 1944-го, когда наш дом приглянулся его дружку, заведующему мельницей, такому же здоровенному борову, сумевшему каким-то образом прочно окопаться в тылу, Трунов хотел выселить нашу семью в заводской барак. Но мать как тигрица защищала своих детей и после многочисленных батальонных все-таки отстояла жилье (я тогда уже был на фронте и не мог ей помочь).

Быстро решился вопрос и с работой. Все Дубровские устроились на завод № 45 Наркомата танковой промышленности. Он

сформировался на базе небольшого местного завода и нескольких эвакуированных: два прибыли из Мелитополя, один – из Харькова. Пост заведующего отделом кадров завода занимала партийная дама из Мелитополя Полонская, ведавшая аналогичными вопросами и до войны. Она была горбунья, очень маленького роста и восседала за столом своего кабинета с важным видом. Я пришел к ней, так сказать, по протекции, поэтому, ни о чем меня не спрашивая, она сразу сказала: «Пойдешь в десятый цех учеником токаря» и дала мне пропуск и записку для начальника цеха. Так я, побыв колхозником, стал пролетарием.

В тот же день заместитель начальника цеха передал меня сменному мастеру, а тот поставил учеником к пожилому токарю Барабашову – умельцу на все руки. Барабашов был неразговорчив. Он привел меня к револьверному станку и стал показывать, что надо делать и как: смотри и мотай на ус, становись за станок сам.

Время не ждало, немцы окружили Сталинград, упорнейшие бои шли в городе. Отступать дальше некуда. А фронт требует вооружений.

– Давай, браток, пошевеливайся быстрее, не боги горшки лепят; что тут сложного: загнал в патрон болванку, обточил, просверлил ее, расточил, обрезал по размеру и повторяй все снова. Вон сколько пустых станков, работать некому!

К вечеру, с дрожью в руках, с колящимся от волнения сердцем, я сам сверлил и растачивал болванку. Железная стружка шипела под струей охлаждения, свиваясь в плотные кольца, образующие длинную, похожую на пружину, плетель. Это было очень интересно и красиво.

Цех выпускал батальонные минометы – довольно простые изделия: труба, в которую вставлялась мина, две ноги, державшие под высоким углом трубу, и опорная плита, о которую опиралась нижняя часть трубы, плюс механизм наводки с двумя ручками, крутишь одну – труба перемещается в горизонтальном направлении, крутишь другую – в вертикальном.

Я на своем станке делал «стаканы» – одну из деталей механизма наводки. После меня другой, более квалифицированный токарь, нарезал внутри них резьбу, потом они проходили термическую обработку и поступали на сборку.

Дня через три Барабашов отдал в мое распоряжение станок. У него было много подопечных, таких же, как я, «зеленых то-

карей». Изредка он наведывался, постоит с минуту, посмотрит молча и уйдет. Я старался изо всех сил и быстро приспособился. Тяжело было только вставлять круглую железную болванку, она имела в длину метра три, а в диаметре – сантиметров восемь. Чтобы поднять ее с одного конца и вставить в шпиндель и затем просунуть в патрон, надо было крепко поднатужиться. Из одной такой болванки выходили штук тридцать «стаканов». Выступавшую из патрона на пятнадцать сантиметров болванку надо было обточить сверху, доведя ее до определенного диаметра, потом просверлить, расточить опять-таки до заданного размера и затем точно обрезать.

Резцы и сверла затачивал Барабашов, я бегал к нему, когда что-то тупилось или ломалось. Он еле внятно бормотал матерные пассажи, как бы и не по моему адресу, включал точило, и сквозь снопы искр я наблюдал его искусные действия. Потом и я научился затачивать резцы, но никогда не мог делать их такими же легкорезущими, какими они становились после рук Барабашова. Если только правильно установить такой резец, он точил болванку как «по маслу».

Поначалу за смену я не раз и не два тупил сверло и ломал резцы. Это происходило в тот момент, когда я, медленно подкручивая ручку суппорта, подводил резец к быстро вращающейся в патроне болванке. Оказалось, что это во многом происходило из-за того, что моего роста не хватало для удобного зрительного контроля. Барабашов сделал мне деревянную подставку, позволившую стать выше на десять сантиметров, и дело сразу пошло гораздо лучше.

На этом револьверном станке я так и работал все время с подставкой. Но точно так работали и десятки других мальчишек в нашем цеху. Мне тогда было тринадцать с половиной лет, но встречались и двенадцатилетние. Куда ни посмотришь, в огромном цеху за станками стояли одни пацаны, кадровых рабочих насчитывалось человек десять-пятнадцать, а остальные ребята и девчонки от 12 до 16 лет. Семнадцатилетние, 1925 года рождения, были осенью 1942 уже мобилизованы в армию.

Мы работали двенадцать часов в сутки, в дневную смену с 8 до 20, или в ночную с 20 до 8. О выходных днях не могло быть и речи. Все рабочие завода считались на военном положении. Не только за прогул, но за опоздание на 10 минут – под суд. Не дай бог опоздать и на пять минут. Никаких оправданий! Нарушитель дисциплины, слюнтяй, маменькин сынок. Не умеющий отдать все

силы Родине – враг, подрывающий производство оружия для фронта. Мы понимали и принимали всем сердцем эти суровые, беспощадные законы. Я говорю о комсомольцах, моих сверстниках и о самом себе. Бескомпромиссность и абсолютная вера в победу питали наши силы. То, что сумели сделать эти мальчишки и девчонки, поразительно. Когда я думаю о войне и тех примерах героизма и нечеловеческого напряжения сил, свидетелем которых был, когда я пытаюсь понять источники невиданной мной во всей последующей жизни сплоченности людей, энергии и силы духа, мне приходит на ум прежде всего не фронт, а именно завод. То, что смогли сделать тогда почти дети, мне сейчас представляется чем-то близким к фантастике.

Поработав месяц-полтора, я наловчился быстро делать «стаканы», без брака, экономя каждую секунду. Забывая обо всем другом, думая только, как сделать больше и лучше. И когда к обеденному перерыву на моем столе у станка выстраивалось три десятка блестящих «стаканов», я испытывал истинное удовлетворение, забывая об усталости и постоянно сосущем чувстве голода. Раздавался обеденный гудок. Мы выключали станки и шли на второй этаж, где помещалась столовая.

Каждый рабочий получал 800 граммов хлеба и обед, который состоял обычно из миски рассольника – жидкого варева, в котором попадались нарезанные зеленые помидоры и мелкие кусочки картофеля. На второе всегда давали миску каши, чаще всего перловой или пшенной, без мяса. Я проглатывал обед и съедал примерно 500 граммов хлеба, а остальные триста граммов аккуратно завертывал в марлю, чтобы принести домой, там ведь ждали мать, брат, сестра и бабушка. После обеда чувство голода не проходило, и я испытывал невероятное искушение развернуть марлю и отломить еще кусочек хлеба. Иногда я не мог устоять и делал это, испытывая презрение к себе, острые упрёки совести. Дома ждут эти крохи хлеба маленькая сестричка и брат. Они получали по карточкам 400 граммов хлеба и мать – 600. Выбываясь из последних сил, мать старалась подработать, где только можно. Зимой, когда голод стал непереносимым, ей удалось обменять свое последнее богатство – золотые женские часы, доставшиеся ей в наследство от бабушки, – на два пуда пшена. Это нас спасло. Я до сих пор хорошо помню изумительный вкус пшенной каши, которой меня кормила мать вечером после заводской смены.

32

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

Мои братья тоже любили меня. Одно из самых ярких воспоминаний детства – приезд в Запорожье. Братья брали меня на Днепр. Там в заводи стояла их лодка. Мы грелись на острова с берегами из чистейшего белого песка, купались, ловили рыбу, варили уху. Изя демонстративно переплывал Днепр, молча игнорируя слезные просьбы Люси не делать этого. Мы напряженно следили чуть ли ни целую вечность за головой пловца, пока он не выбирался на далекий противоположный берег, а потом с таким же замирающим сердцем следили за его возвращением. Ну кто из мальчишек мог не уважать такого сорвиголову, не восхищаться им? Как я теперь понимаю, бабушка тоже уважала Изю, ценила его силу и бесстрашие, верила, что он образумится и найдет свой путь, поэтому и успокаивала тетю Клару, когда та плакала и жаловалась на своего неупутевого сына.

Но жизнь моих любимых братьев оказалась короткой. Люся внезапно умер незадолго до войны, ему только исполнилось девятнадцать лет, говорили, от аневризмы крупного сосуда. А Изя в первые дни войны ушел добровольцем на фронт, хотя у него имелась бронь, как у рабочего военного завода. Если бы не это, тетя Клара и дядя Вениамин остались бы живы, ибо смогли бы эвакуироваться вместе с заводом. Но им не удалось уехать, и они были расстреляны вместе с тысячами других евреев Запорожья.

В начале 1942 года Изе посчастливилось узнать наш адрес, и мы получили от него два письма. В первом он сообщал, что находится в госпитале после тяжелых боев, что награжден орденом Боевого Красного Знамени. Во втором, что он, командир танка, бьет фашистов, что награжден орденом Красной Звезды. И это все. Он погиб в августе 1942 года под Сталинградом. Зная, что его родители остались в Запорожье, он дал в своей части наш адрес, и мать получила известие, что младший лейтенант, дважды орденоносец, Исак Брустинов героически погиб в бою за Родину. Бабушка очень переживала, долго не могла прийти в себя, до конца дней своих вспоминала о нем.

Бабушка была молчалива, уравновешенна, никогда не кричала на внуков, постоянно что-то делала. Как бы рано я утром ни поднимался, бабушка уже готовила на кухне и ложилась спать она позже всех. Мы ее немного побаивались, ибо от нее исходила какая-то твердость, определенность, и за немногословием мы чувствовали строгий характер. Ее смерть для нас стала тяжким событием; вдруг обнаружилась невосполнимая пустота.

34

Когда начались морозы, умерла бабушка. Меня отпустили на полдня с работы на похороны. Мы долбили промерзшую землю на кладбище, с трудом вырыли могилу. Тетя Слава достала лошадь, чтобы отвезти гроб. Стоял сильный мороз, мела метель, смерзшиеся куски земли гулко стучали по крышке гроба. Помню лицо бабушки в гробу, исхудавшее, но удивительно спокойное, с каким-то выражением достоинства и превосходства над всеми нами, стоящими вокруг.

Моя бабушка по матери – Башева Исааковна Фример – была неординарной личностью. Она рано потеряла мужа и, оставшись с двумя маленькими детьми, без чьей-либо помощи, сама пробивалась в жизни. В небольшом городе Орехове, откуда вышли все мои родственники, она, как я уже говорил, до революции держала лавку скобяных изделий и пользовалась уважением своих многочисленных клиентов. Бабушка хорошо знала отца Махно и самого знаменитого атамана, который часто наезжал в Орехов из соседнего Гуляйполя. Рассказывали, что бабушка, когда махновцы врываются в Орехов, не раз спасала своих соседей, отважно преграждая дорогу бандитам и ругая их последними словами, обещала пожаловаться самому батьке Махно. Многие махновские головорезы знали ее и отступали под ее натиском. Бабушка была грамотная и набожная. Когда мне исполнилось лет семь, она пыталась учить меня еврейской письменности и поощряла тем, что давала деньги на мороженое. Но ее намерения не увенчались успехом.

Жила она в ладу с моей матерью, очень уважала отца. Ее старшая дочь, тетя Клара, жила с семьей в Запорожье. У тети Клары было два сына – мои двоюродные братья, которых я довольно часто видел и очень любил, несмотря на их поразительную противоположность друг другу. Старший – Лазарь (все его звали Люся) был одаренным художником, очень мягким, добрым, застенчивым, с интеллигентными манерами, кротким выражением лица. Младший – Изя – даже внешне не походил на брата: мордастый, грубый, резкий, один из самых известных хулиганов в довоенном Запорожье, пару раз сидевший, правда, не подолгу, в тюрьме. На него имела влияние только бабушка. Приезжая в Запорожье, она промывала ему мозги. Он ни разу не смел ей перечить и как будто делался лучше. Перед войной Изя работал токарем на авиационном заводе и стал понемногу остепеняться.

33

В три часа дня я уже стоял за своим станком, стараясь сосредоточиться на «стаканах». Я обязан был в этот день выполнить норму – с таким условием меня отпустил на похороны заместитель начальника цеха.

К тому периоду я уже настолько освоил станок, что выполнял норму на 200–300%. После недели такого ударного труда приходил нормировщик и почти наполовину удваивал норму. Но вскоре не только я, но и мои несовершеннолетние коллеги, опять довели производство до 200% за смену. Мы организовали комсомольско-молодежную фронтную бригаду; меня избрали бригадиром.

Разумеется, делалось это по инициативе Комитета комсомола завода, с легкой руки секретаря комитета – Лидии Григорьевны Аугуст. Она именовалась комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе № 45. Такую должность учредили в военное время для комсомольских руководителей на крупных предприятиях по аналогии с их партийными руководителями. Соответственно, первое партийное лицо на заводе именовалось «Парторг ЦК ВКП(б)». На эту должность утверждали в обкоме и ЦК. Занимавшие их лица имели большие права и несли персональную ответственность за выпуск продукции. Роль комсорга ЦК ВЛКСМ на нашем заводе легко понять: ведь его кадры более чем на две трети состояли из молодежи допризывного возраста.

Лида Аугуст была весьма миловидной женщиной, лет двадцати пяти. Она хорошо одевалась, носила ладно сшитые платья и добротные туфли. Зимой мы замечали ее издали по светлой беличьей шубке. Она составляла резкий контраст с нашей замызганной братвой в промасленных телогрейках. Но, несмотря на это, мы считали ее своей в доску, верили ей. От нее исходила добрая энергия, какое-то непонятное нам, но очень привлекательное обаяние интеллигентности. Мы чувствовали ее искренность, прямоту, желание помочь. Это и вызывало доверие, уважение и вместе с тем ощущение товарищества.

Наша комсомольско-молодежная фронтная бригада, состоявшая из семи токарей, стала на заводе знаменитой. О ней писала районная газета, дирекция выносила благодарности, из обкома комсомола приезжали изучать наш опыт. Мы старались вовсю, продумывали каждую мелочь, чтобы не терять ни секунды, эконо-

35

мить металл и увеличивать производительность. Я хорошо помню моих друзей по бригаде: Леву Косого, Маню Зайчик, Виктора Кондакова – он был самым старшим из нас, ему уже исполнилось 16 лет. В отдельные дни мы выполняли норму на 400%, хотя ее до этого несколько раз повышали. После окончания смены я доплетался домой, едва передвигая ноги.

Стояли сильные морозы. Мать сэкономила остатки дров. Люсю, которой исполнилось полтора года, сажали прямо на остывающую печку. Чем топить? В конце обширного двора возвышался добротный немецкий сарай из толстых бревен. Я давно присматривался к нему и однажды ночью, основательно подготовившись, с помощью моего восьмилетнего брата Ромы, за одну ночь разобрал его. Тяжелее всего было разбирать крышу. Отдираемые доски пронзительно скрипели на морозе, и мы замирали на минуту в страхе, что кто-то услышит. Потом по порядку снимали бревна сруб и втаскивали их в огромный сарай, примыкавший к нашему дому. К утру пошел сильный снег, и все следы оказались скрытыми. Соседи удивлялись, куда исчез сарай. Подозревали других, ибо никто не думал, что это могли сделать мы с братом.

Мы постепенно распиливали дрова и кололи чурбаки. Эти дрова горели как порох. Разобранного сарая нам хватило почти на всю оставшуюся зиму.

Уже весной, когда снег сильно подтаял и обнажились нижние доски разобранных за зиму заборов (на ближайших к нам улицах не осталось ни одного), мы с братом снова отправились на охоту. На соседней улице мы нашли несколько толстых нижних досок, наполовину вмерзших в подтаявший снег. Пару штук мы не без труда выковыряли и, когда принялись за следующую доску, неожиданно появился патруль милиции. Нас арестовали, доставили в отделение милиции, составили протокол. Брата отпустили, а я всю ночь просидел в камере, вернее проглотался, чтобы не замерзнуть. Рано утром меня отпустили на работу, пригрозив послать на завод протокол и передать дело в суд. Я успел к началу смены, как ни в чем не бывало. Бумага на завод, действительно, пришла, но ее, стараниями Лиды Аугуст, положили под сукно.

Более того, меня вскоре избрали секретарем комсомольского бюро цеха. Этот цех № 10 составлял добрую половину завода, в нем работало около трехсот комсомольцев. Конечно, на эту должность меня выдвинула Лида. Она долго уговаривала, я боялся. Осо-

бенно пугало, что нужно выступать на больших собраниях. Они созывались редко, проводились примерно раз в месяц-полтора. Я никак не мог побороть боязни перед большой аудиторией, мысли путались, перехватывало горло, я невнятно говорил, испытывая презрение к себе. Но, ничего не поделаешь, приходилось выступать, перебарывая себя. Зато говорил недолго, и мне, как я видел, прощали косноязычие. Главное – уметь работать, а не говорить. В общем, я стал комсоргом цеха и членом Комитета комсомола завода. Теперь после работы надо ходить на заседания, заниматься комсомольскими делами в цехе, организовывать соцсоревнование, выпускать газету и т.д. и т.п. Постепенно я втянулся в это дело, и комсомольская братва меня признала. Ведь свой парень, в промасленной фуфайке, вкалывает на станке, как все, перевыполняет норму.

Шел март 1943 года. Мне исполнилось четырнадцать лет. На фронте наступил перелом, немцев разбили под Сталинградом. Мы воспрянули духом. И тут вышел приказ: перевести завод на производство танковых моторов. Приказ наркома танковой промышленности Малышева зачитывали по заводскому радио. Фронту нужно больше танков. Срок перехода на выпуск новой продукции – месяц.

Сейчас, когда я думаю об этом приказе, меня поражает, казало бы, полная нереальность поставленной задачи. Минометы и снаряды – одно, а танковые моторы – совсем другое. Это вещи – несопоставимые по технологии, по сложности.

Но приказ есть приказ. И началось! Станки вырывали из бетонных опор и ставили на другое место. Цех полностью перепланировался. Устанавливали новые станки, прибывшие с других заводов. Менялись технологические линии. В цеху творилось что-то невообразимое. Пыль, вспышки электросварки, матерная брань, грохот моторов, потные, грязные лица, команды начальства, куча работников техотдела с чертежами. Люди сутками не выходили из цеха, падали от усталости, послав два часа тут же в цеху, снова тащили станки, долбили бетон, несли на носилках цемент, шлак, волокли железные плиты.

Конечно, у руководства был заранее разработанный план, продуманный технический проект. Начальник цеха Нехаев – резкий, нетерпеливый, с неизменной папирской в зубах, его заместители, мастера, сотрудники техотдела хорошо знали свои задачи и четко

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

ставили их своим подчиненным. Наше дело – внимательно слушать команды, уяснить свою частную цель и стараться сделать все быстро и точно. Особенно мне запомнился заместитель начальника цеха Ингульцов, со странными для нас интеллигентными манерами, говоривший тихо и толково, умевший спокойно и немного словно объяснить, что и как надо делать. С ним любили работать. В отличие от начальника цеха Нехаева он никогда не матерился, разговаривал с нами, мальчишками, как со взрослыми. Вокруг него работа спорилась и – никакого шума, раздражения и ругани. Все мы были горазды на крепкие слова, но при нем никто не ругался матом.

Дней через десять колоссальная работа по перестановке станков и оборудованию новых поточных линий завершилась. Начался следующий этап. Надо было научиться делать новую продукцию. Совсем другая точность обработки деталей. Это не «стаканы» для миномета. У многих не получалось, шел брак. Начальство нервничало, мастера сами становились за станки, учили нас. Мы старались, лезли из кожи вон. Такого напряжения и такой жажды коллектива добиться цели я не помню в своей жизни. Я не выходил из цеха почти три недели. Спал, как и другие, часто по два-три часа в сутки. Оба сменщика (работавшие на одном станке) учились одновременно. Какая радость охватывала, когда деталь удавалось сделать правильно. Мы любовались ею и чуть ли ни целовали ее.

Через двадцать пять дней задание было выполнено. На испытательном стенде сборочного цеха стоял первый танковый мотор.

Что бы там ни говорили нынешние интеллектуалы, особенно из молодых, уверенные в своем понимании природы человека, русского народа, меряющие всё на свой аршин и не столь уж редко брюзжащие по поводу нашей истории, тогда действительно был высокий духовный подъем, удесятявивший силы людей. И это, в первую очередь, относилось к молодежи, которая в массе своей была патриотически настроена, была готова отдать все силы и даже жизнь во имя Родины, во имя Победы. Пусть это отчасти происходило и оттого, что мы многого не знали и не понимали. Неважно! Суть оставалась правильной. Родина была для нас превыше всего. Поэтому и могли совершаться такие чудеса.

Наступило победное лето 1943 года. Немцы потерпели сокрушительное поражение под Курском и Орлом. Наши войска быстро шли на Запад. Началось освобождение Украины.

В первых числах августа Лида срочно вызвала меня в Комитет комсомола. У нее был отдельный кабинет с телефоном. В приемной сидела ее секретарша Роза – наша мелитопольская девушка. Она сразу провела меня в кабинет Лиды, выражение лица которой меня насторожило. Без предисловий она сказала:

– Завтра тебе придется принимать дела. ЦК ВЛКСМ отзывает меня. Я назначена комсоргом ЦК на восстановлении Ново-Краматорского машиностроительного завода (знаменитого НКМЗ имени Сталина – одного из самых крупных заводов страны).

– Послезавтра я уезжаю. Мы посоветовались с партгором и в райкоме и решили назначить тебя на мою должность. Ты сегодня освобождаешься от работы в цехе, я уже звонила Нехаеву. Сейчас мы пойдем в райком комсомола.

Это известие меня ошеломило. Я начал упираться, говорить, что не справлюсь. Я не мог представить себя в этом кабинете, ведущим заседания комитета комсомола, выступающим на бюро райкома комсомола, с докладами на собраниях, не говоря уже о необходимости присутствовать на директорской планерке, на заседаниях парткома и т.п.

– Я верю в тебя, – сказала Лида. Только перестань киснуть. Научишься. Времени у нас нет. Пошли.

В райкоме комсомола нас встретила Первый секретарь Сарра Шендерович. До войны она была секретарем райкома комсомола в сельском районе Белоруссии. Высокая, плотного сложения, с зычным голосом, настоящая мать-командирша, Сарра ходила по кабинету, возвышаясь над нами. Не спрашивая моего согласия, она сказала:

– Сегодня на бюро утвердим его. Начиная принимать дела! На мой робкий лепет, что не справлюсь, она резко отвечала:

– Раз надо – справишься. С цехом справились и с заводом справишься. Хнычьешь как детка. В твоём возрасте в Гражданскую полком командовали (намекая на Гайдара). Долго тебя уговариваем. Война идет! В шесть чтобы был на бюро. Сходи с ним. Лида, сейчас к Орлову (секретарь райкома партии). Только смотри там нони не распускай и говори коротко.

В приемной нас просили подождать. Пока мы там сидели, я пытался представить себя в новой роли, но у меня не получалось. Конечно, моему мальчишескому самолюбию льстило такое повышение. Что там говорить, кому не хотелось стать большим начальником. И как я не гнал чувства своей исключительности,

предназначенности к славе, подвигу, каким-то необыкновенно важным делам и поступкам, эти чувства все равно возникали и питали честолюбивые планы, будоражили воображение, и я видел себя в ореоле славы и наград. Но это было связано прежде всего с мечтой попасть на фронт и совершить необыкновенный подвиг, чтобы о нем узнали все. Как я завидовал тем, кто достиг призывного возраста и одел солдатскую шинель! Как билось мое сердце, когда я читал в газетах о подвигах Героев Советского Союза и невольно ставил себя на их место! Завод, отнимавший все силы при тупял эти мечты, переключал мою честолюбивую энергию в другое русло. И предложение Лиды взволновало меня не на шутку. Но когда я начинал думать об обязанностях комсорга ЦК ВЛКСМ, мой дух снижал. Я даже не знал, какие дела мне нужно принимать. Что я должен буду делать с раннего утра и до позднего вечера? Как это я стану ходить руки в брюки и давать указания своим вчерашним корешам, выступать на собраниях, призывать к героическому труду, не простаивая за станком двенадцать часов? Что-то здесь было непонятным и невозможным.

Наконец нас пригласили к секретарю райкома. Он распекал кого-то по телефону. Не отрываясь от трубки, кивнул нам: мол, садитесь. Разговор был короткий. Лида сказала, что комитет и райком комсомола рекомендуют меня, что я комсорг цеха, знаю завод, пользуюсь авторитетом и т.п. Орлов посмотрел на меня внимательно и спросил: «Справишься?» И я честно ответил: «Боюсь, что не справлюсь». Лида начала говорить, что я скромничаю, что обязательно справлюсь. Орлов перебил ее и резко изменил тон:

– Что значит, «не справлюсь»? Раз тебе комсомол и партия доверяют, обязан справиться. А не справишься, пеняй на себя.

Тут раздался телефонный звонок. Орлов снял трубку, но, прежде чем ответить, сурово посмотрел на меня и сказал:

– Или клади на стол комсомольский билет или принимай дела. Всё! – и начал говорить по телефону, давая понять, что с нами разговор окончен.

Когда мы вышли, Лида сказала:

– Ну вот, считай, что тебя в райкоме партии утвердили.

Вечером на бюро райкома комсомола вопрос решился за минуту: «Есть предложение назначить исполняющим обязанности комсорга ЦК ВЛКСМ на заводе № 45 ... Возражений нет?.. Кто за?.. Кто против?.. Единогласно. Начинай работать».

ных, хорошо одетых дядей. Самое трудное – перебороть парализующее чувство неполноценности, перешагнуть через себя. Сколько я помню себя, эта проблема всегда была для меня мучительной, казалась бы, неразрешимой, но всегда в какой-то момент, дойдя до высшей степени безысходности, ненависти к себе, я откуда-то брал силы, чтобы сделать первый шаг, перешагнуть границу, а дальше все шло уже легче.

И тут уместно небольшое отступление. Я хочу рассказать о своих «подвигах» в раннем довоенном детстве. Они как бы символизируют весь мой жизненный путь, а, вернее, характер. Не исключено, что и моим потомкам досталось от меня что-то подобное в характере, и мой рассказ поможет им преодолевать страх и неуверенность в себе.

Первый свой «подвиг» я совершил в девять лет, когда учился во втором классе. Наша учительница – Нина Федоровна – была строгой и справедливой, мы ее уважали. Однажды она заболела, и вместо урока нам дали классное задание. Естественно, без учителя никто ничем не занимался, все разговаривали, ходили-бродили. Наш класс располагался на высоком втором этаже, и прямо под окном возвышалась куча песка, привезенного недавно для строительных работ. Кто-то из мальчишек влез на подоконник и начал призывать смелых прыгнуть в песок. Один из наших классных сорванцов без колебаний встал на подоконник и под восхищенные визги девичьих сиганул вниз. Он застрял в песке чуть ли не по пояс. А ну, кто следующий? И еще один отважный второклассник прыгнул. Дальше произошла заминка. Желаящих не было.

Я стоял на подоконнике и смотрел на ярко желтую кучу сыроватого песка, сердце мое замирало от страха. Я отодвинулся в сторону. И тут начались крики; все боявшиеся, как и я, избрели меня своей мишенью: «А, боишься!», «Слабо!», «Эх, ты!», «Трусишка!». Я не мог быть трусом, но и не мог решиться прыгнуть. Я еще стоял на подоконнике, отодвинувшись в сторону и уступая место другим. Меня укорял, подзуживал почти весь класс, особенно девочки. Вот этого я не мог перенести.

Не помню, как это произошло, но будто другой человек во мне, вопреки страху, усиливая страх, доводя его до крайней степени, заставил оттолкнуться ногами от подоконника и прыгнуть.

Попал я не в центр кучи, а ближе к ее краю, обвалившийся сверху песок почти засыпал меня. Я встал, отряхиваясь, выплыв-

На следующий день Лида вводила меня в курс дела. Многое я плохо понимал и вообще находился в каком-то слегка пришибленном состоянии. Заседания, совещания, членские взносы, присутствие на ежедневной директорской планерке, отчеты в райком и т.д. и т.п. Кучи бумажных дел. Ежедневные встречи с комсоргами цехов, организация соцсоревнования, выпуск стенных газет и листовок, контакт с профсоюзом, выполнение указаний парторга ЦК ВКП(б), повышение трудовой дисциплины, борьба за перевыполнение плана, проверка работы столовой, планирование еженедельных заседаний комитета комсомола и обязательные ежемесячные отчеты в райком и обком комсомола, протоколирование всех заседаний, бумаги должны быть в «ажуре».

Лида сказала, что Роза это умеет делать, все отпечатает на машинке. Если что, Сарра Шендерович поможет, она хоть и рычит, но добрая и справедливая. Лида давала мне кучу всяких советов: как вести себя с директором, партгором, председателем профкома, с отделом кадров, начальниками цехов, наставляла меня в дипломатии. Она сказала, что надо будет поехать в Саратов на утверждение в обком комсомола, но чтобы я не спешил:

– Поработай месяц-другой, потом поедешь. И сначала надо согласовать поездку на утверждение с райкомом комсомола. Это все – дело Сарры, она тебе подскажет.

Мы прощались с Лидой. Она твердо обещала, что со временем заберет меня на Украину, может быть, даже к себе на Краматорский завод, что обязательно будет писать. На следующее утро она уехала.

В этот день я впервые сидел в ее кресле за большим столом с телефоном и остро переживал свою неполноценность. Не по Сеньке шапка! Зашла Роза и подала стакан чая с маленьким кусочком сахара. Она рассказала о тех благах, которые теперь мне положены по чину. Кое-что я об этом знал, но далеко не всё. Мне теперь положен не только бесплатный обед в директорской столовой, но и еженедельный спецпак и другие привилегии. Начальство!

Роза вышла, и я долго сидел за большим столом, не зная, с чего начать свою новую деятельность, со щемящим сердцем и острым переживанием чуждости этой обстановки и новых обязанностей. Особенно трудно было идти на директорскую планерку, общаться с директором, его заместителями и партгором. Я отчетливо представлял высокомерное отношение к себе этих лохотных, упитан-

вал песок изо рта, смахивал его с волос, не испытывая никакого прилива самоуважения, но все же удовлетворенный тем, что опроверг мнение, будто я трус.

Но главный свой «подвиг» я совершил годом позже. В нашем классе училась девочка Люся Дудалевиц, с которой я сидел за одной партой. Я был к ней явно неравнодушен. Сзади нас сидел Радик Козак – гроза класса и всего школьного этажа, наш повелитель и властелин. Он был на голову выше почти всех своих сверстников, обладал большой физической силой, и от его тумачков и затрещин страдали многие из нас. Особенно любил он показать свою власть в присутствии многочисленных поклонниц. Мы покорно переносили унижения, привыкли к ним. И вот Рад (так его называли все) стал оказывать повышенные знаки внимания Люсе Дудалевиц. Это выражалось в том, что он во время урока, сидя сзади, дергал ее за косички, развязывал бант. Люся изо всех сил старалась не обращать внимания, но терпение ее было на пределе, я видел, как у нее на глазах наворачивались слезы. В душе моей бушевало негодование, но я терпел вместе с ней, страдая и презируя себя. Это повторялось много раз. Однажды после звонка на урок, когда мы расселись уже за партами, Рад особенно нагло стал дергать Люсю за косички. Она не шевелилась, сидела точно каменная. И тогда незадачливый ухажер нагнулся под парту и сзади уколол ее в мягкое место пером своей ручки. Люся вскрикнула, вскочила и громко заплакала.

У меня помутилось в голове, и я, не отдавая себе отчета, ударил его рукой в лицо. Удар получился слабым. Но сам факт произвел на меня и моих одноклассников потрясающее впечатление. Рад удивился, не спеша съездил меня по физиономии, и в это время в класс вошла учительница. Сзади Рад шипел: «После уроков я тебе дам, я тебе покажу...». Люся сжала мою руку. Был последний урок, и я, к собственному удивлению, спокойно, но с явным чувством отрешенности, ждал его конца.

Прозвенел звонок. Весть о том, что Рад получил по морде, мигом облетела все младшие классы. Его ненавидели и боялись. Я чувствовал пламенную поддержку широких народных масс. Рад приказал мне идти за ним в палисадник около школы. За нами следовала толпа школяров. В палисаднике Рад стал напротив и сильно ударил меня в лицо, потом еще раз. У меня потемнело в глазах, из носа пошла кровь. Все мои болельщики замерли. «Ну, хочешь

еще?» – сказал Рад и размахнулся. И в это мгновение во мне что-то переломилось, я отчетливо увидел его ненавистное лицо, колючие, беспощадные глаза и со всей силы ударил его, привстав, кажется, на цыпочки, – ведь он был гораздо выше. Удар оказался сильным, прямо в нос. Рад застыл от удивления и боли. Из носа у него пошла кровь. Школяры завывали от восторга: «Так его! Дай ему!» Прицелившись, я ударил его еще раз. Он пришел в себя и уже без прежней самоуверенности наносил мне удары, потерявшие точность. Я четко видел его окровавленное лицо, забыв о своей боли, видел его растерянные глаза и несколько раз точно попадал в голову. Кровь из носа лилась у него на белую рубашку. Толпа мальчишек дико орала: «Бей его! Бей!» Наконец Рад остановился и, зажав пальцами нос, повернулся и медленно стал уходить под улюлюкающие десятков пацанов, готовых броситься на него и растерзать, выместить все свои обиды и унижения.

Мне тоже досталось изрядно. Но все это были пустяки по сравнению с неожиданной победой. Теперь я понимаю, что эта, повторыю, неожиданная для меня самого способность к сопротивлению и эти растерянные глаза наглого, всесильного еще минуту назад мучителя, сыграли в моей жизни исключительную роль. И дело не в том, что Люся мне ласково улыбалась, а мальчишки стали заискивать и всячески демонстрировать свое уважение, и не в том, что Рад больше не появлялся в классе и вскоре перевелся в другую школу. Я понял, что боль не страшна, что надо и можно перебарывать страх и душевный ступор, и что есть правда на земле.

Конечно, все это осознавалось мной не так ясно, как я сейчас пишу. Но суть была именно такой. И после этого я слишком часто испытывал страх и душевный ступор, с трудом поворачивая себя для их преодоления (и не всегда удачно!), но я уже твердо знал, что это возможно, что это мне по силам и что нет другого выхода: хочешь не хочешь, надо напрягаться, переступить через пропасть.

Так было и в тот раз, когда мне предстояло идти впервые на директорскую планерку. Казалось, это выше моих сил. Так не хотелось! Но время приближалось, я встал и пошел, испытывая нечто подобное раздвоению личности, решающий сдвиг производил как бы не я.

В большом директорском кабинете собралось человек двадцать: начальники цехов, заместители директора, парторг, предсе-

датель завкома. Сам директор Лисин – высокий красавец с усами – стоял у своего стола и кого-то ругал по телефону. Преодолевая робость и чувство собственной никчемности, я вошел в кабинет и уселся у самого края. На меня почти не обратили внимания. Так началось мое вхождение в заводскую элиту. Планерка длилась около часа. Я постепенно притерпелся, стал слушать внимательно. Помню, главной темой был брак в литейном цехе. Заготовки, которые там отливали, оказывались почти наполовину некачественными. Из-за этого трещал план. Ушел я так же тихо, как и пришел.

Что делать дальше? Как появиться в цехах и говорить с комсомольцами, будучи в чистой, хотя и штопанной одежде? И опять изо всех сил перебарывая себя, я пошел в свой цех. Смущенный, подходил к своим друзьям и знакомым. И они меня поняли, стали подбадривать, делая вид, что все нормально, хотя и подначивали слегка. На душе у меня стало легче. После полудня я вернулся в комитет комсомола. Роза чуть ли не с порога спросила: «Ну, что давали вам сегодня на обед?» Я сказал, что не ходил на обед. «Ну и дурак – сказала Роза. – Если тебе положено, чего же ломаешься. Ну и ходи голодный!»

Я знал, что обед – с часу дня, знал, куда надо идти, чертовски хотел есть. Два раза обошел вокруг директорского корпуса, но так и не смог перебороть себя, уж больно стыдно было и тяжело, вдруг еще что-то скажут, да и совесть мучает: жрать по высшей категории, когда твои товарищи, вкальывающие на станках, голодают.

Надо сказать, что в те времена у нас, идейных комсомольцев, было остро развито чувство коллективизма (как его называли), служения обществу. Интересы нашего «я» всегда ставились на второй план. Партия и комсомол олицетворяли в нашем сознании нечто великое, надличностное, тот высокий смысл, во имя которого только и следовало жить и бороться. Человек, живущий лишь для себя, – законченный эгоист, низкое существо, жалкий обыватель, заслуживающий презрения. Такого не жалко! Его надо воспитывать и наказывать. Это – враждебная, ненавистная личность, ибо она ставит на первое место свои шкурные интересы, а значит, пренебрегает интересами страны, партии, комсомола. Все случаи эгоизма, рвачества, защиты своих интересов за счет других вызвали у нас особое негодование и презрение. Легко понять мое состояние, когда вдруг судьба выдернула тебя из тысяч ребят, вознесла и придвинула к твоему голодному рту кормушку, не просто совла-

дать со своей совестью. Но человек – слаб, он легко оправдывает себя и подчиняется благодатным переменам.

На следующий день, сделав, кажется, три круга, я вошел в директорский корпус, намеренно опоздав, и по запаху определил помещение столовой. Это была уютно обставленная комната с четырьмя столами, покрытыми белыми скатертями. На столах стояли хлебницы, укрытые накрахмаленными салфетками, сразу видно, что под ними – хлеб. В комнате никого не было, и я остановился в дверях, не зная, что делать. Но тут из соседнего помещения вышла симпатичная моложавая блондинка и молча уставилась на меня. Переборов смущение, выдал из себя:

– Я вместо Лиды Аугуст.

– А, комсорг? Что же ты вчера не пришел обедать? Ну, садись!

Она принесла мне салат из соленых помидор с луком, густо сбобранный подсолнечным маслом и сдернула салфетку с хлебницы:

– Вот хлеб. Весь твой.

Я сразу определил на глаз: граммов четыреста, не меньше.

Затем она принесла полную до краев тарелку борща с выпирающим из-под гущи куском мяса, большую пышную котлету с картофельным гарниром, стакан компота.

Такого обеда я не видел почти два года. Есть хотелось до безумия. Но вначале кусок не лез в горло: я вспомнил о матери, Люсе и Роме, о своих друзьях-токарях. У меня была с собой свежая заводская многотиражка. В нее я завернул котлету, мясо из борща и пару кусков хлеба, остальное съел.

Так я переступил черту, отделяющую меня от простых смертных. Оказывается, мне, как комсоргу, было положено еще многое: особый паек, мыло и в определенный период какая-то одежда. Одним словом, начальство! А начальство – не то, что простой люд. Оно и в голод, и в холод, несмотря на войну и беды, живет в достатке. Партия и правительство заботились о начальстве. На всех не хватало, но начальство имело полную чашу.

Постепенно я приспособился к своему новому положению и часть обеда приносил вечером домой. Мать очень гордилась тем, что я стал кормильцем семьи, и писала об этом отцу.

С горем пополам я научился сдавать отчеты, ходить на заседания райкома комсомола, звонить по телефону в цеха и в разные инстанции, даже отвечать на вопросы во время директорской пла-

нерки. Хуже было с выступлениями на собраниях, но, что поделаешь, хоть и косноязычно, но произносил то, что нужно. Незаметно подступила ранняя зима. Я работал комсоргом завода уже почти три месяца, и как-то после заседания райкома комсомола Сарра Шендерович сказала:

– Пора тебе ехать на утверждение в обком. Мне сегодня звонили, в следующий понедельник поедешь. Бюро у них начинается с трех часов. Рано выедешь – успеешь.

От нас до Саратова километров семьдесят. Но в октябре 1943 такое расстояние преодолеть было непросто: или автомашиной, или на лошади. Железной дороги в городе Марксе не существовало. Можно, конечно, и пешком дня за два-три, тоже не проблема.

Сарра выдала мне командировочное удостоверение и позаботилась об отправке. Рано утром на выезде из города ждал милиционер, который и посадил меня в кузов попутной машины, ехавшей в Саратов. Часа через три, промерзший в кузове на ветру, я прыгнул, наконец, на землю и стал искать обком комсомола.

Плохо помню само заседание бюро обкома. Очень долго сидел в приемной, ждал до темна. Потом, наконец, выкликнули мою фамилию. В зале заседания за длинным столом расположилось человек пятнадцать упитанных, но приунывших ребят с важным видом. О чем-то меня спрашивали, что-то я им отвечал. Все длилось недолго. Ну, ладно, мол, достаточно, поезжайте, мы сообщим в райком.

Куда же ехать на ночь глядя? Я перекаптался ночью в обкоме, где-то на столе прикорнул, а рано утром пошел пешком через Волгу в Энгельс и почти весь день простоял у выезда из города, голодая. Наконец один шофер уже под вечер сжалился и подобрал меня. Домой я попал уже поздно ночью.

С утра я был на заводе, а вечером пошел в райком. Сарра оказалась мне несколько растерянной: не знала, с чего начать. Но потом сказала, что обком не утвердил меня, якобы по малолетству, и завтра приедет другой человек, которого обком утвердит.

Конечно, услышать такое было тяжело и обидно. Но спустя минуту-другую я даже испытал облегчение: «Ну и хрен с вами! Подумаешь, не утвердили. Плевать я хотел на ваших тыловых крыс. Теперь – на фронт!» Теперь самая заветная мечта близка к осуществлению, ничто больше не держит. Только на фронт! Конечно,

самовольно уйти с завода – дезертирство. За это судили и давали большие сроки. Но я иду воевать за Родину, я не дезертир!

Сарра стала мне говорить, чтобы я не падал духом, что меня используют на комсомольской работе. Ты же член комитета, говорила она, будешь заместителем комсорга, или заберем тебя в райком инструктором. Но это уже мне было не интересно. Как попасть на фронт – вот, что интересно. А где-то в подсознании мелькала мысль: не утвердили по малолетству, а инструктором, значит, можно. Я отгонял эту мыслишку и обиду, старался думать только об одном: как добраться до фронта и чтобы меня взяли. Прощай, завод. И мать придется бросить. Как она без меня?

Назавтра, когда утром после директорской планерки я вошел в комитет комсомола. Роза сказала, что меня ждут. В моем кабинете, за моим столом сидел смазливый мужчина в добротном темном френче с медалью «За трудовую доблесть» на груди. Это и был утвержденный обкомом новый комсорг завода. Он встал из-за стола, высокий, широкоплечий; ему было года 22-23. На его фоне я выглядел, конечно, весьма жалко. Я передал ему дела, ответил на его вопросы и, ни с кем не попрощавшись, помчался домой собираться в дальний путь.

Надо еще решить, как уйти с завода. Так просто не отпустят, остается просто удрать. Ищи ветра в поле. А потом с фронта, получив уже боевые награды, прислать письмо: так, мол, и так, вот вы меня не утвердили и спасибо вам, теперь бьем фашистов и, значит, боевой привет всем трудящимся и особенно новому комсоргу, такому здоровому мужику пора бы в руки винтовку, а не карандаш... Ну нет, это лишнее, прерываю я мстительный поворот мысли. Да, придется тихо удрать и пробираться без документов до самой линии фронта.

У меня был единомышленник – Шурка Земченков. Он работал в нашем цехе. Мы с ним давно строили планы, когда стояли за соседними станками и часто вместе возвращались домой. Я уж не знаю, какими правдами или неправдами, но ему удалось уволиться с завода буквально несколько дней тому назад, он собирался ехать к тете в освобожденное не так давно село на Орловщине.

Шурка был старше меня на два года, крепкий парень. Говорили, будто сам парторг ЦК ВКП(б) являлся его родственником, он и устроил увольнение с завода, что по тому времени было неммы-

лимым делом: с военного завода нельзя уволиться ни под каким предлогом.

Еще накануне вечером я прямо из райкома зашел к Шурке. Он уже настроился ехать к тете в прифронтовую полосу, но я быстро убедил его, что мы должны попасть на фронт, успеть повоевать, заслужить награды. Шурка просил только ничего не говорить его матери. Отъезд мы назначили на послезавтра.

Что же сказать моей матери? Я придумал: Лида Аугуст вызывает к себе в Краматорск, надо немедленно выезжать. Я сказал матери об этом в тот же вечер. Она очень расстроилась, но начала собирать меня в дальнюю дорогу.

Весь следующий день прошел в сборах. Чинили валенки, ватные брюки и телогрейку. Мать складывала в мешок необходимые вещи и продукты, пришивала к мешку лямки, чтобы можно было носить его за спиной как рюкзак. Спать легли очень поздно, а ранним утром мы с Шуркой уже стояли в полном снаряжении на выезде из города, ожидая попутной машины до Энгельса, там, на противоположном берегу Волги, была железная дорога и начинался путь к заветной цели.

## 6. Дорога на фронт

Из всей моей долгой жизни дорога на фронт, длившаяся более двух месяцев, осталась в памяти как самое трудное и насыщенное событиями время. Мы были до крайности наивны. Чтобы попасть на фронт, мы хотели доехать до последней железнодорожной станции, а потом – пешком добраться прямо до переднего края и, обратившись к первому попавшемуся командиру, просить его зачислить в свою часть. Мы предъявим ему комсомольские билеты, скажем, что хотим воевать за Родину, бить фашистов, и нас, конечно, сразу возьмут. Ну, может быть, вначале, немного подучат стрелять.

Потом уже, в дороге мы не раз обращались к командирам в эшелонах, идущих в сторону фронта. Большинство из них отмахивалось от нас: «Учиться надо, пацаны. Давай в школу!» или более сурово, но, в сущности, добродушно: «А ну, катись отсюда! Нашлись вояки!» И только раз, после настойчивых обращений к одному пожилому майору, которого мы приняли за командира эшелона, нам здорово попало. Майор долго не реагировал на слез-

ные наши просьбы, молчал, как будто мы вовсе и не существуем, а потом заорал: «Молокососы, мать вашу так и этак! Да кому вы нужны, чтоб сопли вам утирали! Еще детсада мне не хватало! Эй, Иванов, – подозвал он сержанта, – будут здесь отираться, арестуй и доставь в милицию». Ну, конечно, мы мигом испарились. После этого случая уверенность, что мы крайне необходимы на фронте, что нас там ждут, сильно поколебалась. Но отступить было некуда.

Наивность – великая сила, без нее ничего бы у нас не получилось. Начиная свой путь, мы твердо верили в наше правое дело и совершенно не представляли, что нас ждет.

Итак, ранним утром мы стояли на выезде из города, чтобы добраться до железной дороги. Машины проходили редко. Но никто не собирался нас подвозить. Мороз пробирал до костей, началась метель. Шурка уже не раз тянул меня домой погреться (притоптывания и бег на месте уже не помогали), но я чувствовал, что возвращаться нельзя. Наконец, уже под вечер, нас за определенную мзду шофер полуторки взялся подбросить прямо до Саратова.

Часа три мы протряслись в кузове на морозном ветру и, когда приехали, не могли вылезти, настолько промерзли. Но делать нечего, кое-как размялись и через весь город шли пешком до вокзала. Под утро отправлялся поезд до Ртищево, мы благополучно проникли в вагон, обосновались на третьей полке, постепенно размякли от тепла.

Так началось путешествие по железной дороге. План был простой: добраться до Брянска, а оттуда к границам Белоруссии, где проходила линия фронта. Недалеко от Брянска в деревне у Шурки жила тетя – родная сестра его матери. Там мы в случае чего могли передохнуть, подкрепиться, а оттуда уже совсем близко до желанной цели. Маршрут мы знали приблизительно: Тамбов, Мичуринск, Липецк, Орел, Брянск. Из документов у нас были только комсомольские билеты, а у Шурки еще и справка, что он уволился с завода. Мы понимали, что проделать такой путь по военной России без билетов и документов будет нелегко и условились: если заберут в милицию, говорить, что едем к тете ( в Тамбов, Липецк, Орел, Брянск и т.п.).

До Ртищево – крупной узловой станции – мы добрались благополучно. Вместе с толпой прибывших втиснулись в помещение вокзала, постепенно отвоевали себе «пятачок» на полу, положили свои рюкзаки под головы и стали ждать поезда в сторону Тамбова

или Кирсанова (город на полпути к Тамбову). Скоро мы узнали, что поезда на Тамбов в ближайшие два дня не будет. Что делать?

Постепенно мы освоились в скопище таких же как мы пассажиров. Кого только тут не было! Сытые бабки с «сидорами» (так называли туго набитые мешки), увечные мужики, всевозможные оборванцы и воришки, женщины с сопливыми, орущими детьми, солдаты, группы военных под началом офицера, расположившиеся особняком, беспризорные мальчишки нашего возраста. Большинство ехало издалека, и мы быстро приобщились к их опыту, сноровке и ... вшам. Не прошло и часа, как я стал испытывать зуд по всему телу и отчаянно чесаться.

Мы узнали, что рассчитывать на пассажирские поезда трудно, главное средство передвижения для тех, кто не обременен детьми и вещами, товарняки и воинские эшелоны. Надо суметь только выяснить, куда идет эшелон, уметь проскользнуть и замаскироваться или же договориться с часовым либо проводником.

Я пошел на разведку, а Шурка остался с рюкзаками. Надо узнать, куда идут эшелоны, стоящие на станции. Выяснение этого вопроса – дело тонкое. От воинских эшелонов часовые немедленно отгоняли, угрожая винтовкой. Обычные товарные составы стояли на дальних путях, безлюдные, глухие к нашим немым вопросам. Побродив по путям с полчася (чтобы перейти на следующий путь, надо подлезть под вагон), я вернулся на перрон и тут попал в облаву.

С десяток милиционеров окружили высypавшую на перрон толпу и стали проверять документы. У меня, как я уже упоминал, был только комсомольский билет, и меня, естественно, забрали. Вместе с другими привели в милицйское помещение. Примерно час я ждал очереди, пока вызовут на допрос. Потом милицйский лейтенант, буровя тяжелым взглядом, выспрашивал: кто да что, куда еду. Я отвечал, что из Саратова, еду к тете в Тамбов. В общем, меня отпустили, приказав немедленно возвращаться домой в Саратов.

Обрадовавшись, что отпустили, я помчался к Шурке. И тут меня ждал первый удар судьбы. Шурка заснул, и у него сперли мой рюкзак, а в нем были одежда, ботинки, еда. Как двигаться дальше без всего? Может, вернуться, пока далеко не отъехали? Но это было бы предательством самого себя. Будь что будет, только вперед.

В общем, просидев сутки в Ртищево, мы все-таки доехали на товарняке вместе с тремя замызганными пацанами до Кирсанова,

а оттуда таким же манером до Тамбова, а от него до Мичуринска, что заняло дня два. Эта часть пути прошла более или менее спокойно. Я не помню каких-либо серьезных происшествий. Если только не считать дикого холода, пробирающего до костей морозного ветра, ведь нам приходилось ехать в открытом тамбуре товарного вагона, на полу которого иногда валялось слежавшееся сено. Мы тесно прижимались друг к другу, спасаясь от холодной смерти. Вначале, дня три, Шурка делился со мной сухарями и вареной картошкой, а потом сказал, что все закончилось, хотя я не раз замечал: стоило мне отлучиться, он засовывал руку в мешок, и я издали видел, как он торопливо, оглядываясь, быстро-быстро жевал.

В Мичуринске на привокзальном рынке я выменял за свое шерстяное кашне две морковки, одну из которых отдал Шурке. На этом пропитании я протянул день. Потом пришлось снять с себя верхнюю рубашку и выменять ее на несколько вареных картофелин и двестиграммовый кусок хлеба. Потом в ход пошла и грязная нижняя рубашка. На мне остался ватник (телогрейка, как ее называли), правда, с воротником из какого-то дешевого меха; его приделала мать. В этом воротнике кишмя кишели вши, им там было на редкость уютно. Вначале ватник на голом теле причинял мне массу неприятностей, не говоря уже о пронизывающем холодном ветре, сразу выдувавшем тепло. Но потом я как-то притерпелся.

В Мичуринске мы застряли надолго. Единственным спасением было помещение вокзала, откуда нас выгоняли неоднократно, но мы снова и снова проникали к теплу. Наши физиономии примелькались милиционерам, и в конце концов нас забрали. Помню добродушного старшего лейтенанта, который, понимая, что мы врем, спокойно слушал, потом сочувственно молча смотрел нам в глаза и решил отпустить.

От Мичуринска наш путь лежал до крупной узловой станции Грязи. Туда мы добрались, чуть не околевав, опять-таки в тамбуре товарного вагона. И тут начались новые серьезные испытания. Едва отогрелись в набитом битком помещении вокзала, мы попали в милицейскую облаву. Десяток милиционеров оценили помещение и начали выдергивать из разношерстной массы таких, как мы, пацанов. Их по пять-шесть человек выводили под охрану. Скоро очередь дошла и до нас. Задержанных оказалось с полсотни.

52

Куда бежать? Путь-то у нас один – к железнодорожной станции, чтобы как можно быстрее уехать. Но где она? Как найти дорогу? Ночь темная, метель. Тут вслед за Шуркой с забора прыгнул еще один пацан. Он знал дорогу, и мы побежали за ним, утопая по колено в сугробах. Через час мы подошли к станции. И опять удача. Вслед за спасителем, показавшим дорогу, мы вспрыгнули на подножку товарняка, медленно ползшего по станционным путям.

Наш «плацкарт» был уже привычным: открытый тамбур товарного вагона, продуваемый со всех сторон ветром. Мы уселись на пол, прижимаясь друг к другу. Поезд набирал скорость. Куда он шел? Неважно, лишь бы подальше от Грязей.

Как это ни покажется странным, я и Шурка вместе с нашим попутчиком уснули (видно, от пережитого). Когда проснулись, поезд проходил какую-то станцию. Наш попутчик (парнишка лет двенадцати) определил, что едем в направлении Воронежа. Ну что ж, даешь Воронеж, хрен догонишь! Это почти по пути, сказал Шурка. Но потом оказалось, что мы делаем большой крюк. Ведь нам нужно добираться до Орла и Брянска. От Грязей прямой путь лежал на Липецк и Елец, а оттуда рукой подать до Орла. Теперь же, когда мы не могли вернуться в Грязи, приходилось добираться от Воронежа до станции Касторная, откуда уже другой дорогой до Ельцы. Все это выяснилось постепенно, путем расспросов бывалых людей.

После Грязей фортуна начала поворачиваться к нам своей тыльной стороной. Днем поезд прибыл в Воронеж. Околевав до последней степени, мы ринулись к вокзальному теплу. Но оказалось, что вокзал сильно разрушен, и пассажиры находят убежище в каком-то полуподвальном помещении, куда проникнуть оказалось нам не по силам. Что делать, не загигаться же совсем! Надо двигаться, как-то разогреться.

Русская по путям, на которых стояли многочисленные эшелоны, мы заметили в одном из них приоткрытую дверь товарного вагона, набитого доверху сеном. Вдоль эшелона шел железнодорожник, постукивая молотком по колесам вагонов. Шурка подошел к нему и подобострастно спросил:

– Дяденька, не на Касторную поезд?

– На Касторную, на Касторную... – буркнул он.

54

Около вокзала стояли милицейские грузовики, как их называли – «воронки». Нас запикивали туда силой, утащив до отказа.

Везли недолго. Когда двери открылись, и мы, изрядно помятые, прыгнули на землю, огляделись, то сразу поняли, что находимся на территории тюрьмы. Но это оказалась не тюрьма, а приемник для беспризорных. Нас поместили в большую комнату, часть окон в ней была забита толстыми досками, а часть зарешечена. На полу – солома и грязные тюфяки. Лежат, чадая человек тридцать моих сверстников. Сразу видно, ребята отпетые. Некоторые режут карты, разговор идет на блатном жаргоне.

Приняли нас терпимо, указали место на соломе. Мы пробыли тут два дня и потом уже поняли, что должны благодарить советскую милицию. Ведь она, можно сказать, спасла нас. Мы были до крайности истощены, простужены, до смерти устали от дорожных передраг. А тут тепло и кормят три раза в день. Дают какую-то баланду и каждому кусок хлеба. На третий день к вечеру мы поняли, что готовится побег. Заправлял всем немногословный блатной парнишка. Вокруг него образовалась группа «оруженосцев», выполнявших быстро, даже суетливо повеления юного «пахана». Когда стемнело, сам «пахан» и несколько его подчиненных стали вскрывать одно из окон, забитых досками, находившееся как раз недалеко от нашего места. Они действовали каким-то железным орудием, медленно, так, чтобы не скрипело. Перед этим «пахан» показал всем финку и тихо сказал, что убьет каждого, кто поднимет шум. Работа шла медленно, но верно. Где-то за полночь в окне образовалась дыра, которую временно прикрыли оторванной доской.

Обождая еще с полчаса, «пахан» сказал, что он и его люди уходят, и чтобы никто не смел пикнуть, а если еще кто-то хочет уйти, то – пожалуйста, но только обождая минут двадцать, чтобы не поднять «шухер». С этими словами он пролез в дыру, а за ним семеро его дружков. Я наблюдал, как они проскользнули за угол дома и скрылись, направляясь к забору.

Что делать? Эх, была не была! Я потянул Шурку и стал протискиваться в дыру. Спрыгнул на снег. В дыре показалась чья-то голова. Но это – не Шурка. Еще один вылез, потом другой, третий. Я не знал, как быть. Стоять идиотом около окна, ждать? Но тут, наконец, показался Шурка. Мы подкрались к забору и с трудом, помогая друг другу, перелезли через него.

53

Как только железнодорожник скрылся, мы протиснулись в приоткрытую сантиметров на тридцать дверь. Вагон наполняли штабеля спрессованного сена. В нескольких местах мы нашли пустоты, надергали сена на подстилку и устроили удобное гнездо. Сверху тоже накрылись сеном и постепенно согрелись. Хотя в животе урчало, но блаженный дух сена и тепло разморили нас. Поезд долго стоял, мы уснули и не слышали, как снаружи задвинули дверь и заперли ее.

Я проснулся с каким-то непонятным чувством страха. Поезд шел быстро, вагон болтало. И вдруг я понял, что дверь закрыта, и нам без посторонней помощи не выбраться. В этой темнице мы пробыли больше суток. Когда поезд останавливался, мы тарабанили ногами в дверь, но безуспешно. Так повторялось много раз. Наконец, на очередной станции, нас услышали. Кто-то, ругаясь, отодвинул дверь. Немолодой старшина с украинским акцентом выmaterил нас, но отпустил.

Оказалось, что мы ехали совсем не в ту сторону и сейчас находимся на станции Валуйки. Это уже совсем недалеко от Харькова. А нам нужен Елец и Орел, надо возвращаться обратно в Воронеж. От Валоек, как нам сказали, можно добраться до Касторной другим, более коротким путем, через Старый Оскол, но мы опасались новой дороги и предпочли старую. Этому помог случай.

Недалеко от станции расположился базар, весьма многолюдный. Не ели мы, наверное, уже трое суток. Мне нечего было ни продавать, ни менять. Поэтому я отказался бродить по базару. Шурка пошел туда один, я ждал его. В Валуйках нас встретила отпель. Снег почти стаял, светило солнце, текли ручьи, кругом стояли глубокие лужи. Мои валенки напитались водой и весили чуть ли не полпуда каждый, я с трудом передвигал ноги. На одном валенке совсем отошла подошва, и я подвязал ее проволокой.

Шурка вернулся с базара в бодром настроении и великодушно протянул мне кусочек хлеба. С ним был симпатичный рябой парнишка примерно нашего возраста. Звали его Васька. Он направлялся в Воронеж и открыл нам новый способ передвижения. Это называлось «кидать уголь». Надо подойти к машинисту поезда и сказать: «Возьмите кидать уголь». Часто помощник машиниста, который, так сказать, по совместительству выполнял еще и работу кочегара (из-за нехватки людей), охотно брал дармовую рабочую силу, мечтавшую добраться до другого города. Важно, что теперь

55

исключалась ошибка, точно становилось известно, куда шел поезд. В кабине паровоза тепло; если попадутся хорошие люди, то угощают еще и кипятком, а то и картофелиной, или даже куском хлеба. Но вкалывать надо крепко – почти непрерывно набирать широкой совковой лопатой уголь и кидать его в огненную пасть топки. Один открывает заслонку топки, другой кидает. Потом наоборот. А кроме того, надо сгребать уголь из тендера паровоза в то место, которое граничит с кабиной, чтобы набирать его лопатой и, развернувшись, одним махом бросать в топку.

Васька быстро нашел поезд, идущий в сторону Воронежа, но машинист отказался брать троих, и Васька уехал один. Скоро и мы нашли свой поезд и стали осваивать профессию кочегара. Вначале не ладилось, помощник машиниста матерился, но терпеливо учил. Постепенно мы приноровились, и дело пошло на лад. После часа такой работы я скис. У меня становилось темно в глазах, и я чувствовал, что вот сейчас упаду. Но, представив картину, как я падаю в обморок, откуда-то находил новые силы и под окрики помощника машиниста набирал новый темп. Наконец по его команде Шурка брался за лопату, а я открывал и закрывал топку, отдыхая.

Так мы доехали до станции Алексеевка. Здесь нас высадили, и дальше мы опять продолжали путь в продуваемом ветром тамбуре товарняка. Утром поезд подошел к станции Лиски и остановился перед железнодорожным мостом через речку (не помню ее названия). До станции совсем близко, но надо переехать мост. Тут нас обнаружила охрана и выгнала из тамбура. Что дальше? Через мост не пускают. Часовой, наставив винтовку, грозно приказал: «Назад!»

Речка довольно широкая, сильная оттепель во многих местах покрыла ее надо льдом водой. Ничего не остается, как форсировать эту водную преграду. Мы сделали большой крюк вдоль берега, проваливаясь глубоко в подтаявший снег, выискивая место, где можно перейти реку. Наконец решились. Местами лед трещал под ногами, несколько раз пришлось идти по воде, прикрывавшей лед, осторожно передвигая ноги. Хорошо помню острое чувство страха: вот сейчас лед треснет и – конец. Множество раз я испытывал чувство сильного страха и на фронте и после войны, но мало что помню, а сжимающий сердце страх, когда под ногами трещало и приходилось идти прямо по воде, покрывавшей лед, отчетливо помню до сих пор.

Мы благополучно выбрались на берег. Валенки мои напитались водой. Шурка помог стащить их, я выкрутил портянки и с трудом снова обулся. Станция была рядом, совсем не разрушенная. Народу в зале ожидания немного и там горячие батареи. Мы заняли место на полу у батареи, разулись, повесили сушить портянки и, прислонившись к теплым батареям, задремали. Райское блаженство!

Но оно длилось недолго. Появился милиционер: документы, куда едете, зачем и т.п. Нас выгнали на улицу – хорошо хоть не забрали. И мы пошли искать поезд до Воронежа. Нас взяли «кидать уголь». Машинист и его помощник оказались добрыми людьми, дали поесть. Видя, что я на пределе, помощник машиниста не раз брал у меня лопату, давал передохнуть.

Таким же образом, «кидая уголь», мы добрались до Касторной, а потом до Ельца. Теперь, даешь Орел, а потом Брянск, и мы будем почти у цели.

От Воронежа до Орла мы добрались довольно быстро, дня за два. В Ельце сразу же нашли товарняк, идущий в сторону Орла, а в нем, в самом последнем вагоне – комфортабельный тамбур, забитый по бокам досками от конца подножки почти до середины, что создавало защищенное от ветра гнездо. В нем, видимо, ездил кондуктор, следивший за составом. Вместо него в тамбуре оказались две бабенки средних лет. Они хмуру встретили нас, но подвинулись. На полу лежал изрядный слой соломы.

Постепенно мы устроились. Я оказался прижат к одной из женщин. Вагон покачивало, стало тепло и уютно, от женщин шел домашний дух – что-то от деревенской избы, от парного молока; сквозь ее толстенную одежду я чувствовал притягательную силу женского тела. Я не спал, мое сердце блаженно замирало от такой близости, от совместных покачиваний, позволявших теснее прижиматься друг к другу, и иногда казалось, что и с ее стороны во время особенно сильного качания вагона идет встречное движение ко мне.

Так мы ехали до станции Верховье – километров сто, целую вечность, промчавшуюся как единый миг.

В Верховье нас изгнали из гнезда, поезд ставился под погрузку. Женщины, не сказавшие за всю дорогу ни слова, сразу же молча ушли. Мы стали искать поезд до Орла. Скоро подкатил другой товарняк. Железнодорожник, осматривавший и простукивавший ко-

леса вагонов, на наш вопрос, не до Орла ли поезд, ответил, что тут все поезда до Орла.

Мы не нашли, однако, ни одного тамбура, только три пустые платформы, куда можно было влезть. Но как ехать на открытой платформе, загнешься. У платформ были подножки, влезть легко. Я заглянул в одну из них в надежде, что там есть хоть немного соломы, но на полу платформы лишь ошметки коры, обломки сучьев; видимо, перевозили лес. Паровоз дал гудок, состав тронулся. Эх, была не была, поехали, Шурка вспрыгнул на подножку, я за ним.

Высота бортов платформы около полуметра. Мы залегли у переднего борта, прижимаясь друг к другу, но это не спасало от встречного ветра. Холодное днище платформы в щелях, оттуда тоже дуло. После нашего гнезда и женского тепла ехать так было невыносимо. Но что делать?

От Верховья до Орла около ста километров. Поезд шел быстро, почти не останавливался. Я долго сопротивлялся холоду, пронизывающему нас сквозь ветру, вскакивал и на грохочущей, несущейся, болтающейся платформе выделывал немислимые движения, охлопывая себя, приседая, подпрыгивая, но замерзал еще сильнее, вновь ложился рядом с Шуркой и, наконец, сдался, лежал и промерзал все больше и больше. Черт с ним, что будет, то будет.

Где предел человеческой выносливости, противостояния холоду, холоду, усталости, боли? Откуда берутся силы, когда, казалось бы, исчерпаны все ресурсы? Уже после войны меня постоянно занимали эти вопросы. Может быть, они и повлияли на формирование моих научных интересов. Но еще тогда, во времена скитаний по военной России, по фронтным дорогам, рядом со смертью, мне было ясно, что силы наши, физическая стойкость зависят от духовного упорства, от поддержания напряженности веры в себя, в удачу, в благополучный исход, несмотря на голод, холод, боль, веры, что это пройдет, что мое «я» сохранится и преодолеет невыносимые мучения тела, в чем-то чуждого моему «я». Очень трудно выразить это былое ощущение нерушимости «я» или чего-то другого, что составляет мою суть, которая, конечно, не сводится к страдающему телу, хотя и зависима от него. Боюсь, я неточно выразил то, что постоянно ощущал в себе, но главное заключается вот в чем: стоит хоть на минуту, на час ослабить в критических ситуациях душевное напряжение, поддерживающее эту бессознательную веру, перестать бороться со страданием, не-

переносимостью мучений тела, отпустить вожжи, впасть в безразличие к себе, и ты становишься легкой добычей болезни, катастрофы, смерти.

Я хорошо запомнил путь от Верховья до Орла, потому что во мне подмолилась эта бессознательная вера, я сдался. Лежа на трясушемся, стучащем дне платформы, я потерял желание сопротивляться, все задубело во мне от холода, оцепенело, и когда мы прибыли, наконец, в Орел, я не мог и не хотел подняться. Шурка удивился, потом начал дико ругаться, тащить меня и даже поддал ногой. Может быть, стыд перед Шуркой заставил меня подняться. Сползая по ступенькам подножки, я упал и больно ушибся. Это и привело меня в оживленное состояние, заставило твердо стаять на ноги, идти.

Подступали сумерки, вместо вокзала – груда развалин. Я в полной безнадежности брел за Шуркой, у меня начинался жар, кружилась голова. Надо было найти ночлег или поезд до Брянска. Плохо помню, как мы оказались в компании двух пацанов, чуть помоложе нас, о чем с ними говорил Шурка, куда они нас вели. Шли мы недолго, перелезая через развалины, пробираясь дворами мимо покосившихся деревянных домишек. Наконец до меня дошло, что нас ведут на «малину», к «пахану», он даст нам работу, приютит и накормит.

Мы спустились в какой-то подвал, долго пробирались по нему, спотыкаясь, в полной темноте, и вот – на стук открылась дверь. Мы очутились в жарко натопленном помещении. Посредине стояла раскаленная до красна буржуйка, невысоко от пола на кирпичках чадил копилка, сделанная из снарядной гильзы, вокруг нее сидело несколько человек, игравших в карты. В полумраке их сначала трудно было разглядеть.

Один из наших поводырей подошел к бородатому мужику в шапке-ушанке, игравшему в карты, и сказал, что вот, мол, привели новеньких. Постепенно глаза привыкли к полумраку, я разглядел помещение и его обитателей. Это был отсек подвала. Кроме бородатого мужика в помещении сидели и лежали еще человек десять. Мужику, наверно, перевалило за полсотни – это и был «пахан»; остальные – подростки. Старшим, игравшим в карты, лет по шестнадцати. «Пахан», не отрываясь от игры, бросил кому-то: «Дай им пожрать. Пусть покемарят, а завтра – на дело».

Нам принесли по куску хлеба, дали на двоих поллитровую банку квашеной капусты и штук пять картошек в мундире. Царский ужин!

Я чувствовал, что заболел, но жар, идущий от печки, вселял надежду. Я оттаивал. Быстро умяв столь щедрый ужин, мы приютились в углу на каком-то тряпье. На нас никто не обращал внимания, и я быстро уснул.

Утром меня разбудили, подталкивая ногой. Я сильно пропотел, под фуфайкой мокро. В подвале по-прежнему было жарко, печку топили, как видно, всю ночь. И такая баня оказалась для меня целебной. Я почувствовал, что выздоравливаю. Оказалось, что уже довольно поздно. В подвале все еще царил полумрак, горела копилка. Около нее в той же позе сидел «пахан», его окружала братва. «Пахан» давал задание. Скоро должен подойти какой-то поезд, а через часа полтора другой, и бригада отправлялась «на дело». Из-за блатного жаргона я не совсем понял задачу. Мы с Шуркой включились в эту бригаду и обязаны отработать харчи.

Уже по дороге на станцию, когда нам вручили по половинке лезвия безопасной бритвы, я уяснил, в чем состояло «дело». Наш куратор Колька, парнишка лет пятнадцати, весьма симпатичный, синеглазый, небольшого роста, с шепелявинкой, объяснял нам цели и методику «работы». В привокзальной толчее, особенно при посадке на поезд, когда толпа рвется к подножкам вагонов, надо выбрать клиента с хорошим «сидором», т.е. мешком, набитым вещами и снедью, аккуратно разрезать мешок бритвой и изъять то, что достанет рука. Добыча сразу для маскировки опускается в «торбу» (матерчатую сумку) и доставляется на «малину». Если «зашухаришься» (кто-то заметит, поднимет крик), «смывайся», а поймают – пеняй на себя.

В бригаде, кроме нас, было шесть человек. Подходя к станции, мы рассредоточились. Колька повел нас вначале на привокзальный базар, зорко замечая издали «ментов» (милиционеров). Здесь местами была изрядная толчея, и Колька не раз приводил себя в рабочее состояние, но ситуация складывалась неблагоприятно, и он снова расслаблялся.

Потолкавшись на базаре без результата, мы пошли на перрон. Там собралась в ожидании поезда, идущего вглубь России, большая толпа. Подошел поезд, толпа хлынула к нему, еще движущемуся, облепила вагоны и, казалось, этим остановила его. Что тут началось! Настоящий бой. Желавшие выйти из вагона не могли

этого сделать. Проводники были вмяты вовнутрь. Добрый десяток орущих, навьюченных баб и пожилых, но сильных мужиков, давя, отталкивая друг друга, одновременно рвались в узкую щель двери, прямо по головам подступивших к подножке. Два жалких «мента» стояли поодаль, безучастно смотря на это столпотворение – силы слишком неравные. Я получил «свой» вагон и был втянут в водоворот толпы, то приближавший меня к подножке, то оттиравший и отторгающий в сторону. Возник благоприятный момент: здоровенная баба с туго набитым мешком через плечо оказалась впереди меня так, что ее «сидор» вминался мне прямо в лицо, и ничего не стоило снизу резануть мешок. Но я не мог этого сделать. Не то, чтобы боялся, а *не мог*, не мог перешагнуть через себя. Мне сильно намяли бока. Поезд тронулся, облепленный мешочниками, постепенно набирал ход, стяхивая с себя лишних.

Народ рассосался, и я не обнаружил ни Шурки, ни остальной братвы. Путь на «малину» я запомнил плохо и решил дожидаться их у вокзала, ведь скоро должен подойти другой поезд. Действительно, примерно через час, братва показалась вблизи вокзала и с ней Шурка, довольный, я бы даже сказал, окрыленный. Он был сегодня героем: стащил поллитровую банку коровьего масла (невероятное сокровище!) и шерстяные носки. Вся добыча уже была снесена на «малину». Братва нацелилась на очередной поезд.

Но не тут-то было. Откуда ни возьмись появилось человек десять милиционеров, они стали расчищать перрон, не давая скапливаться толпе. Подошел поезд, и хотя в нескольких местах милицейский кордон был прорван, условия для «работы» оказались очень плохими. Я даже не пытался втереться в прорывающуюся недалеко от меня к вагону группу мешочников. Братва тоже осторожно начала. На сей раз добычи не было.

Мы вернулись на «малину», когда уже смеркалось. «Пахан» сидел все на том же месте. Он дал команду насчет жратвы, мы плотно поужинали. «Пахан» что-то одобрительно буркнул Шурке, а на меня посмотрел косо и сказал: «Этот пойдет на соль».

Колька объяснил мне, что это такое. У «пахана» хорошо работала разведка. Ему стало известно, что на станцию прибыл воинский эшелон, а в нем – две платформы, груженные солью и прикрытые сверху брезентом. В годы войны соль являлась драгоценным продуктом, за килограмм соли можно было выменять что угодно.

На дело мы отправились после полуночи: я, «прикрепленный» ко мне Колька и еще двое папанов. Шурку, как отличившегося днем, оставили блаженствовать у печки. Как назло, ночь выдалась светлая, на фоне заснеженных промежутков между путями человек виден издали. Рядом с «нашим» эшелоном стоял другой товарный состав. Мы крадучись подобрались к нему, подлезли под вагон и оттуда наблюдали за обстановкой.

Платформы с солью находились примерно в центре состава, недалеко от нашего наблюдательного пункта. Эшелон охранялся двумя часовыми с автоматами. Один прохаживался от головы состава до его середины, другой – с хвоста до середины, но по разные стороны. Надо было улучшить момент, когда они повернутся спиной и станут расходиться от середины состава. Тогда можно попытаться влезть незамеченным на платформу и наполнить наши «торбы».

Мы с Колькой выбрали себе одну платформу (другую взяла на себя вторая команда), проползли под тремя вагонами и залегли у колес прямо напротив «нашей» платформы. Подножки у нее не было, придется влезать наверх с колеса. Мы ждали удобного момента. Часовой подошел к вагону, под которым мы лежали, повернулся и начал удаляться. Когда он отошел метров на пятьдесят, Колька скомандовал: «Давай!»

Я рванулся к платформе и со второй попытки взобрался с колеса наверх, перевалился через борт на брезент, укрывавший соль. Под брезентом была каменная твердь. Я пополз вдоль борта, стремясь найти место, где можно отогнуть брезент. Чтобы долбить смерзшуюся соль, мне дали зубило. Брезент был крепко привязан. Как добраться до соли? Когда я подползал к концу платформы, на нее взобрался Колька. И в этот момент я провалился в довольно большое углубление. Край брезента в этом месте был свободен, промявшись подо мной. Я вытаскил его из-под себя и оказался перед маленькой пещерой. Кто-то здесь уже изрядно поработал. Я вытаскил из-за пазухи торбу и начал лихорадочно нагребать в нее соль.

И тут раздался крик часового: «Стой!» С соседней платформы кубарем скатились двое наших братков и кинулись под вагоны соседнего состава. Колька тоже миглом спрыгнул. В первый момент меня парализовал страх, и я промедлил секунду-другую. Но потом схватил торбу и спрыгнул со страху не в ту сторону. Надо было

в другую, где второй часовой находился гораздо дальше. Приземлился я неудачно, упал и ушиб колено. Вскочив, я увидел бегущего ко мне часового. Он был уже недалеко от первой платформы, на бегу вскидывая автомат, и грозно орал: «Стой! Стрелять буду!» Но в этот момент я уже был под вагоном соседнего товарняка. Выкарабкался на другую сторону и бросился под вагон следующего состава. Это оказался пульмановский товарный вагон с двойными колесами. За ними я схоронился. В руке у меня торба, которую бессознательно держал.

Часовой опять крикнул: «Стой! Стрелять буду!», и сразу раздалась автоматная очередь. Он стоял на колене и бил прицельно, пули зацокали по колесу, за которым я прятался. От страха у меня сильно стучало сердце, перехватили дыхание. Через путь стоял еще один состав, за ним еще один, дальше пустые станционные пути и близко – развалины. Там меня уже не достанешь.

Я протиснулся под валом колеса и выполз из-под вагона метра на два дальше от того места, где лежал, вскочил и побежал к следующему составу. Раздалась еще одна короткая очередь, пули просвистели рядом, я всем охолодевшим нутром почувствовал их близкий посвист. Еще секунда, и я был под вагоном, быстро прополз под ним и рванул к последнему составу. Автомат молчал, часовой, кажется, потерял меня из виду. Я прополз под последним составом и побежал к развалинам. Там я плюхнулся на снег и ждал, когда перестанет колотиться сердце. Торба была в моих руках, только сейчас обратил на нее внимание и обрадовался, что не бросил; я успел нагрести в нее килограмма три соли и все время не замечал тяжести.

По дороге на «малину» я вдруг заметил, что из торбы что-то потихоньку сыплется. Оказалось, в нее попала пуля, входное отверстие было незаметным, а выходное – довольно большим, из него и просыпалась соль. Я повернул торбу так, чтобы ликвидировать утечку, и не без гордости зашагал на «малину». Из всей компании только я добыл соль. Остальная братва вернулась не солено хлебавши. Зато они сумели вовремя смыться, а меня чуть не подстрелили. Увидев торбу с солью, да еще простреленную, «пахан» уважительно глянул на меня, ничего не сказав. Но мне дали сладкий чай с большим куском хлеба, намазанного маслом.

Мы гостевали на «малине» три дня и изрядно подкрепились. Пора двигаться дальше. Я сказал Шурке, что, мол, надо отчаливать. Он не возражал. До тетини деревни оставалось совсем немного...

В середине дня мы пошли на станцию, якобы пошуровать на базаре – так было сказано «пахану», который не сомневался, что нашел в нас достойных членов своей команды. День стоял хмурый, шел снег, мы оглядывались: нет ли за нами «хвоста». Зашли для порядка на базар, а затем пробрались на станционные пути. Используя свой богатый опыт, скоро нашли поезд, идущий в сторону Брянска, и нанялись «кидать уголь».

Так мы доехали до Карачева. Там предстояла пересадка. На вокзале нас задержала милиция. Мы сказали, что работаем в депо на станции Орел и едем к тете в Брянск. А документов нет потому, что забыли взять справку. Нас отпустили утром. Еще раз спасибо советской милиции, что дала ночлег. Но до самого вечера нам не удалось выбраться из Карачева. Когда уже совсем стемнело, подали на посадку пассажирский поезд до Брянска. Народу садилось немного, не то, что в Орле на поезд, идущий в тыл. Пожилая проводница пропустила нас в вагон, мы влезли на третью полку и, несмотря на урчание в животе, крепко заснули.

Утром поезд прибыл в Брянск. У Шурки приподнятое настроение. Осталось по железной дороге меньше ста километров. Наша цель – Дубровка. Оттуда уже недалеко до деревни, где жила шуркина тетка. Там – спасение.

Брянск – огромная станция, масса путей. Вокзал разрушен, негде погреться. Обжигающий ледяной ветер, состояние обычной промерзлости, одеревенелости всего тела. Несколько раз пытались проникнуть в вагон поезда, следующего в сторону Дубровки, но безуспешно. Оборванные и чумазные, мы вызвали гневную реакцию проводников: «А ну, вали отсюда!» Наконец удалось попасть на паровоз, причаливший на наших глазах к товарному составу. Помощник машиниста взял нас «кидать уголь». Тут быстро согреться. Я заметил, что замерзшему не очень хочется есть, но когда отогреваешься, начинает мучить голод.

Рано утром поезд прибыл в Дубровку. Мороз градусов пятнадцать, ветер. Мы не ели уже почти три дня и едва передвигали ноги, а до деревни – восемнадцать километров. Шурка хорошо знал до-

рогу, он воспрянул духом, и это передавалось мне. Вперед, прямо по большаку!

Первые километра три-четыре (а они самые трудные), вдоль дороги стояли телеграфные столбы. Они врезались мне в память: сколько хватает глаз – столбы, столбы, уходящие вдаль. День был ясный, ветер дул в лицо, звенел в проводах. Я вначале считал столбы; дойти до следующего столба, потом снова до следующего.

Постепенно стало легче, притерпелся к холоду и ветру, забыл считать столбы. Вперед, вперед, нельзя останавливаться, нельзя отдыхать. Сначала я сильно отставал от Шурки, он не оборачивался и шел далеко впереди, потом расстояние между нами стало сокращаться. Кончились столбы, свернули на другую дорогу. Первая была укатанная, схваченная ледком, а эта – заснеженная с плохой наезженной колеёй, идти стало труднее.

Сколько мы шли, я не знаю, наверное, часа четыре, не меньше. Очень долго – вдоль леса, потом дорога свернула в лес. Шурка сказал, что до деревни совсем близко. Он опять вырвался вперед метров на пятьдесят. Лес расступился, впереди широкое поле. И я увидел, как Шурка остановился.

Когда я подошел к нему и внимательно посмотрел вперед, то увидел несколько полуразрушенных печных труб, присыпанных снегом и потому незаметных издали. Здесь была деревня, та деревня, которая сулила спасение. Но теперь это был конец, больше не оставалось ни сил, ни надежды. Прямо у дороги мы опустились в снег, сели, а потом прилегли. На всю жизнь я запомнил это ощущение покоя; все мучения, боли куда-то отступили, я не чувствовал холода, и чем дальше, тем лучше мне становилось. Я засыпал. Еще минут десять-двадцать, и все было бы кончено.

Оглядываясь в прошлое, я отдаю себе отчет, что мне очень и очень везло в жизни. Сколько раз я попадал в совершенно безвыходные ситуации, и всегда в последний момент, когда уже не оставалось надежды, что-то выручало из беды. Как это понять? Судьба? Или случайность? Вряд ли такими словами можно что-либо объяснить. Это – область веры. Веры в себя, в своего ангела-хранителя, в высший промысел? Каждый осмысливает это по-своему. Впрочем, не исключен и серьезный философский анализ такого рода вопросов, но здесь не место этим заниматься.

Не знаю, сколько мы пролежали в снегу, думаю, недолго – минут десять-пятнадцать. Сознание еще не покинуло меня совсем, но,

я, пожалуй, уже ничего не видел и не слышал, почти не чувствовал своего тела. И тут, как в сказке: «везет лошадка дровенки, а в дровнях – мужичок...»

Я не слышал, как он подъехал. Увидев замерзающих мальчишек, начал нас тормозить и, убедившись, что мы еще живы, перетащил нас в сани и там уже стал растирать, колотить, щупать, дергать ноги и руки. Потом накрыл с головой чем-то тяжелым, поной или тулупом, и мы поехали.

Это был путевой обходчик, живший в будке у переезда, рядом находилось полуразрушенное село, где у него остался дом. В нем жили его родители, глубокие старики. Он привез нас в этот дом, натопил баню. Мы попали в рай. Никогда не забуду вкус постных щей и парующей разваристой картошки. Потом баня. Нам дали чистое крестьянское белье, а всю одежду, кишевшую вшами, прожарили на раскаленных камнях.

Путеобходчику было лет под пятьдесят – мужичок маленького роста, заросший седеющей щетиной, добрый, ироничный взгляд. Я забыл его фамилию, звали его Василием. Сколько раз я порывался съездить в те места, поблагодарить его, но все как-то не выходило. Неблагодарное существо человек! Этот укор совести я переживаю остро, как только вспомню о своей неблагодарности. Ведь он спас мне жизнь! И сколько таких долгов накопилось за годы моего существования.

Я встречал многих людей, бескорыстно делавших мне добро. В минуты тоски и отчаяния, переживая измену и предательство, я вспоминал этих людей, их бескорыстное добродетельное, и укорял себя за слишком мрачные оценки человеческой природы. Ведь и сам ты не ангел! А все же инстинкт добродетельности глубоко укоренен в нашей природе; совершая доброе дело, многие люди испытывают удовлетворение, а некоторые – удовольствие. О таких людях, встречающихся не столь уж редко на моем пути, я буду еще не раз говорить.

Мы жили у Василия дней пять. На второй день начали помогать старикам по хозяйству, носить воду, колоть дрова. Кормили нас вволю: хлеб пополам с картошкой, отварная картошка в мундире. Один раз даже получили пару ломтиков сала. Мы отмылись и отъелись. Старики предлагали нам остаться. Шурка склонялся к тому, чтобы побить еще немного, а же, набравшись сил, рвался вперед. До фронта рукой подать, километров сто пятьдесят-двести. Совсем

рядом Рославль, а от него недалеко до Кричева. Оттуда до передовой километров тридцать-сорок, не больше. Я горячо убеждал Шурку: два дня, и мы будем на фронте, получим обмундирование, будем воевать, бить фрицев.

Рано утром Василий отвез нас в Дубровку, посадил на поезд, и днем мы были уже в Рославле. Кратчайший путь к фронту через Кричев. Это уже Белоруссия, Могилевская область. Могилев – у немцев, Кричев – у нас.

В Рославле надо было собрать, как говорят, разведывательную информацию. Куда ехать, как не угодить в милицию или того хуже – в СМЕРШ (военная контрразведка), как пробраться до последней станции, какие села находятся прямо у линии фронта.

Часть сведений можно было получить только в Кричеве, но кое-что выяснили и в Рославле.

На станции явно ощущалась близость прифронтовой полосы. Воинские эшелоны, санлечучка с красными крестами, в тупике стоял бронепоезд, а рядом с разрушенным вокзалом зенитки. Потолкавшись среди разнообразного люда, нам стало известно, что вчера немцы сильно молотили станцию, несколько бомб попало в воинский эшелон, что один раз в день до Кричева идет пассажирский поезд, но можно добраться туда и на товарняке.

В который раз нас выручила засаленная фуфайка и такого же вида истрепанные штаны – типичный вид рабочей одежды токаря или слесаря. В Рославле на каждом шагу милиция, военная комендатура. Стоило пройти по путям (в поисках попутного состава), как нас остановили два автоматчика. Мы сказали, что работаем в депо слесарями, и нас, подозрительно оглядев, отпустили.

Все шло как по маслу. Под вечер отправлялся поезд на Кричев, и я благополучно проник в вагон, за мной Шурка. В вагоне темно, народу мало, я забрался на третью полку и заснул. Поезд шел медленно, толлогу стоял на полустанках. Под утро мы прибыли в Кричев. Настроение бодрое, у Шурки в рюкзаке покоилось еще полбуханки хлеба от Василия.

Оставалась самая трудная и опасная часть пути. Фронт рядом, но как туда добраться? Нужны хорошие разведывательные данные, а гражданских людей вокруг очень мало, одни военные.

Мы уже слышали о станции Веремейки. Это последний пункт, куда ходят поезда. Оттуда до фронта около десяти километров. Можно ехать и в сторону Ходосов, но туда гораздо дальше. Понят-

но, что от Кричева идут только воинские эшелоны. Надо попасть в любой из них. Теперь не нужно спрашивать, выпытывать – все поезда идут в сторону фронта и в основном по ночам.

Когда стемнело, на станции началось оживление. Подкатил небольшой состав, десяток товарных вагонов с открытыми дверями. Внутри вагона виднелись сидения из тесаных досок. Вскоре подошло воинское подразделение, занявшее все вагоны, кроме двух первых. Потом эти вагоны стали заполнять подходившие небольшие группы солдат. Улучив момент, мы тоже вскочили в вагон.

– Вы куда, пацаны? – строго спросил старшина.

– К тете в Веремейки, – сказал я.

– Ну, ладно, давайте в тот угол.

«Тетя» была паролем и пропуском. Мы ехали к тете и в Мичурииск, и в Воронеж, и в Орел, и в Брянск, и в Рославль. В конце концов «тетя» подвела, но об этом дальше.

Поезд тронулся. Вагон набит солдатами. Сидели тесно прижатые друг к другу. Задвинули двери. Постепенно надышали, стало тепло. Глаза привыкли к темноте. Наши соседи – молодые, веселые ребята, побывавшие в госпитале, ехали в Веремейки.

От Кричева до Веремеек километров сорок-пятьдесят. Поезд тащился туда часа четыре. Нас разбудил зычный голос старшины: «Выходи! Стройся!»

Мы тоже спрыгнули, отошли в сторону, огляделись. Веремейки – не станция, а полустанок, жилья не видно. Метет метель. Темень, кругом лес. Куда идти? Где фронт?

Конечно, на станции и около нее располагались воинские части. Прифронтовая полоса всегда нашигована военным людом. На их фоне уж слишком резко должны выделяться два подростка в замызганных фуфайках, бредущих в сторону фронта.

По дороге в Веремейки мы услышали слова старшины о деревне Петуховке, куда он собирался доставить солдат. Теперь, в случае проверки, мы знали, что говорить: «Работаем в Кричеве в депо, а идем к тете в Петуховку». Направление пути тоже стало ясно: высыпавшие из теплушек солдаты построились и двинулись по дороге в лес. Соблюдая почтительную дистанцию, мы поплелись за ними. Километра через два они свернули с дороги, и вскоре послышалась команда остановиться. Мы подкрались поближе и из других команд поняли, что здесь, видимо, в землянках, расположилась какая-то часть.

Что делать? Решили выбираться на дорогу и идти дальше. Прошли еще с километр. Мимо нас проехала одна машина, другая, потом колонна с пушками, грузовик с солдатами, потом в обратную сторону шли машины. Все это время мы отсиживались в придорожном кустарнике, решили не рисковать. Начался рассвет. Мы промерзли до костей. Надо двигаться, иначе околеешь. Дождавшись, когда пройдет очередная партия машин, мы ринулись по дороге вперед.

Стало совсем светло. Нас нагоняла полуторка. Эх, была не была! Я стал голосовать. В кабине сидел ефрейтор (одна лычка на погоне), лет под сорок. Я попросил подвести до Петуховки, дескать, добираться к тете в гости. Он ответил, что Петуховка будет в стороне, а довезет он нас до деревни такой-то (забыл ее название), а оттуда до Петуховки километра три. Мы забрались вдвоем в кабину и проехали километра два. Не доезжая деревни, он высадил нас, показал направление на Петуховку и посоветовал не заходить в деревню, держаться подальше от дороги, а то здесь много патрулей, того и гляди заберут.

От него мы узнали название еще двух-трех деревень, расположенных рядом с передовой. Одна из них запомнилась навсегда: деревня Орлей. Прямо через нее, как сказал шофер, проходил передний край обороны, и от деревни, конечно, ничего не осталось. Вот там и будет находиться последняя шуркина тетя.

Мы прошли еще метров сто по дороге и вблизи деревни, которая угадывалась по редким дымкам из землянок, свернули в лес, стремясь обойти деревню, но выдержать общее направление в сторону фронта. Временами слышно было отдаленное погромыживание, которое то усиливалось, то стихало – с пути теперь не собьешься. Последние километры. В лесу глубокий снег, то и дело проваливаешься по пояс.

Мы хотели обойти деревню так, чтобы ее все время было видно. Но постепенно углубились в лес и заблудились. Решили идти на звук дальней канонады, которая как будто становилась ближе. После двух-трех часов такой ходьбы мы выбились из сил, отдохнули немного, перекусили остатками хлеба и снова вперед. Долго шли, отдыхали, падая на снег, и снова шли. Артиллерийская канонада вдруг стала совсем близкой. Мы воспрянули духом. Теперь уже скоро.

В декабре темнеет рано. Начало смеркаться. Ночевать в лесу? Могли и не дожидаться рассвета. Только идти, идти. И тут нам, в какой уж раз, снова повезло. Когда стало совсем темно, лес немного расступился, мы вышли на поляну и увидели поднимающийся почти от самой земли дым. Пять или шесть землянок составляли деревню. Жители сожженных немцами деревень забрались в лес и там строили себе землянки. Когда приходили наши, они оставались еще долго жить на приспособленном месте. Вот такой была эта деревня.

Мы постучали в первую землянку. Женщина, две ее дочери-подростки и старик были удивлены нашему появлению, но пустили переночевать, накормили картошкой (по-белорусски «бульбой») – горячей, разваристой. Уложили на соломе около печки. Конечно, спрашивали, кто такие, куда идем. Шурка отвечал, что из Кричева, к тете в деревню Орлей. А кто тетя? Шурка сказал.

– Э-э, туда, милье, не доберетесь. Орлей у немца. В землянку часто заглядывали соседи, приходили и выходили какие-то люди. Последнее, что я помнил – жаркие угли в печке, блики пламени на стенах. И провалился в сон. Сколько спал, не знаю, но, думаю, недолго. Кто-то настойчиво толкал меня ногой, перекатывая с одного бока на другой.

– А ну, просыпайся! Документы! – Я увидел двух солдат с автоматами.

– Поднимайся, быстро! Документы! Я протянул им свой затасканный комсомольский билет, Шурка – свои справки.

– Что делаете тут? Куда идете?

Мы повторили свою версию насчет тети и деревни Орлей. И нас повели под конвоем через лес. Легко представить, каково было нам, почти добравшись до цели, угореть в контрразведку, и как тяжело после тепла на морозном ветру ночью. На всю жизнь у меня осталась картина: шумящие вершинами высокие сосны, бодро шагающие автоматчики – один впереди, другой сзади. Шли мы примерно час по хорошо умятой тропе, то и дело обходя землянки, грузовики, походные кухни, лес был напичкан тыловыми частями.

Потом уже, став солдатом, я не переставал удивляться, как это нам удалось пройти почти к самому «передку», не встретив никого, избежав патрулей. Ведь когда фронт долго стоит на одном месте, в зоне прифронтовой полосы всех штатских знают наперечет.

Конечно же, когда мы легли спать, одна из девочек сбежала, куда надо, и сообщила, за нами сразу и пожаловали.

Привели нас на территорию, обнесенную колючей проволокой, с часовыми. Внутри стоял деревянный дом, поодаль еще один, остальное – землянки. Вне колючей проволоки тоже были землянки и несколько изб. Вот так мы попали в деревню Петуховка, где располагался армейский СМЕРШ.

Патрули сдали нас дежурному, молоденькому лейтенанту с непроницаемым лицом. Он обыскал нас и произвел первый допрос, записывая ответы. Всем своим видом он показывал, что мы – враги и понесем наказание, никакой пощады нам не будет. Трижды он повторил вопрос: зачем хотели перейти линию фронта? Мы отвечали, как условились: тетя, деревня Орлей.

Лейтенант вызвал часового, и тот отвел нас в местную тюрьму. Это была глубокая, очень большая землянка, наверное, метров двадцать в длину: посредине широкий проход, по бокам нары, застеленные хвоей. Она хорошо освещена электрическими лампочками (у СМЕРШа свой движок, свое электричество). Часовой указал нам место на нарах и задвинул снаружи засов.

Я огляделся. Народу – битком. Заросший черной щетиной звероватого вида мужик, как потом выяснилось, цыган, орал: «Четыре раза убегал и пятый убегу». Блатные ребята в солдатском обмундировании резались в бунт. Среди них выделялся паренек с золотой фиксой (зубом). Сразу видно – главный авторитет, он ронял полслова, и в момент все делалось, как он хотел. Постепенно в следующие дни мы поближе познакомились с местной публикой: были тут дезертиры, бандюги, солдаты, что-то натворившие по пьянке, но немало и безвинных людей, ляпнувших в сердцах какие-то слова и попавших в донесение, был один верующий, не желавший никого убивать, был интеллигентного вида человек, которому шили политическое дело.

В землянке тепло, пахнут хвойные ветки. Вдыхая этот благодатный запах, я провалился в сон. Но долго спать не пришлось. Из блаженного небытия меня вывели грубые встряхивания за плечи и матерная брань. С трудом разлепив, наконец, глаза, я увидел часового.

– Поднимайся, твою мать, а то врежу... На выход!

Меня привели в знакомый уже деревянный дом на допрос. За столом сидел капитан лет под тридцать, холеный, источавший

запах одеколona. Он курил папиросу; мечтательно, как бы не замечая меня, пускал медленно дым чуть поверх себя. Около стола на тумбочке стоял будильник: три часа ночи.

Я остановился в метрах двух от стола. Часовой вышел. Капитан молча смотрел на меня. Это продолжалось довольно долго. Капитан откидывался на спинку стула, с удовольствием потягивался, перевел взгляд поверх моей головы, потом снова, не мигая, смотрел прямо в глаза. Видимо, у него был такой метод работы. Я устал стоять, не двигаясь, и переступил с ноги на ногу.

– Стоять! – рявкнул капитан так, что я вздрогнул от неожиданности. Допрос начался: кто такой, откуда, куда шли, с какой целью хотели перейти линию фронта, кто послал и т.п. На все вопросы я отвечал привычными словами.

– Ты мне шелуху не гони, – почти ласково сказал капитан. – Никакой тети в Орлях нет, в Кричеве depot разрушено, там нет слесарей. Зачем шел к немцам? Кто послал?

Так продолжалось больше часа. Я стоял на том же месте, едва держась на ногах. После такого дня и всех перипетий у меня уже не оставалось сил, и я вот-вот мог грохнуться на пол.

– Ну ладно, – сказал капитан – подумай до завтра. Не расколешься, посидишь в карцере с крысами, поумнеешь.

Часовой отвел меня на место и стал будить Шурку, теперь была его очередь. Я же, несмотря на переживания у следователя, снова мгновенно уснул. И опять, как мне показалось, спал совсем недолго.

– Па-а-адъём!! Выходи, стройся! – кричал часовой, но тормошил меня кто-то из коллег. Шурку тоже, как и меня, тормошили и ругали матом с украинским акцентом.

– Будэш, пада, тягомтить, закручу шось у задницю, стрибать будэш!

Украинец Петро был как бы старшим среди заключенных, ответственным за порядок, раздачу пищи, распределял на работу. Мы сразу же получили задание вынести парашу – тяжеленную бадью, наполненную почти до середины. Надрываясь, мы еле вытащили ее по ступеням из землянки и еще метров сто волокли до выгребной ямы.

Потом нас всех построили. Лейтенант, начальник караула, вызвал каждого по фамилии. После переключки строем пошли на завтрак. Его выдавали из окошка кухни в котелок. Это был обычный

солдатский паек. Такого мы не ели давным-давно: густой перловый суп с тушенкой и грамм триста хлеба. Все вернулись в землянку завтракать. Минут через пятнадцать вернулся от начальства Петро и стал назначать на работу. Блатным прибрать землянку (делать там нечего), а остальным – кому пилить и колотить дрова, убирать снег, а кому чистить сортир.

С Петром у меня отношения не сложились. Проходя мимо, он спросил:

– Як звать? – Я ответил.

– Жидок? – Я промолчал и понял, что с ним придется туго. Это сразу же подтвердилось. В команду по чистке сортира меня включили первым. Коллегами моими стали верующий и интеллигент.

– Дывыться, блядь, щоб як корова языком злызала, – напутствовал нас Петро. Сортир на двенадцать очков был весь в наледях, требовалось все сколоть, расчистить, убрать снег с дороги.

Часов в пять – построение на обед. Снова был жирный Густой суп из перловки, хлеб, а еще выдали чай и кусок сахара. При таких харчах можно было жить даже под начальством Петра. Ночью снова на допрос. На этот раз угрозы и явная попытка пришить дело о переходе к немцам. Глупее трудно придумать: чтобы еврей стремился перебежать к немцам? Я твердил тоже самое: Орлей, тетя.

День опять прошел в трудах: пилили и кололи дрова. Вечером блатные избивали за какую-то провинность своего кореша. Мой сосед по нарам, пожилой солдат, лежа на боку ко мне лицом, пел тихим гнусавым голосом:

– Товарищ, товарищ, за что ж мы страдаем,

За что ж нас исключили с РККА?

Отец мой с под лебедки, а мать с под сковородки,

А мы с тобой рабочи с под станка.

На него орал: «Заткнись!» Он умолкал, но через минуту опять гнусавил:

– Товарищ, товарищ, болять мои раны,

Болять мои раны чижело...

Ночью снова на допрос. Капитан сменил тактику, орет, грозит припаять десять лет лагерей. Но в этот раз пытал меня на удивление недолго. Я успел ночью выспаться.

На следующее утро, еще до общего подъема, охранник разбудил меня и Шурку:

– Дубровский! Земченков! На выход!

Мы вышли в темень, и два автоматчика повели нас за ворота. Вначале показалось, что куда-то недалеко, на новый допрос. Но оказалось, что путь нам предстоял дальний.

Конвоиры – молоденькие солдаты – поделились с нами сухим пайком, выданном в том числе и на арестантов, дали закурить и постепенно разговорились.

СМЕРШ имеет дело только с военными, а мы – гражданские. Поэтому нас передают в областное МГБ (так называлось тогда КГБ), а областные организации находятся в Кричеве. Вот туда нас и приказано доставить. До Кричева – сорок километров, два дня пути, одна ночевка в селе (забыл название). До села этого добрались к вечеру, переночевали. Рано утром позавтракали хлебом с тушенкой, запили кипятком и в путь. Проходя через деревни, мы привлекали внимание местной ребятни. Они бежали рядом, крича:

– Шпиёнов поймали!

Уже было темно, когда мы вошли в Кричев. Конвоиры хорошо знали, где находится областной МГБ, и мы скоро оказались у входа в мощное кирпичное здание. Нас передали из рук в руки, и сразу новый хозяин – старший лейтенант – приступил к делу. Занимался он нами с каждым в отдельности. Меня тщательно обыскали, не то, что в СМЕРШе: прощупали каждую складку завшивленной одежды, не побрезговали. Некоторое время я стоял почти голый, с нетерпением ожидая, когда отдадут штаны.

Потом начался допрос, длившийся больше часа. Расспрашивал старший лейтенант о таких вещах, которые вроде бы не имели никакого отношения к делу (где родилась мать, кто по специальности отец и т.п.) Я почувствовал, что это не СМЕРШ, тут мной займется как следует. У меня отобрали ремень, пришлось руками поддерживать штаны. Вошел местный конвоир и отвел меня в камеру.

Шли мы вначале по первому этажу, потом спустились в подвал и из него попали в узкий, тускло освещенный подземный коридор, показавшийся мне очень длинным, он поворачивал то в одну сторону, то в другую. Наконец мы стали подниматься по лестнице и вышли в другое помещение. Это и была тюрьма: широкий коридор, с одной стороны – зарешеченные редкие окна, с другой – железные двери камер. Конвоир открыл одну из них и подтолкнул меня вовнутрь. Дверь с грохотом закрылась, заскрипел засов.

Я огляделся. Это называлось, как потом узнал, КПЗ – камера предварительного заключения: помещение не более восьми квадратных метров, каменный пол, каменные нарты высотой около метра от пола, прямо над нарами – маленькое окошко, без стекол, густо зарешеченное железными прутьями толщиной в большой палец, высоко в потолке лампочка, в углу – параша. Холод собачий. В таком каменном мешке холоднее, чем на дворе. Как же тут выжить?

Наступали самые тяжелые и мрачные дни всей моей жизни.

Долго я не мог решиться лечь на каменные нарты, ходил и ходил из угла в угол. Но усталость взяла свое, я лег, свернувшись калачиком, натянул воротник и спрятал голову, чтобы надыхать внутри фуфайки. Долго я дышал в быстром темпе, чтобы накопить хоть немного тепла, и незаметно заснул. Проснулся под утро, промерзшим до костей. Ветер дул со стороны окна, и на меня намело изрядно снега. Я вскочил, стряхнул снег и стал делать немислимые движения, чтобы согреться. Особенно замерзли ноги, валенки мои почти совсем развалились.

Вскоре раздалась команда: «Подъем!» А еще, наверное, через час заскрипел засов, лягнула дверь, и охранник поставил на нарты завтрак: глиняная чашка грамм на триста какой-то темной бурды и кусочек хлеба – сто граммов, если это можно было назвать хлебом. В три часа дня давали точно такую же чашку бурды и двести граммов хлеба, вечером – кружку кипятка без сахара, конечно, и сто граммов хлеба. Вот такой был ежедневный рацион. В этих условиях я прожил почти две недели. И это после стольких мытарств.

Я пишу подробно о жизни в КПЗ для того, чтобы мои внуки, которым эти воспоминания адресованы, задумались о том, что может вынести человек, какие резервы, жизненные силы заложены в нем (я уже не раз говорил и буду повторять это). Позже, на фронте, я прошел не менее суровую школу выживания, не раз удивлялся сам себе, что выжил, не сломался, не заболел, сумел дойти, добежать, вытерпеть, не заснуть, не растеряться, выполнить и т.п. Одно дело – игра случайностей или перст судьбы, хранившие меня, другое – мои усилия, воля, выносливость, способность унять страх, мобилизовать все свои силы, упорство, надежду, веру и выжить в экстремальной ситуации.

Но все, что было на фронте, становилось гораздо более легким, терпимым – там вокруг люди, ты делаешь общее дело, ты свой, ты нужен, тебе подсобят, скажут доброе слово. А тут – каменный мешок, никаких просветов, непереносимая холодина, особенно невыносимая, когда нет цели и веры, полный крах высоких устремлений: хотел сражаться за Родину, бить фашистов, а оказался врагом, в каменном карцере. Как волк в клетке, весь день ходил я из угла в угол, пять шагов вперед, пять – назад, пять – вперед, пять – назад. За тобой посматривают в глазок, сидеть и лежать не разрешается. Да и о каком сидении или лежании может быть речь? Чтобы не околеть, надо все время двигаться.

Каждую ночь – на допрос. Я ждал вызова на допрос с нетерпением. Длинный путь по подземному коридору, теплое помещение и, наконец, совсем теплый кабинет следователя. Здесь хоть отогреться, и я старался как можно дольше продлевать эту процедуру.

Первые два раза меня допрашивал старший лейтенант почти интеллигентного вида, говоривший ровным голосом. По его манерам, вопросам, выражению глаз можно было понять, что это довольно умный и опытный человек. От него не разлило ненависти и презрением, как от других следователей. Скорее, это было отношение равнодушия. Но в третий раз меня привели в другой кабинет. За столом сидел тоже старший лейтенант, но совсем другого типа, лет сорока, широкоплечий, мордатый, в оловянных глазах ничего располагающего, что-то свиноподобное, злое, примитивное. Вспоминая его образ, я отношу его к типу людей, которых часто встречал в жизни. Это – человек из худших представителей крестьянства, выбившихся в мелкие чиновники: подобие животного, хамство, ненависть и зависть к мало-мальской интеллигентности, жестокость, тупость. Этот старший лейтенант сразу взял быка за рога:

– Ты мне ...уйню не городи. Куда шел? Кто послал? Я изложил еще раз нашу версию. Она теперь звучала несколько иначе. По дороге в Кричев мы с Шуркой, улучив момент, договорились, что тетя и Орлей останутся в силе, а слесарями мы работаем не в Кричеве, а в депо станции Брянск, отсюда и приехали.

Следователь поднялся из-за стола и подошел ко мне. Он оказался невысокого роста, с брюшком, но очень мощного вида, широкая кость, огромные кулачищи, толстый затылок, бычья повадка.

76

– Будешь ...уйню нести, харю расквашу, – и он ткнул кулачком мне под нос. – Какая там тетя? То в Кричеве работали, то в Брянске. Твой кореш давно раскололся. Говори, кто тебя послал!

С момента передачи нас в МГБ мы с Шуркой больше не виделись. Он сидел в другом месте, я ничего о нем не знал.

– Ну? Будешь, сука, говорить?

Не хотелось уходить из тепла, я пытался тянуть время, отвечая как бы на другие вопросы. Следователь начинал орать. Я напускал на себя смиренный вид и сидел, потупив очи. Он снова и снова возвращался к деталям нашего передвижения к линии фронта. Как доехали до Веремеек, как удалось пройти по дороге, добраться до деревни, где нас арестовали и т.п.

Я забыл сказать, что в основе всех наших версий лежала весьма неприятная ложь, что матери наши потерялись и, может быть, погибли под бомбежкой, а отцы на фронте, что у нас никого нет, и мы устроились на работу в депо станции Брянск (Рославль, Кричев и т.д.).

Следователь все записывал, через какое-то время повторял тот же вопрос, стремясь поймать меня на неточностях и уличить во лжи. Но я врал последовательно и хорошо чувствовал его намерения. Даже сейчас, после стольких лет, я не перестаю удивляться железной тупости этой следственной системы, стремления во что бы то ни стало пришить дело. И кому? Пятнадцатилетним мальчишкам, изможденным от голода и холода. Мне тогда еще не было пятнадцати, хотя по комсомольскому билету я числился 1928 года рождения. Но мы выглядели, наверное, старше своих лет.

Допрос заканчивался угрозами. Снова длинный путь по подземному коридору и каменный гроб с вонючей парашей. Я потерял счет дням и ночам. Но примерно на десятый день на допросе что-то изменилось. Следователь стал особенно грубым, резким. Он совал мне бумагу, требовал подписать, что я хотел перейти линию фронта. Я отказывался. И тут он мне выдал, что я не из Брянска, а из Маркса, что никакой тети нет, что Шурка во всем признался. Я снова все отрицал. Тогда он, расшвыряв, закатил мне такую оплеуху, что я отлетел на метр.

– Ну, будешь, сука, подписывать? – шипел следователь. От боли и обиды я что-то сказал ему ненезнурное. Он набросился на меня и начал бить, я пытался сопротивляться, но был избит так, что сам уже дойти до камеры не мог. Меня донесли и бросили прямо на пол два дюжих охранника.

На следующий день, уже не ночью, а под вечер, меня привели из камеры в другой кабинет, и там незнакомый капитан зачитал

77

приговор (я уже не помню: то ли особого совещания, то ли еще какого-то кэзэбистского трибунала). На основании такого-то указа и т.д. приговорить меня за незаконный въезд в зону прифронтовой полосы к пяти годам исправительно-трудовых работ. Приговор обжалованию не подлежит. Вот так!

Это были самые страшные часы моей жизни. Полный крах! Избитый, я с трудом улегался на каменные нары. Острая душевная боль сменялась какой-то общей тупостью. Я перестал чувствовать холод и голод. Я хотел умереть. Но как? Даже повеситься не на чем – ремешок отобрали. Не знаю, сколько я пролежал в таком состоянии, но все же как-то забылся, уснул.

А утром меня поджидало настоящее чудо. Ведь не без оснований говорят, что у нас страна чудес. Суть чуда в его полнейшей неожиданности. Не ждал и не гадал, а – на тебе! И ты открываешь от изумления рот.

После завтрака, когда я ходил из угла в угол и думал, как жить дальше, меня вызвали и повели по столь знакомому пути на второй этаж. В голове у меня вертелась одна и та же мысль: убегу, не буду сидеть в колонии, убегу, пусть лучше убьют. А меня привели в совсем незнакомый кабинет, в другом конце этажа, где я еще не бывал. Конвоир почтительно открыл дверь. В просторном кабинете за большим столом сидел майор КГБ (голубые погоны, как у летчиков), лет тридцати, жгучий брюнет, похожий на еврея. Мне даже показалось, что на его лице промелькнуло подобие улыбки.

– Ну, Давид Израилевич, садись. Только давай без дураков: зачем ты шел к линии фронта? Рассказывай.

И я все выложил ему, как есть; за исключением того, что моя мать жива. Он выслушал, не перебивая, весь долгий рассказ, и я почувствовал, что он мне поверил. Ну, в самом деле, зачем еще Давид Израилевич, замызганный, изможденный пацан – кожа да кости – вдруг пробирается к фронту? Неужели, к немцам в гости?

– Эх, ты, – сказал майор. – Нашелся защитник Родины. Ну кому ты там нужен? Ты ж не знаешь, что такое фронт. Убьют, как муху. Подрасти вначале, успеешь еще повоевать.

От напряжения последних дней, от тепла, голода, услышанных за столько времени участливых слов во мне что-то вдруг сильно расслабилось, и я чуть не потерял сознание, но удержался на стуле, прижавшись к спинке. Майор, конечно, заметил это.

– Ну, что с тобой делать?

Как ни странно, я плохо помню дальнейшие детали разговора, но в итоге майор написал одну записку в столовую, а вторую начальнику станции Кричев. Майор вернул мне и мой единственный документ – комсомольский билет. Я взял записки и, не веря в такое чудо, собрался было уходить. Но тут вспомнил про Шурку.

– Товарищ майор, а как же Земченков, мы же с ним вместе ходили на фронт.

Майор задумался и сказал, чтобы я посидел в коридоре. Я стал перечитывать записки. В первой предлагалось выдать мне обед, во второй – устроить на работу. Подпись заместителя начальника КГБ по Могилевской области, а вот фамилию точно не помню: то ли Соколовский, то ли Михайловский. Через пару минут в кабинет прошмыгнул с папкой капитан, читавший мне приговор, а еще минут через десять я увидел, как по коридору ведут Шурку, жалкого, помятого. Мне он почему-то не очень обрадовался.

Капитан почти сразу вышел из кабинета, забрал у меня записки и снова скрылся за дверью. Прошло совсем немного времени, и из кабинета вышел капитан с Шуркой. Капитан вручил мне записки, но в них стояли уже две фамилии. Он вывел нас из помещения на улицу и сказал:

– Столовая за углом.

На всю жизнь запомнился вкус рассольника с перловой крупой и зелеными, крупно порезанными солеными помидорами, пшенной каши и компота. Таков был обед второй категории, да еще грамм двести хлеба.

Разморенные обедом после стольких дней голодухи, мы долго сидели, не в силах подняться и снова идти на холод. Наконец нас попросили: дескать, пообедали – освободи место. Станция Кричев расположена от города примерно в пяти километрах, там же и депо. Из столовой мы направились в депо, устраиваться на работу.

Долго пришлось искать начальника. Прочитав записку, он сказал, что депо разрушено, там расчищают завалы, будете работать у Никитича, у него будка около депо, а жить негде, сами устраивайтесь, вон в деревне. Пройдитесь по хатам, может, кто-нибудь и возьмет.

Начальник тут же выдал нам хлебные карточки и талоны в столовую. Мы сразу получили свои пятьсот грамм, снова пообедали в столовой, и я почувствовал себя человеком.

Никитич, пожилой железнодорожник, без особого энтузиазма встретил новую рабочую силу, но сразу дал нам задание: разбирать завал, складывая целые или почти целые кирпичи в отдельный штабель, а половинки и четвертинки отвозить на тачке в другое

78

79

место и тоже складывать. Когда начало темнеть, он пришел посмотреть на результаты работы, и, видимо, остался доволен.

– Переночуете в землянке, а завтра ищите место в Ивановке. Так называлась деревня, расположенная в ста метрах от депо.

В землянке стоял слесарный верстак, пол устлан затоптанными досками. Чадила копилка, на полу вповалку спали человек десять. Мы еле улеглись, найдя место в разных углах. В притирку друг к другу тепло.

Утром – в столовую и на работу. Потом на обед. После обеда Шурка куда-то исчез, и я один складывал кирпичи. У меня крепко подозрение, что мой дружок решил смыться. Ведь он не раз высказывал желание вернуться домой, в Маркс. Возвращение ему ничем не грозило. Он законно уволен с завода. Другое дело я, самовольно уехавший. За это отдадут под суд.

Я уже знал, что в семь вечера идет поезд от Кричева до Рославля и, закончив работу, пошел на станцию. Поезд стоял уже на путях, но все двери вагонов закрыты, нет ни одной живой души. Рано еще. Пришлось долго слоняться вокруг станции. Но вот пришли проводники, открыли двери, стал появляться народ. Я занял удобную позицию. Поезд – всего четыре пассажирских вагона, все хорошо видно. Шурка не заставил долго ждать. Он подошел с хвоста поезда и юркнул в последний вагон. Я сразу же последовал за ним. В вагоне темно, почти нет людей. Я быстро нашел его.

– Что ж ты, смываешься как воришка?

—А чего я тебе должен говорить. Пошел ты... Обида захлестнула меня, и я изо всей силы ударил его кулаком в лицо, повернулся и пошел к выходу.

Так мы попрощались с Шуркой. Я остался один. Опять переночевал в землянке, а после обеда отпросился у Никитича, чтобы искать жилье.

Деревня Ивановка на удивление мало пострадала от бомбежек, от прокатившегося туда и обратно фронта. Даром, что рядом депо и станция, там одни камушки. Деревня длинная, домов тридцать по одну сторону дороги, а с другой стороны метрах в ста – железнодорожная насыпь.

Я начал с краю и стал заходить в каждую хату проситься на постой. Везде мне отвечали примерно одно и то же: «Эх, милоч, некуда, народу полно». И действительно, везде множество солдат, занимавших не только дом, но и сарай. Я уже приближался к концу деревни, теряя надежду. Оставалось дома три-четыре. Зайдя в очередной двор, я увидел женщину лет сорока. На мою просьбу она сразу согласилась.

80

– Народу много, – сказала она, – да уж поместимся.

Бывают люди: сразу видна доброта, открытость, сочувствие чужой беде. Звали ее Аня, фамилия Чижевская, жила она со своим отцом, два сына на фронте. Их мобилизовали недавно, и она свою материнскую любовь переносила на солдат, часто повторяя: «А мои тоже где-то...» Я рассказал ей, как попал в Кричев, разумеется, без лишних подробностей, да она и не расспрашивала, а сразу приняла меня как своего.

К вечеру старик, натопив баню, прожарил завшивленную фуфайку, брюки, шапку, валенки, дал мне свое нижнее льняное белье. Аня остригла меня под машинку. Потом баня с мылом, блаженное освобождение от грязи, ввевшейся во все поры. Вот так человека возрождают к жизни. После бани – рассыпчатая горячая бульба и чай из каких-то очень вкусных листьев, а к чаю маленький кусочек сахара. Спать положили меня на печи рядом со стариком, у стенки, а с краю спала Аня. Тесновато втроем. Но какая теплынь, какой добрый, пахучий печной дух!

На ночь в хату заносили сено, и в ней на полу ночевало человек пятнадцать солдат. У хаты была пристройка – небольшая комнатуха. Там стояла радиостанция, и жил лейтенант с двумя солдатами.

Через день наступило воскресенье, и я помогал по дому. Мы поехали со стариком в лес по дрова. Аня сапожничала, зарабатывала этим на жизнь, ловко чинила ботинки, валенки. Она дала мне поносить свои опорки, а мои совсем развалившиеся валенки взяла в работу. Через пару часов она вернула их с подшитыми новыми войлочными подошвами и дала мне старенькие заштопанные чистые шерстяные носки.

В тот же вечер я познакомился с лейтенантом. Это был молодой парень лет двадцати, худенький, голубоглазый, с интеллигентным лицом.

Меня тянуло в пристройку, где находился лейтенант, ведь надежда попасть в армию осталась. Я петлял вокруг пристройки, как бы невзначай оказываясь не раз поблизости ко входу. И вот из двери вышел лейтенант, видимо, просто покурить. Я стоял рядом, поздоровался, попросил закурить. Лейтенант протянул мне папиросу «Казбек» и без малейшего высокомерия разговаривал со мной. Он оказался москвичом и был, как я позже узнал, командиром взвода связи.

Утром, выходя на работу, я случайно столкнулся с лейтенантом. Он дружелюбно со мной поздоровался, сам угостил папиросой, и я решил с ним поговорить. На следующий день после рабо-

81

ты собрался с духом и постучал к нему. Он был один в комнате, приветливо встретил меня, усадил на топчан, угостил чаем. И мы с ним поговорили по душам. Я очень просил его помочь мне попасть в армию, в его часть. Он подумал и сказал:

– В нашу часть исключается. А вот мать я попрошу. Она – начальник санлечучки. Если захочет, возьмет. Завтра санлечучка должна проезжать Кричев. Может, и постоит здесь. Я поговорю с матерью.

Лейтенант явно испытывал ко мне симпатию. Я ушел от него с надеждой. На следующий день вечером я снова постучался к лейтенанту. Знал, что санлечучка была в Кричеве. От депо хорошо видны станционные пути, и я сразу заметил, как подошел состав с красными крестами: три вагона пассажирских, остальные – теплушки.

Лейтенант сказал, что виделся с матерью, санлечучка пошла за ранеными в Веремейки и повезет их в Рославль. Но послезавтра она снова должна быть в Кричеве. Мать велела ему привести меня. Мы договорились, что я буду следить за станцией и как только прибьет санлечучка, побегу за ним.

Тот день запомнился навсегда. Шел густой снег, издали ничего не видно. Складывая, как обычно кирпичи, я неотрывно смотрел на станцию. Уже в конце рабочего дня, когда начало смеркаться, на запасном пути показалась санлечучка. Я побежал за лейтенантом. К счастью, он был на месте, быстро собрался, и мы пошли на станцию.

Кабинет матери находился во втором пассажирском вагоне. Часовой знал лейтенанта и сразу пропустил нас. Мы прошли через несколько отделений специально оборудованного вагона, и лейтенант скрылся за дверью, попросив меня обождать. Минуты через две-три дверь открылась, и симпатичный, улыбчивый старшина сделал знак войти.

Мать в форме майора медицинской службы сидела за столом. На вид ей было лет сорок с небольшим, но она буквально ослепила меня своей красотой: очень белое лицо, обрамленное черными гладкими волосами, и голубые глаза. Вокруг все сияло белизной и чистотой, на фоне которых моя замасленная одежда создавала жуткий контраст. Мать встретила меня с едва уловимой улыбкой и настороженностью из-за моей одежды – как бы не прикоснулся к чему-либо, но я почувствовал и ее доброжелательность и даже что-то похужее на жалость.

– А что ты умеешь делать? – спросила она.

– Все, что будет нужно, – с подъемом ответил я. – Могу рисо-

вать, писать лозунги, выпускать стенгазету, носить раненых. Возьмите меня, товарищ майор.

– Федя, – обратилась она к старшине, – своди его сейчас в баню и подбери ему обмундирование, а это все уничтожь.

– Будет сделано! – весело ответил старшина.

Баня размещалась в одной из теплушек. Там стояла «буржуйка», сделанная из железной бочки, в кадках теплая вода. Несколько медсестер, засучив рукава гимнастерок, что-то стирали. Федя с прибавками представил меня женскому персоналу, встретившему такого оборванца не без удивления. Он задернул полог, сшитый из плащ-палаток, и сказал, что дает мне двадцать минут. Я разделся догола, выложив свой комсомольский билет. А все остальное Федя брезгливо свернул в фуфайку и унес. Выбросил, как потом сказал, с размаху из теплушки.

Хотя в деревне меня вроде бы отмыли, дали чистое белье и все прожарили, но уже назавтра вши опять начали меня донимать. Это можно понять – не дожарили фуфайку или штаны. Но вот загадка: я был острижен наголо, тщательно вымылся, получил новое чистое белье и абсолютно чистую одежду, но еще долгое время вши откуда-то появлялись. Я почти каждый день снимал нижнюю рубашку, кальсоны, тщательно просматривал швы, все складки и находил парутройку вшей, напившихся уже моей крови. Лишь недели через две они как будто покинули меня. Впрочем, – ненадолго, но об этом – позже.

Старшина Федя принес солдатское нижнее белье, брюки-галифе и гимнастерку, великоватые, но вполне подходящие, портянки и кирзовые сапоги, шапку-ушанку со звездой, ремень и бушлат. Он сказал, что бушлат большой, но это временно, он подберет мне шинель.

Я спросил, нельзя ли сбегать попрощаться с моими хозяевами в деревню, но он сказал, что мы вот-вот должны отчалить, едем за ранеными в Веремейки, под Чаусами идут сильные бои. Он отвел меня в теплушку в конце состава и указал место на втором этаже нар.

– Ложись и спи. Часа через три – подъем. Будет большая работа. Ты поступаешь в мое распоряжение.

Я забрался на нары, укрылся бушлатом и погрузился в блаженное ощущение чистоты и тепла, удивляясь своей удаче, подвалившему счастью. Конечно, санлечучка – не фронт, но теперь добиться цели будет гораздо легче.

Состав неслышно тронулся, и вот уже колеса застучали на стыках, чаще, чаще. Санлечучка набирала ход. Под мерный стук колес и покачивание я крепко уснул.

82

83

## ФРОНТ

## 1. Банно-прачечный отряд

Так уж вышло, что дорогу на фронт я описал подробно. Но, чтобы столь же последовательно изложить все перипетии моей фронтовой и армейской жизни, понадобилось бы слишком много места и времени. Поэтому я расскажу лишь о самом важном, попытаюсь вызвать из памяти те события и образы, которые могут оказаться интересными для моих близких.

Я прослужил на санлечулке недолго – около трех недель. Таскал на носилках раненых, выпускал стенгазету, выполнял поручения старшины Феде: бегом туда, бегом сюда. Федя был добрым, улыбочивым, что называется человек с огоньком. Его любили все, особенно медсестры, не говоря уже о начальнице, с которой он был в близких отношениях.

Федя подобрал мне обмундирование, подогнал по росту. Я щеголял в новенькой гимнастерке и диагональных брюках-галифе, раз в неделю мылся в бане, отъелся на сытных солдатских харчах и стал подумывать: как бы пробраться поближе к настоящей войне. Таская раненых, героем не станешь, даже винтовку не выдали. Но-чями я мечтал, представляя себя совершающим подвиги и о том, как мне перед строем объявляют благодарность, а я отвечаю: «Служу Советскому Союзу!» В голове моей уже выстраивались разные планы. Но судьба распорядилась по-своему.

У начальницы санлечулки возникли какие-то проблемы, приехал с проверкой инспектор из сануправления армии, вот-вот должно было появиться какое-то высокое начальство. В ожидании его принимались спешные меры, царил напряженность. И тут старшина Федя вдруг вызвал меня в свою каморку, служившую ему кабинетом, и сказал, что меня решили перевести в другую часть. Дело, мол, в том, что я 1928 года рождения (по комсомольскому билету), что мне нет еще даже шестнадцати и само-вольно брать солдат, да еще в таком возрасте, начальнице не положено. У нее из-за этого могут быть большие неприятности.

84

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

Капитан Прокопишин сразу определил меня в сапожную мастерскую, под начало сержанта Ашихмина – главного сапожного мастера. Потап Иванович Ашихмин восседал во главе длинного верстака, по обе стороны которого орудовали молотками и дратвой человек десять его подчиненных. Это были пожилые солдаты, парашютисты чуть постарше меня и одна женщина – правая рука Потапа Ивановича и его сожительница. Сам Потап Иванович искусно шил сапоги для начальства, остальные чинили солдатские ботинки и сапоги, поступающие в больших мешках из госпиталей.

Меня посадили в конце верстака, дали фартук, молоток и «лапу». Это укрепленная на деревянном столбике железная опора, которую вставляют внутрь ботинка, что дает возможность прибивать подметку или набойку. Сидя на низкой сапожной табуретке, зажимаешь между колен деревянный столбик, надеваешь на «лапу» ботинок и забивай себе гвозди. Возле меня сосредоточенно набивал подметку пожилой солдат. Обращаясь к нему, Потап Иванович, сильно окая, сказал:

– Петрович, покажь ему, что надобно делать.

Потап Иванович был немногословен, суров, временами даже свиреп. Ему никто не перечил. Владыка! Только глянет – сразу тебе понятно. Все работают молча, он болтовни не любит, вопросов тоже.

Петрович достал ботинок с оторванной подметкой, одел его на «лапу» и показал, как забивать гвозди. Настроение у меня хуже некуда: хотел стать бойцом, а попал в сапожники. Но делать нечего, придется осваивать новую специальность.

Получалось у меня вначале не шибко. Перед обедом подошел Потап Иванович, взял подбитый мной ботинок, глянул и бросил на верстак:

– Откуда руки-то у тебя растут?

Прошло несколько дней. Постепенно я прирвался. Петрович мягко, тихим голосом учил меня. Если что не так, сам молча поправит. Шаг за шагом я постигал нехитрую сапожную науку: орудуя шилом и дратвой, пришивал кожаные латки, набивал на каблуки набойки, аккуратно зачищая рашпилем края, накладывал новые подметки, прибивая их деревянными гвоздями. Держишь в зубах для удобства штук пять деревянных гвоздиков, проколол шилом дырку, вставил гвоздь и одним ударом вогнал его до конца. И так, пока не обобьешь всю подметку вокруг. Самое ответствен-

Я расстроился, просил Федю прибавить мне в документах один или два года. Но он только разводил руками: с начальством не спорят. Моё настроение упало еще сильнее, когда я узнал, в какую часть меня переводят.

Это был банно-прачечный отряд, находившийся в подчинении того же армейского санитарного управления, что и санлечулка. А командиром этого отряда являлся не кто иной, как родной брат Феде – капитан Прокопишин.

Потом я понял, как много значили в тыловых частях родственные и блатные связи. Офицеры, да и подчиненные им старшины и сержанты, цепко держались за свои места, весьма комфортные по тем временам, не желая угодить в мясорубку передовой.

Благодаря Феде, мне выписали воинские документы, в которых значился 1927-ой год рождения. Так я стал на два года старше, хотя это все равно не решало проблемы, 1927-ой год не призывался. Он будет призван лишь в конце 1944-го. Но к боевым действиям его не допустят, и ребята, родившиеся в этом году, окажутся сохраненными для державы. Не то что 1926-ой год, перебитый более чем наполовину.

Мне запомнился один эпизод. 1 июля 1944-го я был легко ранен в ногу. Из нее извлекли небольшой осколок, и через пару дней я бодро скакал на костылях. Полевой госпиталь располагался недалеко от линии фронта. Рядом с ним оборудовали кладбище для тех, кто умер в госпитале. Это было очень большое кладбище. По обе стороны усыпанной желтым песком дорожки стояли стандартные столбики с красной звездой сверху, на столбике дощечка с аккуратно выписанными фамилиями, инициалами, званиями и годами рождения. На каждой дощечке по три-четыре, а то и по пять-шесть фамилий. Я медленно ковылял по дорожке, внимательно читая фамилии справа и слева, думая, что ведь и я запросто мог лежать тут вместе с ними. И меня поразило, что почти все похороненные были 1926-го года рождения. Конечно, еще больше досталось тем, кто родился в 1925 году или несколько раньше. А мужиков 1927 года рождения бог милывал.

Банно-прачечный отряд стоял на окраине Кричева, и Федя (доставил меня к своему брату в тот же день. Они оказались очень несхожи. Федя – светловолосый, слегка курчавый, улыбочивый. Брат его – хмурый, стриженный под ежик шатен, с квадратным, слегка раздвоенным подбородком.

85

ное потом, хорошо наточив нож, аккуратно обрезать подметку, придав ей точную форму. Потап Иванович, как всегда в конце дня, подойдет, возьмет готовый сапог, глянет и бросит на верстак, но молча. Значит, сойдет.

Как все солдаты, я получал наряды, почти каждую ночь стоял с винтовкой на посту по два, а то и по четыре часа. В первый раз меня поставили охранять конюшню: с двух часов ночи до четырех. Я не стоял на посту, а лежал внутри конюшни на сене, прижимая к себе винтовку. В кромешной тьме совсем рядом лошади уютно хрюпают сеном, иногда фырчат. Стоит терпкий лошадиный дух, смешанный с запахом сена и свежего навоза. На дворе сильный ветер. Время от времени ветки дерева хлещут по крыше. И мне чудится, что кто-то снаружи пытается открыть ворота конюшни. Волна страха захватывает все мое существо, парализует. Но в следующую секунду я вскидываю винтовку, сдерживая предохранитель затвора, сердце стучит громко и часто. Постепенно я отдаю себе отчет, что это те же ветки скребут по крыше.

Еще один раз такой же острый приступ страха я испытал через пару месяцев, когда стоял ночью на посту в лесу, в котором расположился наш отряд. Тогда я едва не зорал «Стои, кто идет!» и чуть не выстрелил. Сам не знаю, что удержало меня. Вглядываясь и вслушиваясь в кромешную темень, я постепенно приходил в себя, утихомиривая разыгравшееся воображение. Позже, в боевой обстановке, в минуты реальной опасности, под сокрушительным огнем, когда все тонуло в грохоте, дыме, вздыбившейся земле и, казалось, вокруг не останется ничего живого, я ни разу не испытывал такого жуткого, панического страха. Это был совсем другой страх, при котором не теряешь головы, и чем больше опыт, тем привычнее и проще разбираться с ним и делать свое дело.

Как-то незаметно я прижился в банно-прачечном отряде. Кроме солдат в нем служило человек двадцать женщин-во льнонаемных, стиравших белье и солдатское обмундирование, привозимое из госпиталей. Кроме капитана Прокопишина начальство составляли лейтенант и два старших лейтенанта медицинской службы, а также двое старшин. Эти двое и были нашими самыми главными и грозными начальниками. Один из них, старшина Кабаков, пухленький, невысокого роста, был в общем-то добряком, не орал на солдат и не ругался матом, не раздавал направо и налево наряды вне очереди. Другой (забыл его фамилию), длинный, худой до изможденно-

86

87

сти, хмурый, с вечной тоской во взоре (видимо, язвенник) был заядлый матерщинник, ему лучше на глаза не попадайся. Между собой мы называли его «Жердь».

Жизнь в банно-прачечном текала размеренно. Подъем, построение, завтрак, обед, ужин, стояние на посту, баня раз в неделю. Когда не было обуви для починки, посылали на другую работу: пилить и колотить дрова, возить воду, чистить на кухне картошку. Кабаков ко мне относился хорошо, а «Жердь» совсем наоборот, всё никак ему не угодишь. От него мне и перепали наряды вне очереди: скалывать ломом лед у прачечной, а то и чистить сортир.

Пришла весна. В один из апрельских дней меня включили в команду, которую послали на знакомую станцию Рославль разгружать картошку. Мы прибыли туда рано утром и до обеда разгрузили два вагона. Изрядно намазавшись, закусили сухим пайком и в ожидании обратного поезда до Кричева взобрались на бревна, лежавшие в конце перрона друг на друге. Они образовывали возвышение, на котором удобно греться на солнышке. Бревна лежали у края перрона, за ним заснеженная низинка, два старых дерева и дальше развалины кирпичного дома. Снег сильно стаял и местами обнажалась земля. Усаживаясь на бревнах, мы увидели около деревьев несколько крупных снарядов, выступавших из под просевшего снега. В прифронтной полосе этого добра сколько угодно.

Солнышко пригревало. Мы размякли, развалились на бревнах. За спиной стали раздаваться звуки: «Дын-дын, дын-дын».

Обернувшись, я увидел, как два десятилетних пацана бьют чем-то железным по снаряду, пытаясь его разрядить, чтобы достать артиллерийский порох. У меня мелькнула мысль: надо бы их прогнать. Но никто из нашей команды не проявил ни малейшего беспокойства, а один даже шутливо предложил мальчишкам помочь. Они орудовали всего в десяти метрах от нас. Мы слышали их спор. Потом снова долгое звяканье. И вдруг – мощный взрыв. Нас смело с бревен.

Придя в себя от ушиба, оглохший, с какой-то не своей головой, я вскарабкался на бревна и увидел страшную картину. Мальчишек разорвало на куски. Там, где они были, лишь черное углубление. На голых ветках деревьев висят кишки, остатки тел и одежды.

Вот еще один лик войны. Воспоминание об этих мальчишках – укор совести, ведь я мог их прогнать... Ну, а команде нашей сильно повезло. Осколки не задели никого, добрый десяток их вонзился

в бревна под нашими задницами. А разве не чудо, что другие снаряды не сдетонировали. Тогда уж точно нам не остаться бы в живых.

До середины мая в банно-прачечном отряде царили размеренные трудовые будни, время от времени оживляемые новостями, которые передавались страстным шепотом. Слышали: старший лейтенант надрался и ночью влез в женское общежитие, хотел выволочить Аньку – приемщицу белья, а та не далась, на нее ведь сам капитан глаз положил, вот потеха.

Но вдруг все кругом переменялось, забегало начальство с озбоченными лицами, раздалась команда «Стройся!». Величаво расхаживая перед строем, капитан Прокопишин объявил, что получен приказ о передислокации отряда.

На следующий день мы со всем отрядным скарбом и лошадьми погрузились в железнодорожный состав и поехали. Привезли нас на станцию Лиозно, недалеко от Витебска, который все еще находился у немцев. Мы выгрузились, замаскировали имущество в пристанционном леске и стали ждать дальнейшей команды. Тут со мной произошел удивительный случай, который я потом вспоминал множество раз.

По приказу старшины я охранял имущество, сидел на бревне с карабином в руках у края зоны нашего расположения. Припекало солнце. Метрах в сорока напротив повар шуровал черпаком в котле походной кухни. Оттуда доносился запах поспевающего обеда. И вдруг мой карабин выстрелил. Я помертвел от испуга. Пуля прошла почти у самого живота повара, звякнула о край котла и срикошетила в сторону. Я не мог понять, как это произошло. Конечно, именно я нажал на спусковой крючок. Но как, почему? Так и осталось для меня загадкой. Недаром бывалые солдаты говорят, что твое ружье раз в жизни стреляет само.

Сбежалось начальство. Первым был «Жердь». Он выхватил у меня карабин, закатил оплеуху и, обложив многоэтажным матом, приказал взять меня под стражу. Мне полагалось суровое наказание, суток пять «губы», как минимум. Но куда сажать? А тут приказ: собирать имущество и двигаться вперед, ближе к линии фронта. Так и обошлось, если не считать подначивания солдат, которые еще долго всячески обыгрывали этот эпизод.

Отряд расположился в глухом лесу, километрах в десяти от переднего края. Мы рыли землянки, строили помещение для пра-

чечной. Работа кипела несколько дней. Постепенно стали прибывать и обустраиваться рядом с нами другие тыловые части. А потом по соседству появились артиллеристы, танкисты. Лес кишел войсками. Становилось ясно: готовится крупное наступление.

У меня снова окрепла надежда попасть на передовую. Мое воображение постоянно раскручивало разные новые варианты достижения цели и, наконец, все чаще останавливалось на одном из них. Ведь не так-то просто покинуть отряд, да и кто тебя возьмет на передовую, отправят обратно, как пить дать. Постепенно у меня созрел четкий план. Это было уже примерно в середине июня. Я чувствовал, что надо торопиться.

Уже несколько раз полевая баня выезжала поближе к передовой и обслуживала тех, кто вел окопную жизнь. Командовал выездной группой старшина, чаще всего «Жердь». Случайно я узнал, что завтра полевая баня отправляется на работу, на этот раз под командой Кабакова. В сапожной мастерской делать нечего, уже неделю не привозят на ремонт обувь. Я подкатился к Кабакову и стал его упрашивать взять меня с собой, буду, мол, делать любую работу, всё, что прикажете. Он довольно легко согласился.

Бывает, тебя подхватывает волна удачи, и ты окрылен верой, что она вынесет, куда нужно. Такие состояния в моей жизни возникали крайне редко: когда все дается само собой, шаг за шагом, и нет ни малейших сомнений, что все получится как задумано. Именно так было в тот раз.

Я успел тщательно подготовиться. Упрятал в рюкзак молоток, шило, дратву с варом, деревянные гвозди и отдельно железные гвозди, кусочки кожи для заплат, десять пар набоек для каблучков и столько же пар новых кожмитовых подметок. Оставалась «лапа», она не помещалась в рюкзак, конец ее предательски торчал сверху. Я обмотал ее тряпкой и упрятал на подводе, в которой ехал.

Баня расположилась в лесу, на берегу маленькой речушки. До передовой километра полтора-два. Начали топить ее ближе к вечеру, греть воду. С маскировкой все в порядке, вокруг вековые сосны, дым от топки не виден.

Когда стемнело, стали прибывать солдаты. За ночь помылась наверно целая рота. Начало светать, очередная партия еще мылась, сдав на прожарку вшей обмундирование и выставив в ряд свою обувь (большая часть солдат носила кирзовые сапоги, но некоторые – ботинки с обмотками). Я сразу нашел в этом ряду сапоги,

которые «просят каши» (с отстающей у носка подметкой), и пока солдаты мылись успел починить четыре пары сапог: подбить отвисающие подметки, зашить разорванное голенище.

Солдаты вышли из бани. Те, кому я успел починить сапоги, обрадовались. И надо же! Одна пара сапог принадлежала командиру взвода, младшему лейтенанту. Он меня чуть ли не расцеловал. Несколько солдат протягивали свои сапоги, просили тоже починить, но комзвода скомандовал: «Стройся! Опаздываем».

Я стал упрашивать младшего лейтенанта взять меня на денек к себе, я, мол, почию обувь всем в роте, а на ваши сапоги набью новые подметки. Только не говорите старшине, а пусть потом, когда я уйду с вами, кто-нибудь скажет ему, что взяли на день чинить солдатам обувь, крайне нужно, а когда всё сделает, его вернуть в отряд.

Младший лейтенант, парнишка лет восемнадцати, белобрысый, с озорными глазами, присвистнул и сказал:

– Идёт!

Я уже собрал свои инструменты и был готов. Солдаты гуськом пошли за своим командиром. Никто из наших не заметил моего ухода, и через полчаса я уже был на переднем крае.

Оборона стояла тут долго. Глубокие траншеи, хода сообщения, блиндажи. Все хорошо обустроено и обжито. Тихо. Лишь вдали справа время от времени постреливает пулемет.

Так сбылась наконец-то моя мечта.

## 2. Боевое крещение

Я забыл фамилию моего благодетеля, младшего лейтенанта. Помню, командир роты, который был старше его лет на пятнадцать, в минуты расположения называл его Димой. Комроты одобрил появление сапожника, и я сел за работу. Первым делом, конечно, я обслужил высшее начальство: командира роты и политрука, потом старшину, командиров взводов и скоро стал своим парнем в роте. Мне отвели место в блиндаже старшины. Солдаты приносили свою измочаленную обувь, я изо всех сил старался, мудрил и так и эдак, чтобы как-то зашить дыры, укрепить подметки.

На фронте – затишье. Стояли жаркие дни. Когда солнце подымалось высоко, солдаты снимали гимнастерки и загорали в окопах. Не передовая, а курорт.

Особенно добрым отношением ко мне проникся командир роты. Он приказал старшине поставить меня на полное довольствие, выдать шинель и плащ-палатку, чтобы удобнее было спать. Комроты звал меня в свою землянку, угощал обедом, расспрашивал откуда родом, как попал в армию, рассказывал о себе. Мужчина он был очень видный, красавец: высокий, статный, черные волосы, синие глаза. До войны работал учителем в сельской школе. Дома осталось трое детей, один почти моего возраста.

Лишь на четвертый или пятый день немцы рано утром произвели артналет. Минут десять колошматили из орудий и минометов наш передний край. Были прямые попадания в окопы, но обошлось без жертв. Мы отходили в другие траншеи, прятались в специально вырытые норы. Вначале было страшно, но потом я притерпелся, даже закусывал под обстрелом. Так состоялось мое боевое крещение на переднем крае, на «передке», как выражались солдаты. Не раз у соседей справа раздавалась пулеметная стрельба. Я осторожно выглядывал из-за бруствера. Впереди, метрах в двухстах, может, чуть дальше, немецкие позиции: колючая проволока, линия окопов. Ничего особенного.

Прошла неделя. Вечером комроты сказал, что хочешь не хочешь, а пора возвращать меня в банно-прачечный отряд, брали ведь на три дня. Я стал горячо упрямиться его оставить меня в роте, видел, что он не хочет со мной расставаться. Комроты молчал. Я снова и снова просил его. Он сказал: не положено, его за это начальство взгрезит так, что мало не покажется, а меня все равно отправят. Даже комбат не знает, он всю неделю провалялся в госпитале и только час назад как вернулся, ему надо доложить.

Назавтра ординарец командира батальона принес мне хромовые сапоги и новые кожаные подметки и набойки. Я понял, что комбату доложили. Есть надежда! Я старался вовсю, чтобы угодить начальству. И когда на следующий день работа подходила к концу, в роте что-то резко изменилось.

Командиры взводов с озабоченным видом сновали по ходам сообщения, долго сидели у комроты, появились какие-то незнакомые офицеры, добряк-старшина, говоривший обычно ровным голосом, вдруг начал орать на сержанта, солдаты внутренне напряглись. К вечеру уже всем стало ясно: завтра с утра – вперед на Запад. А ночью объявили приказ атаковать немецкие позиции. В бой идет весь батальон, наша рота на левом фланге. Будет артподготовка, но немецкие позиции придется брать в лоб.

Старшина, наблюдавший это вместе со мной, горестно выдохнул и матерно выругался. Тут ударила наша артиллерия, но огонь из второй вражеской траншеи и еще откуда-то не ослабевал. Солдаты начали медленно отползать назад. Когда все скрылись в захваченной немецкой траншее, я посчитал: человек пятнадцать остались лежать на месте.

Мое внимание было целиком приковано к нашей роте, но примерно то же происходило в соседних ротах. Им удалось ворваться в первую траншею, они пытались атаковать вторую и с немалыми потерями отступили, чтобы успеть укрепиться на захваченной позиции и подготовиться к контратаке.

– Шцас немец даст жару – сказал старшина. – Нужн боеприпас.

Вместе с нами оставалось еще трое солдат, двое из них были уже в летах, им наверняка перевалило за сорок. Обращаясь к ним, старшина крикнул:

– Давай ящики наверх!

Это были ящики с патронами и гранатами. Их загода обвязали веревками, концы которых образовывали длинные петли, чтобы удобнее было тащить ящики ползком (можно было накинуть петлю на плечо, легче тянуть ящик за собой). Старшина и трое его помощников взяли на себя по два ящика, а мне дали один. Мы вылезли на бруствер, впряглись и потащили ползком. Мой ящик показался мне очень тяжелым, я еле сдвигал его с места. Скоро все четверо намного опередили меня. Постепенно я приспособился и стал продвигаться быстрее.

Команда во главе со старшиной ползла метров на двадцать впереди. Я старался догнать их. Сердце бешено колотилось, пот застилал глаза. Сказывалось неумение ползать. Этим солдатским искусством я еще не овладел.

Над головой густо свистели пули. Я полз уже, казалось, целую вечность, но оставалась еще примерно половина пути. Теперь то слева, то справа лежали убитые и раненые. Один, совсем рядом, стонал и звал на помощь. Другой, впереди, медленно полз к немецкому окопу, к своим, оставляя кровавый след. Я поравнялся с раненым, просившим о помощи. Это был молоденький парнишка, лежавший на боку, скрючившись, в луже крови. Я остановился, не зная, что делать, как помочь, в полной растерянности от своего бессилия, от смертной муки в глазах паренька. Но тут старшина обернулся и заорал:

Тогда я был еще совсем зеленым, мало что понимал. Лишь со временем стал разбираться в военных премудростях и задним числом осмысливать те события, в которых участвовал. Приближались сроки операции «Багратион», грандиозного наступления в Белоруссии летом 1944 года. Нашему и, кажется, соседнему батальону приказали провести разведку боем, чтобы прошупать противника, выявить точнее его систему обороны. Такая разведка боем обходится дорого, но она необходима для успеха большого дела. А батальон в таком деле величина малозаметная.

Ночью саперы проделали проходы в проволочных заграждениях и на минных полях. На рассвете ударила наша артиллерия. Обработка немецких позиций продолжалась наверно минут пятнадцать. Потом – тягучая тишина. Солдаты замерли в окопе. Но команды в атаку нет. Прошло около часа в напряженном ожидании. Но вот опять ударила артиллерия, гораздо мощнее, чем в первый раз. По цепи пошла команда: «Приготовиться!» И когда артподготовка еще продолжалась, комроты выскочил на бруствер и за ним сразу же десятки солдат.

Накануне старшина выдал мне каску, автомат и два рожка патронов. Комроты сказал, что я поступаю в распоряжение старшины, во время атаки мне сидеть в окопе и не рыпаться.

Я смотрел, как шла в атаку рота. Справа наступали еще две роты нашего батальона. Какое-то время все дружно бежали вперед, обогнав командира. Казалось, еще минута-другая, и они достанут немецкую траншею. Но тут по ним ударили пулеметы и минометы. Солдатский вал как бы споткнулся, упал один, другой, третий. Командир роты опять вырвался вперед и за ним рванулись солдаты. До немецкой траншеи оставалось совсем близко. Бешенный огонь косил бойцов. Но я почувствовал: ничто не сможет их удержать. Вот уже человек пять прыгнули в траншею. Вот уже почти все скрылись в ее глубине.

Прошло несколько минут, и комроты с поднятым автоматом выскочил из траншеи, призывая вперед, чтобы взять вторую траншею. Поредевшая рота бросилась за ним. Они пробежали метров тридцать, может быть, пятьдесят и начали ложиться на землю: кто навсегда, а кто – не выдержав смертельного огня, особенно минометного. Земля кипела от разрывов, правда, большей частью чуть впереди от залегшей роты.

– Вперед!

Я понял: гранаты в моем ящике сейчас самое главное и двинулся дальше, испытывая, к стыду своему, некоторое облегчение, ибо ничем не мог помочь тяжело раненому, а может быть, умирающему солдату. На пути еще один раненый, с закрытыми глазами, видимо, в полузабытьи, издававший еле слышные, какие-то булькающие стоны. Я близко видел его землистое лицо, приоткрытый рот, из угла которого по щеке медленно текла струйка крови. Сердце мое сжалось от страха и сострадания, но я уже твердо держал в уме, что должен любой ценой, во что бы то ни стало дотащить гранаты и, не останавливаясь, прополз мимо.

Но самое трудное было еще впереди. Как только я миновал второго раненого, начался минометный обстрел. Немцы заметили нас и били прицельно. Мины рвались рядом. При каждом близком взрыве я прижимался к земле и замирал, не двигаясь вперед, чем дольше, чем нужно. Сквозь разрывы я слышал крик старшины:

– А ну вперед, твою мать! Вперед! Я начал ползти дальше, не глядя перед собой и не обращая внимания на разрывы, в каком-то полусознательном состоянии – будь что будет! – и вскоре чуть не уткнулся в сапоги лежащего передо мной бойца. Это был один из помощников старшины, вместо лица сплошная кровавая рана, рядом ящик.

– Бери ящик! – крикнул мне старшина.

Я увидел, как он, еле передвигаясь, волочит три ящика. Третий он взял у убитого. Я вырвал из судорожно сжатой руки веревку, одел петлю на плечо и, упираясь изо всех сил раскоряченными ногами, впиваясь пальцами и локтями в землю, пытался ползти.

Хорошо помню, что, несмотря на сжимающий сердце животный страх, мысль моя, на удивление, работала ясно. Я маневрировал то одним ящиком, то другим, продвигаясь метр за метром. Окоп уже недалеко.

Шквал минометного огня нарастал. Еще один наш солдат замер, уткнувшись лицом в сухую низкую траву. Свист, визг мины, разрыв. Кажется, вот сейчас – конец. Опять и опять свист, разрывы, разрывы, эта летит прямо на меня, хлопок разрыва, осколки вспарывают землю и застревают, будто рядом с моей головой.

Больше всего на фронте я не любил и опасался минометного обстрела. В чистом поле от разрыва мины не спрячешься, осколки летят почти горизонтально, пашут землю. Если попал под обстрел,

беги, или, если уж лежишь, молись, чтоб пронесло. Со временем по свисту мины я довольно точно определял, куда она упадет, этим не раз и спасался.

Но тут было первое крещение минометным огнем, могло оно стать и последним. Я остервенело протискивал свое тело вперед. Окоп близко. Еще секунда, другая и старшина и ползущий с ним рядом солдат нырнут в окоп. Какой-то боец ползет мне навстречу. Но нет, не ко мне, к убитому, за ящиками. А это старшина свалил свои ящики в траншею и ползет ко мне. Я не отдаю ему веревку, он зло вырывает одну, и мы ползем почти плечом к плечу. Еще усилил, еще, и мы сваливаемся в окоп на руки бойцов.

Не успел я отдышаться, как началась немецкая контратака. Резко усилился артиллерийский огонь, снаряды рвались рядом. Один попал прямо в окоп метрах в пятнадцати от меня, разметав на куски тех, кто там находился. Твердые комья земли били по голове и плечам. Я сел на корточки, обхватив голову руками и вжавшись лицом в переднюю стену окопа. Меня чуть ли не до половины засыпало землей. Не знаю, сколько продолжался обстрел, показалось – целую вечность. Внезапно стало тише. Оглохший, я продолжал сидеть на дне окопа, не веря, что цел. Наконец, пришел в себя и увидел, что солдаты, выставив на бруствер автоматы, стреляют. Мне стало стыдно, я вскочил, стряхнув с себя землю, схватил автомат, быстро обтер его и пристроился рядом со старшиной.

Немцы шли в атаку не густо, но решительно. По ним били наши минометы из глубины обороны. Пулеметный и автоматный огонь косил немцев, но они бежали вперед, стреляя на ходу. От нас их отделяло меньше ста метров. Я впервые увидел врага в лицо, впервые стрелял в него. Прямо на меня бежал здоровенный немец, паля из автомата, как мне казалось, прямо в меня. Я видел только его, воспринимал только его яростную решимость и стрелял, стрелял, не отрывая пальца от курка автомата. Немец упал. И в эту секунду мой автомат заглох. Я лихорадочно жал на курок, потом догадался перевернуть затвор, но напрасно, что-то засело. Поглощенный этим, я пропустил момент, когда немцы, не выдержав огня, залегли. «Мой» немец шевелился, он был хорошо виден, кто его уложил – я или другие – неизвестно, ведь по нему стреляли многие. Он пытался повернуться и ползти назад, и тут кто-то из наших добил его короткой автоматной очередью. Он дернулся и замер.

96

В следующую секунду на нас обрушился шквал артиллерийского и минометного огня такой силы, что все нырнули на дно окопа. Это противник давал возможность своим отступить после неудачной атаки. Наши позиции были хорошо пристреляны, снаряды рвались кучно и совсем рядом. Один из них разорвался метрах в двух от нас впереди бруствера и обвалил стенку окопа прямо на меня и старшину, засыпав нас с головой. С трудом я выбрался из-под земли, не сразу заметив, что обстрел прекратился.

Отряхиваясь и отплеываясь, мы перешли на другое место. Старшина помог мне наладить автомат и, протягивая его, сказал:

– Палец у тебя больно прилипчив. Чего зря расходуешь боеприпас? Ты коротко, коротко...

– Он же впервой. С испугу – сказал пожилой помощник старшины, тащивший ящики. – Не наложил в штаны, и то хорошо.

Мы закурили. Выглянув в сторону немецких позиций, старшина задумчиво проговорил:

– Шас фриц сберется опять...

И действительно, не прошло и получаса, как немцы повторили атаку. Ей предшествовал гораздо более мощный и длительный артобстрел. Все вокруг наших позиций перепаханно, воронка на воронке, полуобрушенные окопы, много убитых и раненых. На этот раз атаку отбили с большим трудом. Был момент, когда мне показалось, что все кончено, и сердце схватило холодом. Метрах в пятидесяти на правом фланге пара немцев добралась-таки до нашего окопа и уже в нем была уничтожена. В нашей роте осталось мало, меньше половины. Но и немцы понесли очень большие потери. После второй атаки я насчитал перед нашими позициями человек двадцать убитых. У них был приказ: выбить нас во что бы то ни стало. И они атаковали в этот столь знаменательный для меня день еще три раза. Уже вечерело, старшина, все время находившийся рядом, говоривший со мной весь день грубо и отчужденно, вдруг приветливо, по-отечески обратился ко мне, как раньше:

– Покурим, Давыдка. Выдохся фриц.

В этот день я увидел столько смертей и столько крови и мук, что во мне что-то переломилось, я стал другим. Каким? На этот вопрос словами трудно ответить. Но я точно помню, что другим, сильно повзрослевшим.

В окопе на каждом шагу убитые и раненые. Убит мой благодетель, комвзвода Дима. Вот он лежит на спине, светловолосый,

97

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

совсем еще мальчишка (смерть молодит), в сапогах, которые я недавно починил ему. Ранен командир роты. Убит последний помощник старшины, пожилой солдат, отражавший атаки рядом со мной. Убита медсестра, лицо которой я даже не запомнил. Стонут раненые. Неподдалеку – несколько пленных легко раненых немцев, вид у них жалкий. Впервые я увидел их так близко, но, странно, не испытал ни чувства ненависти, ни особого любопытства.

Едва стемнело, нам приказали расчищать завалы в окопе. Саперной лопаткой много не накопишь, ведь надо выбрасывать землю наверх. После такого дня откуда взять силы. Но человек плохо знает себя. Оказалось, что силы есть. Надо только начать, втянуться в работу, притерпеться и вроде бы ничего, жить можно.

Часа через полтора со стороны наших позиций послышалось какое-то движение, и вскоре в окоп стали спрыгивать один за другим солдаты, их становилось все больше и больше. А нам было приказано забирать раненых и отправляться в тыл. Остаткам батальона, проводившему разведку боем, давали передышку. Уже не было секретом, что вот-вот, может быть завтра, начнется большое наступление.

Я вместе с другим солдатом тащил на плащ-палатке раненого, он стонал и матерился. Добравшись до нашего старого и целехонького окопа, мы, наконец, поели и провалились в сон. На рассвете я проснулся от страшного грохота. Такого я больше не слышал никогда. Сотни орудий били по немецкому переднему краю, его бомбили десятки самолетов. Так продолжалось, наверное, больше часа. Потом ударили гвардейские минометы – «Катюши». На немецкой стороне все утонуло в огне и черных клубах дыма. И, наконец, в атаку пошли танки. Как только они миновали захваченную нами немецкую траншею, за ними поднялась пехота. Началась знаменитая операция «Багратион», в результате которой наши войска освободили Белоруссию, Литву и подошли к границам Восточной Пруссии.

Два дня мы стояли на отдыхе, батальон немного пополнили новобранцами. Настроение у всех приподнятое. Наступление шло успешно, вчера тут был передний край, а сегодня уже глубокий тыл. Мы догнали передовые войска где-то под Оршей. Начались тяжелейшие наступательные бои. Эх, пехота – царица полей – ей достается больше всех. Атаки, многокилометровые марши, днем

и ночью вперед, то бегом, то ползком, и рыть, рыть землю, окапываться, если хочешь остаться живым.

В первый же день мы вступили в бой без артподготовки и лишь со второй попытки взяли к вечеру какую-то деревню. Вернее, бывшую деревню, от нее остались лишь кое-где печные трубы. Жители ушли в лес. Ни одной живой души.

Пошел дождь. Только успели подкрепиться банкой тушенки на двоих, как поступил приказ построиться, и вперед. Всю ночь мы шли под морозящим дождем, подгоняемые новым командиром роты. Вот где я понял, что такое второе и третье дыхание. Кажется, всё – сейчас упаду, оттягиваю этот позор из самых последних сил, еще два шага, еще раз два шага, еще один, и с какого-то момента вроде бы становится легче, а потом совсем уже терпимо, ноги как бы сами перебирают песчаную дорогу. Сколько скрытых сил в каждом из нас!

Мы прошли в эту ночь около тридцати километров и на рассвете с ходу выбили немцев из тоже бывшей деревни. В ней, правда, остались брошенные жителями землянки, в которых ночевали немцы. В одной из них мне удалось часок поспать и снова вперед.

Неожиданно какая-то недобитая немецкая часть оказалась у нас в тылу и нам пришлось воевать на два фронта. Потом пошли пленные, немцы сдавались десятками. Дни и ночи смешались. На пятый или шестой день я был легко ранен в ногу осколком мины и попал в госпиталь.

\* \* \*

Судьба человека на войне, роль случая, предусмотрительности, осторожности, предчувствия, невыразимых интуитивных решений? всю жизнь я возвращался к этим мучительным вопросам. Конечно же, как философ-профессионал, я строил весьма правдоподобные объяснения и мог их даже представить в концептуальном виде. Но это не ослабляло чувства неподлинности понимания того, что я видел и пережил.

Я никогда не позволял себе прочно уверовать в судьбу, считая это оправданием и поощрением слабости, унижительным для личности: тогда ничего не оставалось от моей воли, от моего личностного достоинства. Тогда все события моей жизни, особенно те, в которых я проявлял упорство, изобретательность, предельное напряжение душевных и физических сил и лишь благодаря этому,

убежден, достигал цели, оставался жив, выпутывался из, казалось, безвыходных положений, – тогда всё это, получается, было заранее определено и моя воля в том числе.

Да, человек слаб, зависим, ограничен. Но неужели он всего-навсего лишь марионетка каких-то могущественных сил, промыслов, обстоятельств и его личные решения, воля, его самополагание иллюзорны? С этим невозможно примириться.

Еще и еще раз оглядывая свою прожитую жизнь, размышляя над ее причудливыми витками, я продолжаю сохранять уверенность, что ее творцом был и я сам. Точнее, это было сотворчество, в котором я принимал не менее важное участие, чем то, что творило ее вместе со мной. Вспоминая фронтовые передраги, я должен признать, что да, было, действительно было нечто такое, что порой хранило меня от смерти. Где оно обитало – во мне или вне меня – этого я не знаю.

Здесь я хочу рассказать о нескольких случаях, которые приключились со мной на фронте или свидетелем которых я был. Постараюсь описывать сами факты и не давать воли философскому воображению.

Когда меня спрашивали о войне, я часто рассказывал об одном случае, который врезался в память и временами начинал занозой саднить неожиданным воспоминанием.

Это произошло осенью 1944 года. После наступления в нашем взводе осталось человек пятнадцать. Командовал им старший сержант вместо убитого лейтенанта. Мы стояли в обороне. Понемногу начало прибывать пополнение, большей частью белорусы из освобожденных областей. На фронте – затишье.

Я спал прямо на дне окопа, подстелив под шинель сухую траву. Ночью холодно. Сон солдата чуток, как у собаки. За ночь просыпашешься много раз – от шорохов, слабых звуков. А вот стрельба, вспышки осветительных ракет не будят.

«Туп!» – кто-то спрыгнул в окоп у самых моих ног. Я мгновенно проснулся и сел, сжимая автомат. Есть такое время рассвета, когда рядом уже хорошо видно, а на расстоянии десяти метров еще темно. Надо мной стоял молоденький офицер в новой шинели, перетянутой ремнем, высокий, белокурый, с тонкими чертами лица, фуражка лихо сдвинута набекрень. Прислали нового командира взвода. Я смотрел на него снизу вверх. Это длилось не больше секунды. Когда я вскопчил спросонья, уже свистела мина. В следующую

100

щий миг она разорвалась на бруствере почти надо мной, и новому командиру взвода снесло полголовы. Меня заляпало мозгами и кровью. Комвзвода повалился прямо на меня.

Вот, называется, и повоевал. Спрыгнул в окоп и мгновенно был убит. Другой же воюет месяцами, выходя живым и невредимым из немислимых переплетов. И не то, чтобы какой-то хитроумный, выгадывающий менее опасное место, норвичий подставлять других. Нет, обыкновенный солдат, который честно тянет ляжку, забывает в горячие минуты о собственной шкуре, лезет по приказу в пекло. О таких говорят: «Родился в рубашке».

Не считая банно-прачечного отряда, госпиталей, отводов на отдых и т.п., я провел на переднем крае месяца четыре. Это для солдата огромный срок. И если он всё это время находился под огнем и остался жив, то значит ему необыкновенно везло.

### 3. «Прощай Родина!»

Так называли солдаты 45-ти миллиметровую противотанковую пушку. В батарее «сорокопятки» долго не воевали, зачастую гибли в первом же бою. Конечно, были и такие, кому везло, им щедро раздавали награды за подбитые танки. Но в солдатской поговорке «или грудь в крестах, или голова в кустах» чаще всего оправдывалось последнее.

Вот в такую батарею «сорокопятки» я попал в последние дни июля 1944 года. Мой стаж артиллериста составил одиннадцать дней. И должность у меня была лихая – подносчик снарядов-заряжающий.

Еще продолжалось наступление. В батарее, понесшей большие потери, осталось четыре орудия. Командовал ею старший лейтенант – высокий парень со шрамом через всю щеку. Грудь у него была в крестах (три ордена и медаль – тогда я на это обращал особое внимание). Значит, успел повоевать. Он мне очень нравился своим мужественным, решительным видом, и шрам на лице только усиливал его мужественную красоту. Тогда комбат казался мне очень взрослым, но было ему лет двадцать. Сейчас подумаешь: сколько же ему довелось хлебнуть в свои двадцать лет! А больше ему не было отпущено.

В орудийных расчетах солдаты еще моложе, простые парни, почти все деревенские. Многие из них попали в батарею вместе со

101

мною после госпиталя. Командир нашего орудия, сержант с орденом Славы, был единственным в расчете «стариком», наводчик и я – новенькие. Командир тоже из деревенских, ему уже под тридцать. Сметливый, резкий, любивший побалагурить, повеселить народ, он умел и приструнить нашего брата, заставить вкальвать на всю катушку, особенно, когда приходилось рыть и обустройства позиции.

Первые дня четыре мы стояли на месте в каком-то литовском селении (на солдатском языке – «загорали»). Потом передвигались во втором эшелоне вслед за наступающими войсками. Утро последнего дня мы встретили на опушке леса, вдоль которого шла проселочная дорога. Метров через сто она поворачивала в низину и уходила через поле к другому лесу, до которого чуть больше полкилометра.

Мы хорошо выпалились, погода стояла солнечная, тишина. Сержант балагурил, солдаты смеялись, хлебая чай из своих кружек. Мы заканчивали завтрак, когда вдруг появился комбат и закричал:

– По местам! Быстро! Приготовиться к бою!

Орудия выкатили на прямую наводку, развернув в сторону леса, куда уходила дорога. Сбросив ремень, я в полу гимнастерки притащил с десяток снарядов. Наш расчет состоял из трех человек. Командир и наводчик, заслав снаряд, клацнули замком и застыли в ожидании.

Вскоре послышался дальний гул. Он нарастал. И вот из-за леса выполз танк, за ним другой, третий, четвертый. Танки пошли друг за другом по дороге, а из-за леса выползали всё новые и новые.

– Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать – считал сержант. – Йо-о-о-о... твою мать!

Этим он сказал себе и нам: всё!, дело ясное! Но это стало ясно ему, а не мне. Я даже не подумал о смерти, испытывая возбуждение, страх, все, что угодно, но только не чувство неминуемой близкой гибели.

Против четырех слабеньких орудий двадцать два танка. Они шли по дороге строем, слегка пыля, подставив борта «сорокопяткам». Когда до них оставалось метров триста, батарея открыла огонь. Все делала командир и наводчик, я, присев сади них за щитом, только смотрел. Наводил орудие и стрелял сержант, а заряжал наводчик.

После первых выстрелов батареи задымили два танка, один загорелся. Танки тотчас сошли с дороги, развернулись в ряд и, стреляя, пошли на батарею.

102

– Снаряды, твою мать! – крикнул сержант.

Я ринулся к опушке леса, там в ящиках лежали снаряды. Набрал в полу гимнастерки штук пять, я побежал к орудию. Немцы уже почти пристрелялись, разрывы вставали рядом. Я вывалил снаряды под ноги наводчику и побежал снова к опушке. Стоял страшный грохот, все заволкло дымом, пылью, земля вставала дыбом. Я успел снова набрать снаряды и, низко пригибаясь, спотыкаясь, побежал к орудию, чувствуя: поздно. И в этот момент что-то горячее, душное страшно ударило меня во весь рост. Всё!

Очнулся я полусыпанный землей. При малейшем движении голова резко кружилась, и я снова терял сознание. Так повторилось несколько раз. Наконец, головокружение стало слабее, я пошевелил руками, ногами – вроде бы целы. Осторожно выполз из-под навалившихся комьев земли, увидел рядом торчащее наискосок дуло засыпанного автомата и опять потерял сознание. Через какое-то время снова пришел в себя и на этот раз ясно понял свое положение, собрался с силами и, медленно приподнимая голову, посмотрел вперед. Там, метрах в пятнадцати, наше искореженное орудие, нет ни сержанта, ни наводчика. Вокруг развороченная земля, одна пушка уткнулась дулом в землю, другая перевернута, третья на боку с оторванным колесом, рядом убитые.

Меня охватил страх, и это, видимо, придало мне силы. Я протянул руку к стволу автомата и слегка расшатывая, вытащил его из земли. Приклад был расщеплен крупным осколком – наверняка спас мне жизнь. Я попытался ползти, в голове сильно звенело, я чувствовал, как вдруг земля проваливается подо мной, и снова терял сознание.

В очередной раз придя в себя, я осторожно повернулся на бок и посмотрел на солнце. Оно стояло в зените. Значит, после боя прошло больше трех часов.

Я подполз к нашему орудию. Около него лежали страшные обрубки (один без ног), залепленные пропитанной кровью землей. Невозможно различить, где сержант, а где наводчик. В ужасе я полз к следующему орудию. Там похожая картина: все убиты, раскромсаны. У третьего орудия убитые были в виду целы. Тут же лежал лицом вниз комбат, вся его гимнастерка на спине в крови. Я надеялся найти кого-нибудь живым. Но нет, все мертвы. Тогда я ползл в лес. Наши полуторки стояли раздолбанные, и вокруг убитые, убитые.

103

Взял чей-то валявшийся автомат и бросил свой, так как из него наверное нельзя было стрелять, отполз еще метров на пятьдесят в лес и спрятался в ложбине среди кустов. «Где наши? Где немцы? Еще не хватало попасть в плен». И опять потерял сознание.

Я пришел в себя, как мне показалось, оттого, что услышал голоса, хотя еще долго после контузии оставался почти глухим. Я выполз из расщелины и сквозь деревья увидел на бывшей артиллерийской позиции наших солдат. Я полз к ним, поняв, что теперь спасен.

Увидев меня, наши ребята удивились и обрадовались. Мне что-то говорили, подошел офицер и, наклонившись, стал что-то спрашивать, но я не мог расслышать слов и снова потерял сознание. Очнувшись я уже в медсанбате: белая простыня, под головой подушка. На второй день ко мне стал возвращаться слух, но в голове по-прежнему сильно звенело. Медсестра, ухаживавшая за мной, громко повторила несколько раз в самое ухо, что я «везунчик». Как мне рассказали, гимнастерка, брюки и даже сапоги мои были изорваны осколками в ключья, на теле наверное сотня глубоких порезов, царапин, садин. Но ни одного серьезного ранения. Контузия, однако, требовала лечения, и меня переправили в госпиталь.

Теперь у меня оказалось достаточно времени, чтобы и поспать и поразмыслить. Но понял я смысл пережитого много позже. Во время нашего наступления противник, желая его замедлить, сбить темп, организует контрудар. Под него и попала наша батарея. Прорвавшаяся группа танков через пару часов была уничтожена. Но батарея, подбив четыре танка, полегла. Удалось ли еще кому-нибудь уцелеть, не знаю. Маловероятно. Ведь я два дня оставался в медсанбате и скорее всего услышал бы об этом.

Госпиталь, в котором меня лечили целый месяц, располагался вначале в каком-то литовском городке, а потом переехал на окраину Вильнюса. И там – надо же! – совсем рядом расположился родной банно-прачечный отряд, он, оказывается, входил в тот же Полевой эвакуационный пункт, что и госпиталь. А у меня в документах значилось, откуда я родом. Поэтому меня, как я ни просил, ни умолял, выписали после выздоровления в банно-прачечный отряд. Так я снова попал под команду капитана Прокопишина, правда, ненадолго.

Начальство приняло возвращение блудного сына сурово. Первым делом меня исключили из комсомола за самовольную отлучку

104

из части. Но через день я был вызван в более высокую комсомольскую инстанцию (кажется, комсомольское бюро Полевого эвакуационного пункта) и там восстановлен, даже выговора не записали. Это, конечно, ухудшило отношение ко мне высшего банно-прачечного начальства. Но Потап Иванович Ашихмин стал ко мне гораздо мягче и не раз явно высказывал свое расположение как и большинству коллег по сапожной мастерской.

Впрочем, как я уже заметил, моя служба в банно-прачечном очень затянулась. Я не мог там оставаться, не мог. Возвращение в окопную жизнь тревожило и страшило, но какая-то непонятная сила, вопреки всему, влекла меня туда, и она порождала кипучую работу мысли, дьявольскую изобретательность, благодаря которой мне вскоре удалось улизнуть в обычную пехотную часть.

Я не стану описывать, как это произошло. Подобных полудетективных историй в моей фронтовой биографии немало. Но нет ни времени, ни сил, а главное, нет желания рассказывать об этом. Для этого пришлось бы исписать десятки страниц, а пишу я трудно, медленно. И вообще я стал испытывать сильную потребность скорее закончить повествование о фронтовой жизни, о войне. Тяжело писать об этом, и не вижу большого смысла. Всё это уже описано тысячами и тысячами участников войны, переживших, видевших, знавших гораздо больше, чем я.

Здесь наверное нужно упомянуть только о прихоти судьбы, которая еще раз скрестила мой путь с родным банно-прачечным отрядом. Это произошло спустя почти три месяца после войны, о чем я кратко расскажу позже.

#### 4. Гриша

Поздней осенью сорок четвертого года в наш взвод прибыл новый солдат, резко выделявшийся из обычного пополнения – сельских белорусских ребят. Высокий, косяя сажень в плечах, лет под тридцать. В добротном обмундировании, новых сапогах, справа на груди – два ордена Красной звезды, слева – медаль «За отвагу» с красной потертой ленточкой (такие медали были в 1941–1942 годах, и это о многом говорило, тогда награждали редко). Звали его Гриша (не помню точно фамилию, кажется, Кравцев). Командир отделения, ефрейтор, тушевался перед ним. С покровительственной повадкой, озорной во взгляде, флантовый Гриша оглядел

105

нас, сказал пару слов, и все семеро, составлявшие наше отделение, поняли, что прибыл хозяин. На меня Гриша сразу положил глаз и стал моим отцом-наставником. Протянув котелок, он скомандовал:

– Давай за «шрапнелью!» (так назывался густой перловый суп с тушенкой), которым нас каждый день кормили).

На виду у всего отделения он вытащил из рюкзака давно забытую колбасу и бутылку водки. Налил мне полстакана. «Ну, за победу!» И мы начали хлебать из одного котелка.

Оказалось, Гриша еще недавно был по званию старшиной и личным шофером командира дивизии. Однажды в сильном подпитии он врезался на своем «Виллисе» вместе с командиром дивизии в «Студебеккер» (мощная американская грузовая машина). Понятно, «Виллису» (тоже американское авто наподобие газика) пришлось плохо. Сам Гриша отделался легкими ушибами, а вот командиру дивизии переломало ноги, и он надолго угодил в госпиталь. За такое полагалось суровое наказание, штрафной батальон. Но Гриша умудрился вывернуться и получить по минимуму. Его разжаловали в рядовые и отправили на передовую.

Не то что командир отделения, но и командир взвода – молодой младший лейтенант – и даже сам командир роты неявно признавали в Грише какое-то превосходство, избегали отдавать лично ему жесткие приказы. Оно и немудрено, ведь Гриша долгое время был приближенным человеком комдива, и тот в его присутствии не раз давал дрозда командиру полка и страшно матюгал комбата (все помнили, каким красноречивым тут был командир дивизии, легенды об этом передавались из уст в уста). Постепенно Гриша набирал власть и командовал вместо ефрейтора, не стесняясь и взводного. Солдаты охотно выполняли его образные команды. «Эй, рыжий, копай глубже, жопу подстрелять!» От Гришиных шуток-прибауток стало веселее в окопной сырости. Он раздавал солдатам прозвища, которые сразу прилипали к ним. Был у нас один невзрачный, робкий солдат. Готовясь принять свои наркомовские сто грамм, он приподнимал стакан и тихо произносил: «Ваше здоровье». Гриша его так и прозвал. И теперь к нему иначе не обращались: «Эй, «Ваше здоровье», беги к старшине», «Подвинься, «Ваше здоровье» и т. п.

Несмотря на показное высокомерие, Гриша, в сущности, был добрым малым. А уж в смелости, отваге никто не мог ему отказать. Он первым лез в горячее место, увлекая за собой солдат, любил

106

бравировать под обстрелом, не надевая каски, прикуривал не спеша под пулями, красуясь перед взводом.

Но главная его особенность состояла в том, что в любом месте и в любое время он мог раздобыть выпивку. Тут он творил чудеса. Гриша пил все: авиационный спирт (разбавленный бензином), тройной одеколон и даже денатурат. Он стал моим учителем по этому делу. Однако, ему попался неспособный, плохой ученик. Первую стадию его науки я, правда, освоил. Надо было выпить стакан водки и закусить «материей», т. е. утереть рот рукавом шинели, не морщиться, не подавать виду, что горько. Но следующие ступени мне не давались. Пару раз я пил авиационный спирт – жуткую дрянь, вонявшую бензином и сохранявшую во многом его запах и вкус. Весь мой организм содрогался и готов был изрыгнуть эту отраву, я делал невероятные усилия, чтобы такого не случилось – рядом в окопе сидел Гриша, который неторопливо закусывал.

– Еще налить? – спрашивал Гриша.

Погруженный в отчаянную борьбу с собой, я отрицательно мывчал, и Гриша с легким презрением наливал себе. Проходила, как мне казалось, целая вечность, пока мой организм переставал, наконец, делать попытки освободиться от непереносимой отравы.

А вот на тройном одеколоне я сломался. Тогда в военторгах продавали трехсотграммовые бутылки тройного с эдакой темно-зеленой наклейкой. В Гришином рюкзаке бывало позвякивало штук пять таких бутылок. Он ласково вынимал одну, брал за конец лезвия свою финку с крупной наборной рукояткой (предмет моей зависти), отбивал резким, элегантно ударом горлышко бутылки, запрокидывал ее и -буль-буль-буль – выпивал одним махом до капли, утирал рот рукавом шинели и затем картинно отбрасывал пустую бутылку.

Мне же, как слабаку, он разводил одеколон водой. Получалась молочнистая, чуть пенящаяся жидкость, которую я мужественно выпивал. Но перенести этого мой организм не мог вопреки всем отчаянным стараниям. Меня рвало и выворачивало наизнанку. Это продолжалось долго, и потом я еще дня три икал одеколоном, содрогаясь от воспоминаний.

Задумчиво, медленно Гриша произносил:

– Ху...тый ты солдат, Давыдка.

Я страшно переживал и через какое-то время снова пытался взять эту высоту. Но с тем же результатом. Поняв мою несостоятельность, Гриша перестал переводить на меня столь ценный продукт.

107

Наступила зима, метельная, сырая. Мы стояли в обороне уже на немецкой земле, в километре за литовской границей. Этот клочок Восточной Пруссии был отвоеван в жесточайших боях еще в октябре. Окопный быт давно сложился, но, несмотря на теплую одежду, привычку к холоду и сырости, без ста граммов солдату приходилось трудно. Великий умелец, добытчик Гриша, от которого солдатам перепадала дополнительная выпивка, пользовался непрекращаемым авторитетом. А поскольку я был его другом и напарником, какая-то часть этого почтения отсвечивала и на мне.

Все понимали: скоро начнется новое наступление и до конца войны осталось не так далеко. На слуху у нас были странные названия восточно-прусских городов: Эйдкунен, Шталупенен, Гумбинен. Первые два из них захватили еще в октябре, они находились где-то близко от нас. А вот все остальное еще предстояло взять. Засидевшиеся в окопной грязи солдаты с нетерпением ждали команды «Вперед!»

Наступление началось примерно в середине января. Мы рванулись вперед, но не тут то было. На каждом шагу доты, каждый дом – крепость, ураганный огонь сметает все живое, немцы стоят до последнего. Четыре раза мы пытались взять разрушенный немецкий хутор, который, казалось, в пух и прах раздолбан артиллерией и штурмовиками, выжжен дотла «Катюшами». Но как только мы поднимались в атаку, на нас снова обрушивался бешеный огонь и, пробежав метров пятьдесят, приходилось ложиться. Только к вечеру хутор был взят. Но какой ценой! Убиты командир роты и командир взвода, убит наш ефрейтор. Из пополненного перед наступлением отделения в строю осталось четыре солдата. Тут не Белоруссия, за сутки продвинулись на триста метров.

На следующий день повторилось примерно тоже. Нигде я не видел такой насыщенной системы обороны, такого огня, таких потерь, как в Восточной Пруссии. Тяжелейшие наступательные бои шли и днем и ночью. Кстати, ночные бои нам удавались лучше. На третий или четвертый день мы пошли вперед живее, с меньшими потерями, научились обходить доты, находить слабые места в немецкой обороне, заходить с тыла. Через неделю ожесточеннейших боев наши войска взяли крупный город Истенбург. Мы вошли в него, когда он уже был взят, хотя кое-где еще шла стрельба. На всю жизнь у меня остался в памяти запах жареного мяса и обугленные трупы немецких солдат. Объятия пламенем, они выпрыгивали из окон горевших домов, и тут же оставались лежать, иногда

108

друг на друга. Здесь здорово поработали «Катюши».

Гриша был надежный, верный напарник. Не подведет, не бросит, поделится последним. О таких говорят: с ним я пошел бы в разведку. Он спасал мне жизнь, как минимум, дважды.

Через несколько дней после начала наступления, словив сопротивление немцев у какого-то городка, мы оказались перед очень длинным одноэтажным строением. Полуразрушенное, оно тянулось метров на сто и было окружено забором из колючей проволоки, во многих местах теперь разорванным и разметанным. Оттуда недружно стреляли. Мы подползли поближе и потом перебежками приблизились к забору. На левом фланге наши уже ворвались в помещение и орудовали внутри. Прошел слух, что в нем продовольственный склад, и это подогрело солдат. Я лежал чуть впереди Гриши, вскочил и ринулся вперед, нацеливаясь в проем забора. И тут Гриша вдруг дико зарорал:

– Стой! Назад!

Я плюхнулся на землю. Слева, под углом, направляясь в тот же проем в заборе, бежали два солдата. Гриша им тоже крикнул:

– Стой! Стой! Вашу мать!

Но они то ли не расслышали, то ли просто хотели скорее добраться до склада. И точно в том месте, где пересекались наши пути, метрах в десяти от меня, раздался сильный взрыв. Оба солдата погибли, они нарвались на противопехотную мину. Если бы не Гриша, эта мина стала бы моей.

Вся Восточная Пруссия была напшигована такими гостинцами. От них войска несли большие потери. Гриша обладал особым нюхом, распознавал заминированные места по каким-то непонятным признакам. Не раз бывало он вдруг останавливался и командовал:

– Стоп машина! – и, постояв секунду, строго приказывал:

– За мной, по одному, след в след!

Думаю, Гриша не раз спасал жизнь мне и солдатам нашего взвода. Как-то он признался, что еще в начале войны учился в специальной школе минеров, получил после ее окончания звание сержанта и в течение нескольких месяцев войны ставил и снимал мины, даже побывал инструктором по этому делу в партизанском отряде.

Второй раз Гриша спас мне жизнь через несколько дней, когда мы ворвались в немецкую траншею. Переступая через убитых, мы двинулись по ней: Гриша впереди, я за ним. Когда солдаты нашего взвода спрыгнули в траншею, то часть повернула направо, а часть налево. Следуя за Гришей, я оказался последним. Вглубь немецкой

109

обороны отходили многочисленные извилистые хода сообщения. Двигаясь по главной траншее, Гриша быстро заглядывал в хода сообщения, готовый немедленно открыть огонь, но там никого не было. Мы миновали третий или четвертый ход сообщения, как вдруг Гриша резко повернулся, и в то же мгновение прямо над моей головой прогрохотала автоматная очередь, опалив лицо. Оторопев, я обернулся: метрах в четырех от меня, у самого угла хода сообщения, оседает, заваливается высокий немец с разможенной головой, в его руках наизготовку «шмайссер» (так называли немецкий автомат). Еще долю секунды, и он бы выпустил очередь мне в спину.

Наступление показало, каким замечательным бойцом был Гриша. Отважный и расчетливый, выносливый, сноровистый, моментально ориентирующийся в обстановке, он был еще и необыкновенно удачлив. Ведь прошел всю войну, в какие только переделки ни попадал, и лишь один раз был легко ранен в ногу, кажется в 42-ом году. Командира дивизии он возил с полгода, а до этого все время на переднем крае. Редкая удача – остаться в живых.

Но вскоре нам пришлось расстаться – через несколько дней после взятия Истенбурга. Мы долго лежали под обстрелом, ожидая команды «вперед» или «назад». Гриша вернулся набок, полез в карман, хотел, видимо, закурить и вдруг дернулся и оцепенел, лицо побледнело. Выдавливая из себя матерные ругательства, он медленно повернулся на спину. Осколок снаряда попал в плечо. Увидев, что рана не смертельна, я даже обрадовался. Если кость не задела, легко отделается. Превозмогая боль, Гриша прохрипел:

– Ну все, Давыдка, отвоевался я.

Можно сказать, что ему снова повезло. Ведь теперь ранение означало, что ты пережил войну. Пару месяцев госпиталя обеспечено, а за это время война должна кончиться.

Взяв Гришин автомат и вещмешок, я помог ему отползти назад и ухорониться в лоштинке. К счастью, недалеко оказался санитар. На прощание Гриша сказал мне:

– Гляди, чтоб дуба не дал... Свидимся еще.

И он как в воду глядел, о чем я расскажу чуть позже.

Гриша наверно передал мне свою удачу. Пройдя ад Восточной Пруссии, я остался жив. Через несколько дней после расставания с Гришей маленький осколок мины (величиной чуть больше спичечной головки) угодил мне в шею у ее основания и застрял на глубине трех или четырех сантиметров. Его извлекли в медсанбате. Врач

110

сказал, что мне сильно повезло: осколок прошел совсем рядом с артерией и не задел ничего жизненно важного. После взятия Кенигсберга нашу дивизию перебросили на Берлинское направление. Там тоже шли тяжелые бои. Конец войны я встретил где-то недалеко от Эльбы.

Как ни странно, плохо запомнился день победы. Перед тем уже около недели не было боев. Мы стояли все это время у какого-то селения, понимая, что войне конец, что вот-вот об этом заявят официально. Когда объявили, что немцы капитулировали, началась беспорядочная пальба в воздух. Солдаты кричали «ура!», обнимались. Помню, мимо нас проехало множество грузовиков, набитых военным людом. Они кричали нам: «Победа! Победа!» – и тоже палили вверх из автоматов.

Прошло около месяца, и я снова оказался в Восточной Пруссии. Начались реформирования частей и отправка их на Дальний Восток. Все знали, что предстоит война с Японией. Тех, кто подлежал демобилизации – по возрасту, по ранениям и т. д. – переводили в тыловые части. Я попал в какой-то хозяйственный взвод, подчинявшийся, кажется, управлению госпиталей. Мы стояли в восточно-прусском городке Лик, а потом недалеко от него в полуразрушенном немецком хуторе. Оттуда нас перевезли в город Гродно. И – на тебе! – я снова оказался не только в составе полевого эвакуационного пункта, куда входил наш боевой банно-прачечный отряд, но и в его сильно поредевших рядах. Не было уже капитана Прокопишина, других отцов-командиров, успел демобилизоваться Потап Иванович Ашихмин. На этот раз я пребывал в нем не более недели. Отсюда, из Гродно, меня демобилизовали и отправили домой. Но в течении этой недели произошло одно важное событие.

Прогоуливаясь по центральной улице, глаза на ставшую уже непривычной гражданскую жизнь, я остановился у кинотеатра. И вдруг к тротуару, скрипнув тормозами, лихо подкатил роскошный черный «Кадиллак». Из него вышел высокий водитель и уверенно направился в соседнее с кинотеатром помещение. Я не поверил своим глазам: Гриша!

Я догнал его у самой двери. Увидев меня, Гриша остолбенел, потом сгреб меня в охапку, стал тискать и подбрасывать, приговаривая:

– Живой, твою мать, живой...

Он потащил меня за собой. В этом злчном месте Гриша был своим, его радостно приветствовали две женщины. Он что-то шепнул им, и нас провели в дальнюю комнату, усадили за стол. Гриша

111

расспрашивал меня, я его, – кто мог подумать, что переживем войну и встретимся. Оказывается, Гришу после госпиталя снова взял к себе командир дивизии, ставший теперь генерал-лейтенантом, командиром корпуса. Со дня на день они ожидают приказа об отправке на Дальний Восток.

Вскоре на столе появилась бутылка, стаканы, две кружки с водой и большая сковородка, на которой еще шипела жареная яичница с колбасой. Гриша налил два полных стакана:

– Ну, давай! За победу, за то, что живые!

Я сразу почувствовал, что это не водка, а спирт, и, как учил меня Гриша, выпил без передыху до конца и, задержав дыхание, запил водой. Несмотря на хорошую закуску, скоро у меня поплыло перед глазами, комната стала кружиться, но я все ясно слышал и понимал, и очень любил Гришу. Прошло совсем немного времени, и Гриша налил еще по половине стакана. Отказываться – бесполезно.

– Ну, за встречу!

После второго раза я стал совсем хорош. Глянув на часы, Гриша заторопился: он должен быть в штабе, его ждет командир, а ты, мол, не спеши, закусьвай. И еще он сказал, что завтра встретимся. Но где и когда, я не запомнил. И дальше в моей памяти – провал. Я очнулся на своих нарах в банно-прачечном отряде, грязный, с разорванной гимнастеркой и болью во всем теле.

Оказывается я валялся на какой-то улице в центре Гродно и меня увидели случайно проходившие мимо два солдата из нашего отряда. Они вдвоем подняли меня и повели. Мимо проходил милиционер, и я вдруг полез к нему драться. Меня крепко держали, но я вырвался и ударил милиционера. На беду рядом оказался второй милиционер, и они в четыре руки отделали меня так, что я лежал уже без движения, а потом еще били ногами. Наши солдаты (которые всё это рассказали), ожидая со дня на день демобилизации, боялись связываться с милицией, но все-таки вежливо отняли меня и дотасили до родимых нар. Спасибо им, а то наверняка бы попал в комендатуру, и кто знает, какие наказания за этим бы последовали. И вышло, что накануне демобилизации я два дня, избитый, пролежал на своих нарах, не в силах подняться. Хорошо еще, что начальство смотрело сквозь пальцы, не желая и себе неприятностей.

Так я никогда больше и не увиделся с Гришей. Но вспоминал его часто и очень жалел, что не смог с ним больше встретиться. Он был моим настоящим другом.

## КАК Я ЧУДОМ НЕ ПОГИБ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Наверное, надо рассказать подробнее о том, что случилось со мной сразу же после окончания войны. Это возвращает к теме о судьбе человека. Я уже говорил, что в ней есть две составляющие: то, что зависит от тебя, и то, что не зависит. Часто обе эти составляющие то логично, а то причудливо взаимодействуют, сочетаются друг с другом. Но иногда с тобой происходит такое, что определяется лишь загадочным стечением обстоятельств. Может быть, и в таких случаях что-то зависит от меня самого, однако, наш ум бессилен найти здесь четкую связь. И если подобные события наступают друг за другом, несут тебе, казалось бы, верную гибель, но ты остаешься в живых, то здесь есть над чем задуматься. Впрочем, я не стану утомлять моих близких философскими рассуждениями на эту щепетильную тему и ограничусь изложением фактов.

Меня удивляло, что уже после войны смерть настырно охотилась за мной, и то, что я оставался жив, походило на чудо. Ведь обидно, глупо, чертовски несправедливо, пройдя огонь войны, случайно погибнуть в мирное время, как говорится, ни за понюх табака. На протяжении каких-нибудь двух месяцев таких случаев было около десятка. Расскажу о наиболее интересных.

В первые дни после окончания боев и празднования победы наша солдатская жизнь круто изменилась. Тишина, безделье, робкие, услужливые немцы, вызывающие жалость пожилые женщины, голодные дети, столпотворение на дорогах разноязычного гражданского люда, движущегося куда-то со своим скарбом. И удивительный для нас немецкий быт, немецкий порядок, гладкие асфальтированные дороги, белые дома хуторов под красной черепицей, ухоженные клумбы, дорожки, ряды декоративного кустарника, необыкновенная чистота.

Во время боев в Восточной Пруссии и позже в Германии я множество раз бывал в немецких домах, брошенных хозяевами, разгромленных, полусожженных квартирах, а иногда и в довольно сохранившихся, со всей обстановкой, даже с застеленной постелью. Поражало, как богато, по нашим понятиям, жили немцы. Тут

была другая, более высокая культура быта, но мое озлобленное, узкое сознание воспринимало это как результат награбленного. И мы варварски крушили зеркала и мебель, а иногда солдаты – чего греха таить – гадили прямо на роскошном столе. Разумеется, мы очень интересовались немецкими вещами, баловались трофеями. Но что можно унести в худом солдатском заплечном мешке, если опять в бой, опять ползком на брюхе, опять марш-броски. Я таскал с собой каких-то пару тряпок (матери надеялся привезти в подарок) и именной офицерский пистолет «Вальтер», снятый с убитого обер-лейтенанта (перед демобилизацией у меня его отобрали – кто-то доложил начальству, а солдату не положено; и к лучшему: я бы привез его в Мелитополь, а за хранения оружия тогда сажали и надолго).

В Восточной Пруссии я не встречал ни одного гражданского лица, одни пустые дома. Другое дело, городки и селения Германии, которые мы прошли в последние недели войны. Там уже почти не было ожесточенных боев, население не покидало своих жилищ, мы встречали обустроенный быт и могли видеть немецкий образ жизни, правда, при слабой мужской прослойке (одни старики, мальчишки). Прошло немного времени после победы и солдатское сердце начало постепенно отходить. Я хорошо помню, что испытывал жалость к побежденным, к несчастным, подавленным горем женщинам, давал хлеб ребятишкам. И такое отношение проявляло, пожалуй, большинство солдат. Но частыми были случаи насилия, мародерства. Сначала начальство смотрело на это сквозь пальцы, но через какое-то время последовал суровый приказ, и тех, кто попадался, ждало, как минимум, пять-десять лет лагерей.

Я уже упоминал, что примерно через месяц после окончания войны меня снова отправили в Восточную Пруссию, но в составе другой части. Шло переформирование войск в связи с передислокацией их на Дальний Восток. Я оказался в хозяйственном подразделении санитарного управления армии. Нас посадили на полторки и повезли. На второй день пути произошел первый случай из числа тех, о которых я хочу рассказать.

Я ехал в кузове первой машины. Впереди солдаты гнали большой гурт скота. Дорога спускалась в дефиле между двумя озерами, сужалась, стиснутая ими. Если стадо втянется в эту горловину, придется долго ждать. Шофер, стремясь проскочить раньше, съехал на обочину и нажал на газ. Но в этот момент на большой ско-

рости нас догнал «Студебеккер». Сильно накренившись, он обогнул нашу полторку и выскочил по обочине вперед на то место, где через секунду должны были оказаться мы. Раздался мощный взрыв. «Студебеккер» разметало на куски. Он нарвался на противотанковую мину. Потом уже по валяющемуся погону с осмметками окровавленной гимнастерки, мы определили, что в кабине ехал капитан. Наш шофер и сидевший с ним рядом лейтенант получили тяжелые ранения. Полторка потеряла управление и перевернулась. Один солдат погиб, многих покалечило, а я отделался легкими ушибами.

На третий или четвертый день мы прибыли в город Ликк – близко от границы Восточной Пруссии с Польшей. Почти все дома разбиты, людей нет, над развалинами странно возвышается нетронутая величественная кирха из красного кирпича. Мы расположились в помещении небольшой фабрики, делавшей когда-то шпильки и всякую бижутерию, точнее – в пристроенном к ее корпусу двухэтажном здании. Небольшая территория фабрики ограждена высоким кирпичным забором с железными воротами. Удобно организовать охрану. Начальство знало, что в окрестных лесах бродят недобитые эсэсовцы, что в поисках пропитания они нападают на мелкие части, расположенные недалеко от города (ограбили госпитальный склад, убив несколько человек, вырезали зенитную батарею). Но в самом городе они не появлялись.

Служба наша была необременительной. Приходилось два часа днем и два часа ночью стоять на посту, помогать повару, временами таскать какое-то барахло. Свободного времени сколько хочешь, дисциплина слабая, отлучайся куда угодно. Я бродил по городу, лазил по развалинам, забираясь в уцелевшие квартиры, в которых уже до меня побывали многие, так как ничего ценного там не осталось и бросались в глаза следы искателей трофеев. Я находил иногда забавные безделушки, с интересом листал иллюстрированные журналы, пытаюсь со своими жалкими познаниями в немецком проникнуть в смысл текстов.

Прошло дней пять. Стояли жаркие дни конца июня. Ночью я заступал на пост обычно с двух часов и до четырех, встречая рассвет. В ту памятную ночь дежурным по части был пожилой старший лейтенант, выполнявший и обязанности разводящего. Он долго тормошил меня, терпеливо ждал пока я спросясь одевался, натягивал сапоги, нашарил свой карабин (его мне выдали в новой

части вместо привычного автомата, и я относился к нему с презрением).

Наконец, мы вышли. Я плелся рядом со старшим лейтенантом, совсем еще сонный. Надо было пройти метров тридцать вдоль здания фабрики и завернуть за угол. Там, в проходе между двумя фабричными корпусами, у ворот, стоял часовой, которого я должен сменить. Мы уже подходили к углу, когда послышались какие-то неясные звуки. Старший лейтенант быстро выхватил пистолет, я же, пребывая в сонном состоянии, никак не среагировал и с карабином на плече повернул за угол. Прямо на меня надвигалась высокая фигура с автоматом наизготовку. Всё произошло за долю секунды. Грохнул выстрел. Немец начал заваливаться на бок. Я отпрянул за угол, чуть не сбив старшего лейтенанта. Он из-за угла стрелял в проем ворот. Наконец и я, сорвав с плеча карабин, стал палить в темноту. Услышав выстрелы, наши ребята повскакивали с оружием в одних подштаниках. Но немцы ушли, они не рассчитывали на открытый бой, хотели, видимо, добыть продовольствие. Им удалось тихо снять часового. Солдат, которого я должен был сменить, лежал у ворот, убитый ножом (начни немцы свою операцию чуть позже, на его месте лежал бы я).

Тут действовали специалисты. Ворота ведь были закрыты, и часовой обычно прохаживался в проходе между корпусами, подходя к воротам и удаляясь от них до угла здания. Тело часового лежало у самых ворот. По-видимому, на него прыгнули с кирпичного забора, когда он, повернувшись спиной к воротам, начал от них отходить. Убивший часового тихо приоткрыл одну половину ворот и впустил того высокого немца с автоматом, который теперь лежал, раскинув руки.

До рассвета я стоял на посту в компании солдат, напрасно приготовившихся к обороне, и десятки раз прокручивал в уме все мельчайшие детали происшедшего.

Вот уж повезло так повезло! Трудно самому поверить. Ведь немец был от меня в двух метрах, и он держал палец на спусковом крючке автомата. Старший лейтенант выходил из-за самого угла, а я – дальше и деваться мне было некуда. Решали доли секунды. Если бы немец не был поражен мгновенно, он успел бы по инерции нажать на спусковой крючок автомата, наставленного на меня почти в упор. И почему он не расслышал наших шагов? Мы шли по травке.

116

Мы причиняли много неприятностей соседям-полякам, выбирая рыбу из их сетей, поставленных в ближайшем озере, а потом, облагив, вообще снимали ночью сети и расставляли их в другом месте. Когда же к нам приходил польский поручик с просьбой вернуть сети, наш верховный главнокомандующий-старшина, маленький, худой, но с бешеным темпераментом, начинал возмущенно орать от такого оскорбления, бил кулаками в свою честную грудь и посылал бедного поручика куда подальше.

У меня был прекрасный трофейный велосипед с красными шинами. Я очень любил его, каждый день гонял на нем по дороге, шедшей из города в имение. Гладкий асфальт, по обе стороны вековые деревья, смыкающиеся сверху кронами. Катишь, как в зеленом туннеле.

И вот однажды старшина позвал меня и, махнув рукой в сторону ближайшего хутора, приказал поехать и продать велосипед. Я чуть не расплакался, просил, объяснял, что за него поляки дадут не большие четвертинки водки (такая установилась такса!), жалко, такой замечательный велосипед. Не дослушав, старшина взорвался и заорал, грозя набить морду и вообще уничтожить и расплыть и меня, и мою мать, и всех моих родственников. Что было делать? С острой душевной болью поехал я на хутор и, как ожидалось, выменял велосипед на четвертинку польского самогона, которую отдал старшине. Он и сержант тут же выпили ее, не закусывая.

– Гдэ дом, гдэ продавал? – сурово спросил старшина.

Я сказал. Он и сержант нацепили на рукава красные повязки (их носили обычно патрули военной комендатуры), вскинули на плечи автоматы и ушли. Не прошло и часа, как они вернулись с моим любимым велосипедом и литровой бутылкой самогона.

Существовал приказ, запрещающий скупку трофейного имущества. Как рассказал на потеху нам сержант, старшина войдя в дом, спросил, покупал ли хозяин у солдата велосипед с красными шинами. Тот, конечно, отрицал. Тогда старшина скомандовал сержанту провести обыск. Ну и конечно велосипед – не иголка, он стоял в сарае. Старшина приказал хозяйню собираться в комендатуру. А этого поляки очень боялись. Хозяин стал умолять старшину, жена упала на колени, заревели дети. В общем старшина смилостивился. Так, продав велосипед за четвертинку водки, его забрали с литром в придачу.

118

Когда рассвело, я внимательно разглядел убитого. Это был худющий, обросший черной щетиной эсэсовец. Пуля попала ему прямо в переносицу. Старший лейтенант, оказывается, подстрелил еще одного: за воротами виднелся кровавый след.

После этого случая прибыла специальная воинская часть НКВД, которая стала прочесывать окружающие леса, ей помогали отряды Войска Польского и скоро с недобитыми эсэсовцами было покончено.

Область Восточной Пруссии, прилегающую к городу Ликк, отдали Польше, и она стала быстро заполняться польскими переселенцами. Они занимали немецкие хутора со всеми хозяйственными постройками, располагались в добротных домах и готовились к уборке озимых хлебов, посеянных немцами. Правда, на первых порах им приходилось туго от советских солдат, рыскавших вокруг в поисках выпивки и трофеев.

Нашу часть вскоре сильно уесли и под командованием старшины-грузина перевели в полуразрушенное имение, километрах в десяти от города. Мы неплохо обосновались там. Вокруг – озера, речушки, леса, поля. Очень красивые места. Недалеко от нас стояла небольшая польская воинская часть. Мы относились к полякам, мягко выражаясь, недружелюбно. И они платили нам той же монетой. Не знаю, почему у наших солдат сложилась такая неприязнь к полякам, почему я, несмышленный юнец, целиком разделял эти чувства? Может быть оттого, что нам, воспитанным в комсомольской среде, был ненавистен дух торгашества, когда первый встречный сразу предлагает тебе что-либо кушать или продать. В памяти – базарная сутолока на улицах Вильнюса, выкрики лоточников «Запалки! Дрожжи! Запалки! Дрожжи!» (спички, дрожжи) и первый, главный, сокровенный вопрос, который мне задавали «Може пан ма цо спшедать?» (Может пан имеет что-нибудь к продаже?). Однажды в каком-то польском селе в ответ на такой вопрос я предложил купить мой автомат. По глазам я видел, что мой покупатель не прочь совершить сделку, но, поняв, что я издеваюсь над ним, поспешно залопотал: «О, то не можно, то не можно». Я его выругал матом и, наставив автомат, сказал, чтобы он поскорей смыкался.

Вот такие мы были гордые и угловатые. А до торгашеского духа нам еще оставалось полвека.

117

По приказу начальства я продавал этот велосипед четыре раза. Забирали его с тем же результатом. На пятый раз, несмотря на то, что я ездил уже в дальние хутора и объяснял, что меня отправляют в Россию и жалко бросать, никто велосипед не брал.

– Не, не, не, то не можно. – Видимо, дошла информация. Гораздо более впечатляющий номер учудили солдаты из одной части, стоявшей в городе Ликк. Они запрягли в телегу лошадь, взяли землемер (сбитые под прямым углом, заостренные снизу шесты с рукояткой сверху; расстояние между концами шестов составляло сажень или, кажется, два метра; поворачивая на ходу рукоятку, отмеряют определенную длину). Приехав в заселенный поляками крупный хутор, они на виду у всех привязывают к дереву лошадь и начинают обмеривать землю. Один шагает с землемером, другой записывает что-то на бумажке. Поляки смотрят из окон. Потом один выходит и спрашивает:

– Цо пан бэнди робить? (Что пан собирается делать?).

– Колхозы, папаша, будем устраивать. С завтрашнего дня.

Для поляков это была ужасная новость. И они решили откупиться от колхозов. В итоге солдаты вернулись в свою часть с полным возом дани. Попировали они, а назавтра приехали смершевцы и арестовали их. Схлопотали, бедняги, по десять лет лагерей. Не повезло!

Спустя лет тридцать, когда я жил уже в Москве и у меня появилось немало друзей-поляков, я рассказывал им эти истории. Они смеялись, я каялся.

С польской воинской частью мы все-таки наладили приятельские отношения, вернули сети. Не помню, как это вышло, но без совместной крупной выпивки не обошлось. К тому же выяснилось, что старшина и поручик в сорок четвертом году воевали где-то рядом под Варшавой. Старшина не знал середины: если враг, то враг, а если друг, то друг. Он щедро отдавал поручику всякое воинское имущество, напоследок отдал даже походную кухню. Поляки же в знак вечной дружбы подарили нам лодку.

Многочисленные озера вокруг соединились протоками, на лодке мы переплывали из одного в другое. Сети нам были уже ни к чему, мы варварски глушили рыбу толовыми шашками. Надо поджечь фитиль и бросить шашку подальше от лодки. Изнутри озера бухало и вздымался бугор вспененной воды. А вскоре начинала

119

всплывать оглушенная рыба. Часто ее скапливалось столько, что мы выбирали лишь самую крупную.

Но иногда рыбу глушили гранатами. Во время такого занятия со мной приключился очередной удивительный случай. Я сидел на берегу озера с одним солдатом, сняв сапоги и опустив ноги в воду, грелся на солнышке, когда подошел третий, с гранатой в руке. Мы поднялись, приготовились лезть в воду за рыбой. Получилось так, что я оказался слева от солдата с гранатой, а мой спутник – справа. Обладатель гранаты долго не мог вставить в нее запал: видимо, отверстие, в которое вставляется запал, проржавело – гранату он где-то подобрал, такого добра, валявшегося вокруг со времен осенних боев, было сколько угодно. Матерясь, солдат вихивал запал, не доходящий до конца. Я уже собирался сказать: мол, поосторожнее. И тут раздался взрыв. Меня сильно оглушило и отбросило. Солдату с гранатой оторвало руки, искромсало лицо и грудь (но он остался жив), а стоящего справа разорвало в клочья. Я находился не более, чем в полутора метрах от разорвавшейся гранаты и даже не был серьезно ранен, так – царапины и легкая контузия. Вот какие бывают чудеса!

Недели через две после этого случая поступил приказ о переезде в город Гродно. В нашей части оставалось человек тридцать. Мы погрузились в две автомашины и готовились тронуться в путь. До Гродно около двухсот километров, предстояла дорога через знаменитые Августовские леса. Я уже устроился в первой машине, у борта, чтобы хорошо всё видеть, как вдруг старшина, проходивший мимо, приказал мне слезть, пойти в помещение и принести два матраса (много такого добра он оставил полякам). Старшина питал ко мне странное пристрастие. Не то чтобы любил или не любил, а как-то держал меня почти все время в поле зрения: иди сюда, сбегай туда, отнеси то, принеси это; вдруг наорет ни с того ни с сего, а то нальет от себя пол стакана водки и даст пачку американских сигарет или банку тушенки. Вот и сейчас: сколько солдат сидело в машине, а выдернул меня. Я расстроился, выругал его про себя, теперь мое удобное место наверняка займут.

Принес я матрасы, место мое, конечно, заняли, я пытался его отбить, но тут появился старшина и приказал мне ехать во второй машине (вместе с начальством, что не очень-то воодушевляло; как гласила солдатская поговорка, «Держись подальше от начальства, поближе к кухне»). Мне скинули мой вещмешок и карабин.

120

Скоро я перестал жалеть о перемене места. Людей в машине гораздо меньше, полно матрасов, ехать мягко, можно даже прилечь.

Обе машины долго держались вместе. Мы проехали примерно полдороги, начался сплошной лес. Остановились перекусить. Для старшины трапеза – дело священное. К тому же закуска в нашей машине, где ехали приближенные к начальству, сильно отличалась от обычных солдатских харчей. Поэтому через какое-то время старшина махнул шоферу первой машины: поезжай, мол, догоним. Он был в благодушном расположении духа, произносил тосты, трапеза наша длилась наверное еще с полчаса. Мы изрядно выпили. Друзья-поляки, оказывается, хорошо снабдили старшину на дорогу.

Вскоре после того, как мы тронулись дальше, забарахлил мотор. Шофер чинил его не меньше часа. Приняв недавно по стакану водки, мы валялись в траве, дремали. Наконец, опять поехали. Растянувшись на матрасе, я заснул. Проснулся от шума, кто-то толкал меня ногой, солдаты выскакивали из машины. Продрав глаза, я увидел жуткую картину. На обочине стоял полуобгоревший, еще дымившийся наш первый грузовик, вокруг лежали убитые, многие были расстреляны прямо в кузове. Я увидел и того паренька, который занял мое удобное место и не хотел его уступать. Он сидел на нем, накренившись, свесив голову за борт, весь окровавленный. Видно было, что некоторых из тех, кто лежал на земле, добивали штыком.

Ехавшие в первой машине погибли все до единого. Их застигли врасплох, устроив засаду. Убийцы забрали все оружие и боеприпасы. Это было дело рук польских партизан из Армии Крайовой, которые начали активно действовать против Советской армии. Подобные случаи стали происходить часто. Но вскоре, как нам рассказывали, прибыла дивизия НКВД, она окружила леса и навела порядок.

По дороге в Гродно пришлось дважды пересекать границу Польши. Переезд границы между Восточной Пруссией и Польшей оставил сильное впечатление. До границы с Польшей – асфальтированная дорога, обсаженная высокими деревьями, вдоль дороги белые дома под красной черепицей. Несмотря на следы жестоких боев, аккуратные съезды и развилки, зеленые газоны, цветы. Но вот граница. Шлагбаум. Он отсекает асфальт, деревья, цветы, немецкий порядок. Начинается проселок с глубокими колдобинами и

121

колеями, грязь, ветхие домишки под черными соломенными крышами, разбросанные то там, то сям, нищие поля. Другая жизнь. Другой мир!

Наша сильно поредевшая часть добралась до Гродно. Старшина сразу куда-то исчез, ходили слухи, что его привлекли к ответственности за гибель половины отряда. Как я уже говорил, мы влились в ряды славного банно-прачечного отряда. Но от него осталось лишь одно название. Да и всё это было теперь неважно. Со дня на день мы ждали демобилизации. Трудно верилось, что вот тебя отпустят, и поезжай, куда душе угодно, хочешь – прямо домой, в Мелитополь. Солдат суеверен, не слезит бы. Но я все же выменял за немецкий кортик сбитый из фанеры чемодан, покрашенный серой масляной краской, сложил в него свои пожитки и, как говорится, сидел на чемодане.

А через неделю я уже ехал домой. Железные дороги забиты демобилизованными, тысячи и тысячи людей в военной форме рвались скорее в родные места. По тем временам путь из Гродно в Мелитополь был очень далеким, множество пересадок, вагоны утрабованы до отказа. Приходилось с моим объемистым фанерным чемоданом ехать на подножках или стоя в тамбуре, а чаще всего – на крыше вагона. Наверное треть пути я проехал на крыше. Где-то недалеко от станции Бахмач, крепко уснув, я чуть не свалился с крыши. Меня подхватил у самого края сержант с тремя орденами Славы на груди. До сих пор хорошо помню его лицо. Он ругал меня матом, поскрекивая золотым зубом, и крепко держал за ремень. Поезд шел на большой скорости, вагон болтало, внизу глубокий откос. Если загреметь туда на полном ходу, вряд ли останешься жив. Потом мы еще долго ехали вместе с моим спасителем, ему надо было на Ростов. Он здорово мне помог, перед ним расступались. Три ордена Славы – большая редкость, даром их не давали. Всю войну – в разведке.

Путешествие домой длилось добрых полмесяца. И вот, наконец, станция Федоровка, до Мелитополя минут двадцать. Сердце мое сжалось, шутка ли, не видеть почти два года мать, сестричку, брата, не видеть больше трех лет отца. После войны вернуться домой!

122

## МЕЛИТОПОЛЬ

И вот, наконец, станция Мелитополь. Полуразрушенный вокзал. Чувство нереальности свершившегося возвращения. От вокзала до нашего дома – три километра, далеко тащить чемодан. Я нанял такси того времени – такку. Пожилой «таксист» впрягся в нее, и чемодан поехал. Я шел рядом. Несмотря на то, что в городе шли жестокие уличные бои, он не выглядел сильно разрушенным. Много, правда, уже успели расчистить, подлатать, а то и восстановить. Я знал из писем, что наш дом сохранился, а вот все остальные Дубровские остались без крыши над головой.

Помню, приехал я в воскресенье под вечер. Меня не ждали еще, но все были дома. Трудно передать радость встречи. Мать долго не могла разомкнуть объятий, и ее слезы текли по моему лицу. Отец вернулся еще месяц тому назад и начал работать в парикмахерской, которую постепенно обустроивал. В честь моего приезда где-то достали и разрезали огромный арбуз. Так я навсегда и запомнил день возвращения домой: под деревом на вкопанном в землю столе – огромный красный арбуз и вокруг него вся наша семья.

Пришли соседи поздравлять с возвращением. Но не все. Еврейские семьи, не сумевшие эвакуироваться, до единого человека были расстреляны, в их числе и мой довоенный дружок Мося Блиц, добрый, симпатичный малый из очень бедной многодетной семьи. Мы с ним и его братом работали на детской железной дороге в службе пути, вместе ходили на дежурства, а однажды забрались в глубину парка и, затаившись в кустах, пытались закурить, но закашлялись и бросили эту затею. Мося расстреляли в начале 1942-го, ему еще не было четырнадцати лет.

Многие соседи уже вернулись из эвакуации, но почти у всех погибли сыновья или мужья. Когда после войны приходилось часто слышать, что евреи не воевали, окопались в Ташкенте, я вспоминал наш Мелитополь. До войны мы не знали антисемитизма, очень дружно жили с соседями – русскими и украинцами, вместе делили радости и горе. Лучшие друзья отца и матери – украинец Мороз, живший в пригородном селе Константиновка, сосед Шаповалов, тетя Маруся, носившая нам домой молоко. Когда у нее слу-

123

чился пожар, мать отдавала ей последнее. И многие годы тетя Маруся была своим человеком в нашем доме. У меня тоже большинство друзей в школе и на детской железной дороге были русские и украинские ребята, мы не различали человека по национальности. Поэтому смешанные браки стали обычным явлением, и дух консерватизма сохранялся лишь у части пожилых верующих евреев, не имевших уже почти никакого влияния на молодежь. Кумирами мелитопольской молодежи являлись многие еврейские ребята – круглые отличники, победители олимпиад, комсомольские заводилы, веселые, энергичные. Они занимали самые ответственные посты на детской железной дороге. Арон Закс – начальник служб пути, Абраша Бродский – начальник службы движения, а его брат – лучший машинист детской железной дороги, наездивший в свои пятнадцать лет тысячи километров на паровозе большой железной дороги. Гриша Кауфман, Лазик Сидельский, Сеня Блиц. Когда началась война, они окончили десятый или девятый классы и сразу, как истинные патриоты, добровольно ушли защищать Родину. Все они сложили свои головы еще в 41-ом и в 42-ом году. Погибли все до единого! Вот, что я вспоминаю, когда слышу, что евреи сидели в Ташкенте.

И я вспоминаю их несчастных матерей с выплаканными глазами, согбенных горем. Многие из них хорошо знали меня и, встречая на улице в первые дни после возвращения, обнимали меня какими-то одеревенелыми руками, повторяя «Слава Богу! Слава Богу!», и потом со слезами тихо произносили: «А Лазик не вернулся», «а Гриша не вернулся».

Я пишу об этом столь подробно потому, что всю жизнь (и по сей день) слышу от разных людей (в том числе и от весьма добропорядочных), что евреи в основном, конечно, сидели в тылу. Никакие факты не способны их переубедить. Даже ссылка на недавно опубликованные официальные данные: на фронтах Великой Отечественной войны находилось 501 тысяча евреев, погибло – 360 тысяч. Этот феномен массового сознания, конечно, нетрудно объяснить, но что толку от объяснений, если они не способны избавить от острейшего чувства несправедливости.

На следующий день я отправился в горком комсомола становиться на учет. Меня приняла сама первый секретарь Клавдия Филипповна Руденко – высокая, очень прилично одетая женщина лет под тридцать, с вьющимися светлыми волосами, властным голо-

сом. Весь ее вид – крутой, слегка раздвоенный подбородок, резкие жесты, холодный решительный взгляд – сразу создавал образ матери-командирши, которая отдает приказы, а твое дело быстрее исполнять их. Посмотрев документы и кратко выяснив мою биографию, она сказала:

– Пойдешь секретарем комитета на АТРЗ. Там комсомольская работа завалена, будешь поднимать.

Еще она сказала, что договорится с директором, чтобы меня числили на какую-нибудь должность для получения зарплаты, а заниматься я буду только комсомольскими делами. Там числится секретарем комитета одна девица из бухгалтерии, которая ничего не делает. Чтобы завтра я принял у нее дела. Всё!

АТРЗ – сокращенное название автотрактороремонтного завода. Он делал запчасти для тракторов, автомашин и сельскохозяйственной техники. Завод сравнительно небольшой, человек триста рабочих, большинство – молодежь.

На следующее утро я был уже на заводе. Директор оформил меня заведующим инструментальной кладовой (выдававшей рабочим резцы, сверла, плашки для нарезки резьбы и т.д., то, что им необходимо для выполнения смежного задания). Он сказал, что там без меня обойдутся, наводи, мол, порядок в комсомоле.

В списке комсомольской организации числилось больше ста человек. С инструктором горкома, бесцветной, сонливой девицей, я попытался создать комсомольское собрание. Пришло чуть больше десятка человек – девочки из техотдела, секретарша директора и только один рабочий, в замасленных рваных штанах. Протянув мне грязную, плохо обтертую паклей руку, он представился: «Вовка Франкфурт». Собрание пришлось отменить. Поговорив с Вовкой, я понял, что тут надо все начинать с нуля. Заводской комсомол оказался совсем не тот, который помнился мне по городу Маркс. Я стал ходить по цехам, знакомиться. Кое-где числились комсорги, но никто ничего не делал. На мой вопрос «Почему?» они дружно отвечали «А на хрена?»

Человек тридцать ребят жили в общежитии. Это были те, у кого погибли родители. Бездомных, их подобрали ремесленные училища и после года обучения распределили по заводам (слесари, токари, фрезеровщики и т.д.). Они имели рабочие хлебные карточки, раз в день ели в заводской столовой и получали жалкие гроши, на которые ничего не купишь. В ремесленном училище им выдали

форменную одежду, которую они теперь донашивали. В общежитии передо мной открылась тяжкая картина. Грязные, оборванные, голодные мальчишки и девочки от тринадцати до шестнадцати лет. На кроватях какая-то замусоленная мешковина, окна во многих местах забиты досками, крыша протекает. В комнате девочек, правда, гораздо чище, но еще тягостнее от бледных, измученных лиц, от замкнутости, показного нежелания общаться со мной. Что делать?

Я пошел к директору, стал просить, чтобы подремонтировали общежитие, приобрели хотя бы постельное белье. Он отвечал мне жестко, грубо. Ему надо план выполнять, а не разводить со мной тары-бары, поставили тебя на комсомол, вот и занимайся, а ему сейчас некогда, вызывают в горком. Секретарем партбюро завода был главный инженер – дружок директора. И он отмахнулся от меня. Директору и секретарю партбюро я брякнул что-то грубое, не хватило выдержки. Так у меня сразу же испортились отношения с начальством. А оно, пересекаясь в горкоме партии с Клавой Руденко, не преминуло высказать обо мне свое мнение. И при первой же встрече Клава командным тоном стала мне выговаривать, что я вместо работы занимаюсь болтовней и подрываю авторитет директора. Мои возражения она не стала слушать, резко повернулась и ушла.

В общем настроение – хуже не придумаешь. Я продолжал ходить по цехам, пытался знакомиться с рабочими. Но как познакомиться? Человек стоит за станком, он работает, отвлекать его неудобно. Во время перерыва все спешат в столовую и думают только о том, как бы поесть. После конца смены – мигом улечиваются по домам. Между нами – стена. Никому не интересно со мной разговаривать. Ходит тут какой-то чистюля, агитирует за советскую власть. Я приходил на завод в добротном военном обмундировании, в начищенных сапогах, и уже это противопоставляло меня рабочей массе, делало чем-то чужеродным. Все знали, что я – фронтвик, но это не имело никакого значения. После недели такой «работы» у меня набралось только двое сочувствующих, настроенных помочь: Вовка Франкфурт и его друг, фрезеровщик Колька. Когда я пожаловался им, что никто не хочет вместе со мной налаживать комсомольскую работу, Вовка сказал:

– Ну, ходишь ты, как фразер.

Я не знал, что делать. Ведь фактически я был на заводе никем.

Чтобы стать секретарем комитета комсомола, надо хотя бы формально быть избранным на собрании в комитет. Вторая попытка провести собрание окончилась с тем же результатом. Как мне приказала Клава, я принял «дела» – жухлую тетрадку со списком комсомольцев и какими-то справками по членским взносам, которые давно уже не собирались. Но что толку? В инструментальной кладовой, где числился заведующим, я тоже был чужеродным телом. Во мне нарастало чувство никчемности, бессилия, сменявшееся вдруг волной злости, готовностью послать всех к такой-то матери и уйти с завода. Но я сознавал: это не выход, сам себе потом не прощу, что так просто сдался. И решение пришло внезапно. Стану за станок, буду работать токарем, хоть почувствую себя человеком. А там посмотрим...

С просьбой перевести меня на станок я пошел не к директору, а к главному инженеру. В отличие от директора, здоровогоного борова, прокантовавшегося всю войну в тылу каким-то мелким заводским начальником, главный инженер понюхал пороху и после тяжелого ранения в ногу был демобилизован, ходил сильно хромя. Узнав, что я работал токарем, он без лишних слов написал записку начальнику инструментального цеха, а тот сразу определил мне токарный станок – допотопный гроб, стоявший тут, наверное, с дореволюционных времен.

До поздней ночи мать мастерила мне из старья рабочую одежду и наутро, получив от мастера задание, я встал за станок. Теперь главное – не ударить в грязь лицом. Ведь многое я подзабыл, да и работа совсем другая, пожалуй, более сложная. Мой дореволюционный гроб сильно тарыхтел и повизгивал, но исправно тянул ляжку. Мастер, тоже фронтвик, воевавший, как выяснилось, под Витебском в соседней армии, отнесся ко мне по-доброму, понимал, что человеку надо приспособиться, помогал советом. К обеду дело помаленьку пошло, настроение приподнялось. А что?! Теперь я такой же работяга и видал вас всех. И директора, и Клаву, и вашу инструментальную кладовую, и секретарство тоже.

Надо ли говорить, что ко мне сразу изменилось отношение рабочей братвы. Скоро я стал среди нее своим парнем. Клава, узнав о моем переходе в рабочий класс, вызвала в горком, наорала вначале, грозила выговором за самовольство, но потом смягчилась и стала отчитывать уже ровным голосом за то, что не могу никак

провести комсомольское собрание. Впрочем, и эта проблема неожиданно для меня разрешилась. Через пару дней на заводе появился заведующий орготделом горкома комсомола, демобилизованный офицер, командовавший на фронте ротой. Он вначале зашел к директору, а потом ко мне. Заставил выключить станок и объявил, что собрание будет сегодня во время обеденного перерыва. Продумал ли я, кого выбирать в комитет? До перерыва оставалось минут тридцать. Я побежал в механический цех к Вовке за советом, и кроме его, Кольки и меня мы записали еще четыре фамилии.

В приказном порядке начальники цехов согнали в помещение механического цеха всю молодежь, не разбирая, кто комсомолец. Заворг горкома выступал коротко: прежний комитет всю работу завалил, надо выбрать новый, есть предложение избрать семь человек, фамилии следующие. Кто за? Кто против? Единогласно. Собрание закрыто, давай на обед. Нас, семерых, он отвел в угол и сказал: проводим первое заседание комитета. Горком предлагает избрать секретарем Дубровского. Кто за? Кто против? Единогласно. Пришлите в горком протокол. Начинайте работать. И, пожав всем руки, ушел. Теперь я стал законным секретарем комитета. С чего начинать?

Распределили обязанности. Вовка стал моим заместителем, один член комитета – ответственным за производство и соцсоревнование, другой за бытсектор, третий за культмассовый сектор, четвертый за стенгазету, девица из теходела – за членские взносы. Следовало еще выбрать комсorghов в цехах и отделах, но с этим мы решили подождать. Надо вначале сделать что-то реальное, полезное, чтобы все увидели: комсомол чего-то стоит.

У меня из головы не выходило общежитие. Как, чем помочь? Мы с Вовкой и Колькой судили-рядили, но ничего путного не могли придумать. Создать художественную самостоятельность?

Выпустить стенгазету? Организовать воскресник в общежитии? Все это надо, конечно, но с этим далеко не уедешь. Нужно дело, способное расшевелить, заинтересовать ребят. И мы его нашли.

По совету Вовки Франкфурта в комитет избрали Мишу Кашубу. Это был коренастый парень, токарь из механического цеха, всегда перевыполнявший норму, «передовик производства». Он выделялся аккуратностью своей рабочей одежды, за станком стоял в фартуке, около станка чистота и порядок. Сразу видно – доброт-

ный парень. Жил он в пригородном селе Константиновка, но никогда не опаздывал на работу. От него и пошла новая идея. Миша рассказал как-то, что километрах в четырех от Константиновки лежит сбитый во время войны немецкий самолет. Остальное придумали Вовка и Колька. Самолет – это же алюминий! Отобьем крыло. В литейном цехе у нас кореша. Сколько можно наделать мисок и ложек! Загоним их на базаре и купим ребятам из общежития ботинки и штаны.

Я осторожно поговорил с главным инженером, не раскрывая карты. Зима не за горами, а ребята голые и босые. В чем ходить на работу? Нельзя ли нам в нерабочее время кое-что сделать, металл найдем. Он испугался, замахал руками, стал повторять, что не хочет из-за нас садиться в тюрьму. Ясно, что нам оставался путь подпольщика.

В первое же воскресенье Вовка съездил на разведку. Вернулся с горящими глазами: лежит самолет, кажется «Хейнкель», нос в болоте, здоровенные крылья, то, что надо. Я передал ему разговор с главным инженером.

– А ты думал! – воскликнул Вовка. – Не дрейфь! Сварганим все тихо – и обложил матом главного инженера.

После работы собрали комитет прямо во дворе завода на скамейке. Другого места у нас пока не было. Стали обсуждать один вопрос. Все горячо поддержали Вовку. Надо спешить. Осень. Скоро слякоть, развезет дороги. Но как отбить крыло и разделить его? Где достать трактор, чтобы привезти? Как все это перебросить на территорию завода и спрятать? Кто делает формы для отливки и кто согласится работать после смены? И как все обстряпать, по выражению Кольки, «без шухера»? А кто будет продавать миски и ложки? Куча проблем!

Но лиха беда начало. На следующий день Миша Кашуба сделал зубило в виде колуна. К нему приварили железную рукоятку. Получилось нечто вроде топора. За рукоятку держали, а по обуху били кувалдой – так отбивали крыло, а потом разрубали его на куски. И трактор достали за поллитра. Темной ночью перебросили все через забор и схоронили в литейном цехе.

Завод работал в две смены. После двух часов ночи в цехах всё замирало. Но не так-то просто было потом «без шухера» отливать миски и ложки, паковать их в мешки и перекладывать через забор. Главными организаторами этой многоступенчатой операции были

Вовка и Колька. Сколько раз, отпахав свою дневную или ночную смену, они тайком проникали на завод после двух ночи и вместе со своими друзьями двигали дело. Конечно, и я не стоял в стороне, много раз лазил ночью через забор. Но все нити держал в руках Вовка, он воодушевил литейщиков, мастер литейного цеха кое-что получал за свои труды и хлопоты, а остальные работали по очереди бескорыстно.

Вовка жил рядом с заводом вдвоем с матерью, отец погиб на фронте, а всех родственников, оставшихся в Мелитополе, расстреляли немцы. Они ютились в каморке, в которой не помещался даже стол, его заменяло нечто наподобие ящика, покрытого клеенкой. Сюда сносились готовая продукция, а мать Вовки тайком ее продавала (ведь открыто на рынке продавать такой дефицит, как миски и ложки, неизвестно где изготовленные, категорически запрещалось; если бы милиция поймала, то сразу посадили бы лет на пять). Появились деньги. Вовка скрупулезно отчитывался за каждую копейку. На комитете мы решали, кому что купить: ботинки, штаны, рубашку или ватник. Покупать было просто – на толкучке.

Мы вошли во вкус и решили отбить второе крыло. Но не тут-то было. Самолет исчез. Миша узнал, что вскоре после того, как мы утащили крыло, появилась милиция, пыталась выяснить, кто это сделал, а потом самолет расчленили и увезли якобы в Запорожье.

Но мы решили многие проблемы. Братва из общежития имела большой авторитет. Почувствовав на себе такую заботу комсомола, она стала здорово помогать во всех делах. И самостоятельность мы организовали, один парень, оказывается, замечательно играл на аккордеоне. И членские взносы стали собирать, и газету выпустили. Я добился помещения для комитета комсомола, правда, только благодаря Клаве, которая насаждала на директора. У нас появилась своя комната. В ней стоял стол и три большие скамейки, сбитые собственноручно. Там мы проводили теперь заседания комитета, репетиции самостоятельности. До сих пор не пойму, как операция с мисками и ложками прошла без последствий. Ведь в ней участвовало более двадцати человек. И никто не выдал, не проболтался. Кое-какие слухи, конечно, ходили. И Клава временами смотрела на меня подозрительно и даже с каким-то интересом. Раньше этого не было и в помине, в ее отрешенном взгляде я пребывал незначительным, как муха. Мы знали, что она постоянно вращается в высших кругах партийного начальства. И когда Клава

сниходила до нашего брата, это мало ее воодушевляло. Но ничего не скажешь, рука у нее была твердая и дело свое она знала. Скоро ее забрали на повышение, говорили в обком. Она уехала из Мелитополя. Но удивительно, что пути наши скоро опять пересекутся, правда, далеко от Мелитополя.

Первым секретарем горкома комсомола стал Вася Васютин, один из тех, кого я до войны хорошо знал по детской железной дороге. Он был намного старше меня (лет на пять), и из всей молодежной среды своего возраста, пожалуй, единственный остался в живых. Вернулся с фронта без ноги, ходил на костылях. Клаву называли по имени и отчеству, никакой фамильярности и демократии она не допускала, а нового первого секретаря мы звали по имени, с ним было легче и проще. Но со времен войны комсомольское начальство сильно изменилось, горком – типичная бюрократическая организация, четкое отношение высшего и низшего: всяк сверчок знай свой шесток.

Еще в сентябре я поступил в вечернюю школу рабочей молодежи (так она называлась) сразу в седьмой класс. До войны я окончил только пять классов, надо наверстывать упущенное. С утра до вечера на заводе, вечером – в школу, а после школы частенько – снова на завод. Конечно, приходилось пропускать занятия, но уроки я старался выполнять во что бы то ни стало.

С нами после возвращения из эвакуации жили более полугодом родственники, то одни Дубровские, то другие, пока не нашли себе пристанище. В нашем доме родился и провел первый месяц жизни двоюродный брат Вова. Он дико орал по ночам. Спал я в то время на полу. Чтобы делать уроки, надо было проявлять большую изобретательность. Но мы не унывали, жили дружно и когда родственники ушли, помню еще долго оставалось ощущение какой-то пустоты, хотя спал я теперь на кровати и мог спокойно на кухне выполнять уроки.

На заводе комсомольские дела пошли в гору. Несмотря на холодную и голодную зиму, заводская художественная самостоятельность гремела в городе. Мы выступали на сцене городского клуба, в большом зале сохранившегося Дворца пионеров. И тут произошли события, ярко запечатлевшиеся в моей памяти.

В Мелитополе была своя знаменитая Красная Горка. Так называлась одна из его окраин, расположенная на возвышениях, разделенных глубокими оврагами. Дома стояли там негусто, утопая

летом в роскошных садах. Ходить туда чужакам не рекомендовалось. Красная Горка славилась своей круговой порукой, темными делами, потаенной блатной жизнью; самые знаменитые хулиганы и бандиты были оттуда. Красногорская шпана владычествовала в центре города. И вот во время выступления нашей самодеятельности во Дворце пионеров человек десять пацанов в задних рядах начали срывать концерт – свистели, ругались, топали ногами. Я сразу понял, что это красногорские, и послал к ним на переговоры Кольку. Но они не унимались. Пришлось их вышвырнуть из зала, прервав на некоторое время концерт. Другого выхода не было. Но это означало войну с Красной Горкой.

Военные действия начались уже на следующий день. Недалеко от завода подстерегли и сильно избили Кольку и Вовку, а вечером еще нескольких заводских ребят. Противник использовал численное преимущество. Выследив жертву, шпана набрасывалась на нее, как волчья стая. Я не успел еще хорошо осмыслить масштабы бедствия, как сам попал в ловушку.

В те дни в Мелитополе шел сногсшибательный фильм «Девушка моей мечты». Его успели многие посмотреть по несколько раз. И я легкомысленно решил, что надо, наконец, и мне сходить в кино, а то пропущу эту «Девушку», а о ней все говорят. Кинотеатр «Красный факел», где шла картина, имел большой вестибюль, в конце его квадратное окошко кассы, направо вход в зрительный зал. Я успевал на последний сеанс. У кассы небольшая очередь. Я подошел к ней и вдруг спиной почувствовал опасность. Обернулся. Ко мне приближалось пятеро, огляив с трех сторон. Я быстро отошел к стене, чтобы прикрыть спину. И они молча сразу напали. Вначале им было тесновато бить меня пятером, и одного я хорошо достал ногой, он выбыл. Но остальные наносили мне сильные удары, кровь текла по лицу, и я собирал все силы, чтобы не упасть. Это совсем плохо – будут колошматить ногами. Несколько человек, пришедших на киносеанс, молча смотрели. Никто не собирался вмешиваться. Идти на прорыв поздно, сил уже нет. Я держался, сколько мог. Сбитый с ног, я упал, стараясь прижаться спиной к стене и, обхватив голову руками, сжаться. Опыта у меня хватало. Начался последний этап, главное – выжить. Несколько ударов ногами. И всё!

Меня спас милиционер, случайно зашедший в вестибюль кинотеатра, а, может быть, кем-то вызванный. Увидев его, красно-

горцы, конечно, удрали. Он помог мне подняться, подал шапку. Опираясь на него (тоже бывший фронтовик) я добрался домой – с разбитым лицом, окровавленной шинелью. Она, кстати, сильно помогла, так как смягчала удары.

Утром я еле поднялся, каждое движение доставляло боль. Посмотрев на свое расквашенное лицо в зеркало, я упал духом. Идти с такой физиономией на завод – позор, а если не пойдешь... Что скажут? Расползутся слухи, что до смерти избили. Красногорцы обрадуются, заводских будут лупить дальше. Долго я колебался и, наконец, решил. Пойду! Черт с ним! Кому не нравится моя морда, пусть не смотрит. А на вопросы, кто меня так разукрасил, отвечу по правде.

Еле выстояв смену, пошел в комитет комсомола. Там уже бушевали страсти и накурено, хоть вешай топор. Основные ораторы разукрасены не хуже меня, под глазом у Вовки огромный припухший синяк, Кольке выбили зуб, досталось и другим. Глаза сверкали жаждой мести, строились планы жестокого отмщения. Я был против, понимая мрачность перспективы развития военных действий. Но все набросились на меня и было ясно, что их не удержать. Лучше придать этому организованный характер. Я сладся и призвал к хладнокровной разработке военной операции.

Мы придумали такой план. Отобрать двадцать пять человек, разбить их на две группы, назначить командиров каждой из них. Красногорская шпана тусуется обычно вечером около Дворца пионеров и кинотеатра. Первая наша группа незаметно занимает позиции в саду около Дворца пионеров, вторая на другой стороне улицы в подворотнях. В восемь часов вечера всегда раздавался гудок завода имени Микояна, хорошо слышный в центре города. Это – сигнал к атаке. Первая группа в составе пятнадцати человек быстро выходит из укрытий и окружает красногорцев плотным кольцом – их там чаще всего бывает около десятка. Посеяв среди них панику, приступает к делу. Они будут прорываться, но никого не выпускать, кроме одного. Он помчится за подмогой к кинотеатру. Подмога, скорее всего будет около десятка, прибежит минуты через три-четыре. К этому времени первая партия красногорцев должна быть сильно избита и деморализована. Когда подбежит подмога, надо минуту выждать, чтобы успели прибежать все, призванные на помощь. Затем из подворотен выскакивает наша вторая группа, грамотно окружает вновь прибывших. Часть из первой группы по-

ворачивается к ним и с двух сторон подкрепление учиняется полный разгром. Никаких ножей, заточек и прочих железок! Кое-кому из ребят разрешается иметь короткие толстые палки на случай, если вдруг красногорцев окажется слишком много или кто-то из них попытается пустить в ход нож. Такого избить на двести процентов.

Намеченный план был в основном выполнен. Мы показали красногорской шпане, что значит организация, что такое стратегия и тактика. Правда, многие из наших не вытерпели и пустили в ход палки сразу, что сильно увеличило потери противника. Я командовал второй группой и охлаживал своих солдат, еле удалось добиться отбоя, когда уже наступил полный разгром противника. Некоторых, лежавших в растаявшем снегу, в грязи, продолжали лупить ногами. Более двадцати красногорцев были основательно избиты.

Мы отомстили, заводской народ ликовал, мой авторитет, я чувствовал, сильно вырос. Но на душе лежала тяжесть. А что будет завтра? Ведь дело обязательно дойдет и до ножей. Вместо работы – война. Опять война, чёрт бы ее побрал. Надо думать о безопасности, ходить только вдвоем или втроем, вооружиться, разгадывать партизанские уловки противника. Нет, так не годится. К тому же скоро новости дойдут до горькома и кашу придется расхлебывать мне, могут и из комсомола выгнать.

Мысль моя упорно работала. Нужно искать мир, вступать в переговоры. И ведь странно, как это мне раньше не пришло в голову. В механическом цехе скромно работал токарь Валентин по прозвищу Вала-пижон, а ведь он с Красной Горки. И поговаривали, что он там – фигура. Рабочая братва звала его «Вала». Ему еще не стукнуло восемнадцати, а он успел уже отсидеть. Вала был замкнут, немногословен, ни с кем особенно не общался. Он франтовато одевался: хромовые, начищенные до блеска сапоги, голенища гармошкой, на голове сдвинутая слегка набок кепка с кургузым козырьком (последний крик блатной моды!). За это его наверняка и прозвали пижоном. На меня Вала не обращал никакого внимания.

Минут за пять до перерыва я выключил станок и побежал к Вовке в механический. Отвел его в сторону и начал горячо убеждать, что нам нужен мир, что может быть Вала поможет. При имени Вала Вовка стукнул себя по лбу, чертыхнулся. Как же он мог забыть, что Вала на Красной Горке настоящий пахан, а у него с ним добрые отношения. Конечно, он с ним прямо сейчас

поговорит. Но учти, сказал Вовка, что Вала со шпаной не водится, у него другие дела, и, понижая голос, добавил, что он всегда носит за голенищем финку. Вала – большой человек!

Еще до окончания обеденного перерыва Вовка прибежал возбужденный. Порядок. Он потолковал с Валой. Завтра как раз воскресенье. Вала сказал, чтобы мы были завтра в час дня в сквере на углу Луначарского и Карла Маркса.

В назначенный час я и Вовка сидели в скверике на промерзшей скамейке, курили и гадали, что будет. Наконец появился Вала, за ним плелись четверо из красногорской шпаны. Мы поднялись. Вала подошел, пожал нам руки и, глядя как бы поверх голов понурившейся шпаны, тихо, медленно сказал:

– Если кто тронет их – он показал на нас – и заводских, – голос его стал свистящим, глаза вспыхнули зеленым огнем – я всех вас, суки, попишу!

Шпана вздрогнула, мне тоже стало не по себе, когда я глянул в глаза Вала – столько в них было злой, вскипевшей, беспощадной силы. («Попишу» на блатном языке означало «порезу лицо бритвой»). Я сказал ему:

– Спасибо, Вала.

Он молча кивнул и, засунув руки в карманы, ушел. На мелитопольской земле воцарился мир. Вот какими в те далекие времена могли быть блатные авторитеты, даже работали на заводе. А Вала-пижон через пару лет плохо кончил. Он убил ножом во время разборки своего оппонента. Его судили, приговорили к расстрелу. Но стало известно, что вместо расстрела его отправили на урановые рудники. Лет через семь, когда я в очередной раз приехал навеситить родных в Мелитополь, ходил слух, что Вала вернулся, но вскоре умер.

Зима начала 1946 года стояла холодная, ветреная. Мы, как могли, утепляли общежитие и цеха. Комсомольской работы прибавлялось и мне становилось всё труднее совмещать ее с должностью токаря, с обязанностью каждый день выполнять за станком норму. В инструментальном цехе практически нет точной работы, сегодня делаешь одно, завтра – другое. Каждый день надо перестраиваться, лезть из кожи вон, чтобы выполнить задание. Иначе, какой же ты комсомольский вожак. Первая обязанность комсомольца-станочника – выполнение и перевыполнение нормы. Почти каждый день выходили «Боевые листки», в которых прославлялись

передовики производства и едко критиковались, иногда с карикатурами, те, кто не выполнял норму, растяпы, прогульщики. Считалось: все участвуют в соцсоревновании. Сводки о результатах выполнения плана за месяц каждым комсомольцем вывешивались на общее обозрение. Секретарь комитета комсомола не может плестись в хвосте. А после смены нужно успеть домой помыться, переодеться и бегом в школу. После школы же надо выполнить уроки, другого времени нет, разве что в воскресенье. Ложишься поздно. Рано утром мать долго будит, приводит в сознание. Наконец, я просыпаюсь, вскакиваю, боюсь опоздать на работу. И так день за днем. Из-за комсомольских дел часто приходилось пропускать занятия в школе, а потом наверстывать.

Было голодно. Я отдавал всю зарплату матери, но деньги тогда мало что значили. Что на них купишь? Отец и мать изощрались, думали только о том, как прокормить семью. У отца был старший друг по фамилии Мороз, который жил в селе рядом с Мелитополем (я уже о нем упоминал; они к тому же одно время вместе служили в госпитале и хлебнули лиха во время отступления). Мороз старался помогать нам, чем мог: то картошки немного привезет, то луку. Но у самого большая семья, а на селе разор, голодуха, не знают, как дотянуть до весны.

В конце января на завод приехал первый секретарь райкома комсомола Жуков (в Мелитополе помимо горкома был еще и райком, занимавшийся селом). Невысокий, худой, в шинели и кубанке, он сразу направился ко мне. Слегка удивленный, что секретарь комитета комсомола работает за станком, он крепко пожал мою руку и сразу приступил к делу:

– Выручай, друг! Двенадцать «Формолов» в районе, и все стоят. Скоро весна. Чем пахать, сеять? Директора твоего и всю эту братию-бюрократию не прошибешь. Помоги!

В руках Жуков держал кнут. Потом мы видели, как он развезжал по своему району на лихой тачанке, запряженной парой гнедых. Потряса кнутом, Жуков с жаром объяснял задачу. Суть состояла в следующем. Район получил в прошлом году из американской помощи двенадцать тракторов марки «Формол». Это были не очень мощные колесные трактора. Они поработали сезон, и все, как один, встали. Во всех что-то с поршнями и кольцами. Районная МТС ничего не может сделать. Нужны новые поршни и кольца, а где их возьмешь, не посылать же за ними в Америку. Придется,

наверное, отливать поршни заново. Кроме вас некому помочь. А если не наладим «Формолы» – беда. Американская техника, мать ее так!

– Поехали, друг, посмотришь своими глазами – горячо убеждал Жуков.

Но что смотреть? Я в этом деле мало понимал. Тут нужен инженер из техотдела, а среди инженеров комсомольцев нет. Я сказал об этом Жукову.

– Ну так давай такого инженера! – ответил Жуков. – У нас есть подсолнечное масло. Родина его не забудет.

Я вместе с членами комитета навел справки и мы, наконец, выбрали одного инженера, пожилого человека (забыл его фамилию), который за литр подсолнечного масла согласился съездить и определить, что надо делать с «Формолами». Я тоже поехал, посмотрел МТС (машинно-тракторную станцию), длинный ряд мертвых «Формолов», ощутил разруху, бедность на селе. Инженер почти весь день вместе с работниками МТС копался в моторе трактора и, наконец, поставил диагноз: да, придется отливать новые поршни и обрабатывать их, делать новые поршневые кольца. Штука сложная, но если достать подходящий металл, то, наверное, можно спасти «Формолы». Правда, завод таких работ не выполнял, дело новое.

Мы вернулись в город на лихой тачанке Жукова уже ночью. Инженер честно заработал свой литр подсолнечного масла. Он привез с собой образец вышедшего из строя поршня, кольца, еще какие-то детали. Теперь надо решать кучу вопросов. Как уломать директора? Где достать необходимый металл? Как всё организовать? Жуков заражал своей энергией и верой. Он, оказавшись, демобилизовался по ранению еще в начале сорок пятого, был командиром пулеметного взвода, воевал больше двух лет, трижды ранен, вся грудь в крестах. Оборотистый парень, умел находить выход из трудных положений, никогда не унывал, не лез в карман за словом.

Прежде всего надо было решить вопрос с директором. С ним говорили Жуков и секретарь горкома Васютин. Директор упирался. Ему надо выполнять план, если не выполнит, с него голову снимут. А такого заказа в плане нет, он не имеет права. Пусть исполком включит его в план, а что-то снимет, тогда другое дело, хотя возни с этими поршнями будет столько, что пожалеешь потом сто раз. На директора нажимал первый секретарь райкома партии,

звонили ему из обкома комсомола и чуть ли не из Киева, чтобы он поддержал комсомольский почин, помог спасти двенадцать тракторов. В итоге, порешили на том, что мы будем работать во внеурочное время, а он на себя ничего не берет.

Дело сдвинулось. Шаг за шагом, с пятого, с десятого раза мы преодолевали препятствия. Жуков выступил перед комсомольцами с зажигательной речью, просил поднатужиться и помочь, надо спасти трактора, ведь голод, вся надежда на весенний сев. Мы выпустили специальный номер стенгазеты. Решили работать в третью смену, закончить ремонт тракторов к годовщине Советской Армии (т. е. к 23 февраля). Техотдельцы, стимулируемые подсолнечным маслом, довольно быстро сделали все чертежи и расчеты. Благодаря народной инициативе, нашли нужный металл. У литейщиков долго не получалось. Жуков частенько подбрасывал ребятам харчи. Однажды, в те дни, когда в литейном не ладилось, я поздней ночью после школы пришел на завод. А тут как раз приехал Жуков, он привез литейщикам хлеб, соленые огурцы и большой кусок вареной баранины. Отдельно он извлек литровую бутылку самогона, каждому досталось по сто граммов. Для просветления мозгов, как сказал Жуков. Случайно или нет, но именно в эту ночь получилась первая нормальная отливка.

Трудно описывать все перипетии изготовления поршней, колец и нескольких других второстепенных деталей, необходимых для ремонта «Формолов». Сколько раз мы оказывались в тупике. После отливки надо обработать поршень, отшлифовать. Точность – микроны, малейшее отклонение и получается брак. Изобретали специальные приспособления, чтобы сделать кольца. Получалось не сразу, иногда, наверное, с десятой попытки. Дело пошло на принцип, инженеры старались уже без всякого подсолнечного масла, ломали голову начальники цехов и мастера. Что значит общая цель! Она захватывает человека, порождает такие творческие силы, что диву даешься. Ей богу, я пережил тогда один из лучших периодов моей жизни. Мы были охвачены и проникнуты значительностью поставленной цели. Мы обязаны достичь ее любой ценой, во что бы то ни стало. Разве можно допустить, чтобы дети умирали от голода. И это зависит только от нас. Отсюда – ощущение значительности собственной личности.

23 февраля, в день Советской Армии, мы праздновали в МТС победу. Приехали больше двадцати наших комсомольцев, пожа-

ловал даже секретарь парткома завода, он же и главный инженер, который на последнем этапе тоже оказался увлеченным общей целью и кое-чем помог. Первый секретарь райкома партии открыл митинг. Жуков привез духовой оркестр и под звуки марша перед нами профдефилировали двенадцать пытящих, свеженьких «Формолов». Здорово было, ничего не скажешь!

Наступила весна, приближались экзамены в школе. Я все чаще подумывал о том, где учиться дальше, как наверстать упущенное. Ведь мои сверстники в этом году готовились окончить десятый класс и поступать в институты. В июне, когда я сдал экзамены и окончил седьмой класс, созрело решение пробиться на подготовительное отделение Мелитопольского института инженеров-механиков сельского хозяйства. Но я не собирался быть инженером-механиком, я увлекался художественной литературой, писал стихи и мечтал поступить на филологический факультет. В Мелитополе был еще и Педагогический институт, но там отсутствовал филологический факультет.

На подготовительном отделении, куда я собрался поступать, за один год обучали программе десятилетки и там же проводили экзамены на аттестат зрелости, зачисляя всех, кто успешно их сдал, в институт. Принимали же на подготовительное отделение только тех, кто окончил не менее восьми классов. У меня поэтому возникли две проблемы: как попасть на подготовительное отделение, имея лишь семиклассное образование, и каким образом получить аттестат зрелости, избежав зачисления в институт (я уже тогда строил планы поступления на филологический факультет Киевского университета). Впрочем, была и еще одна проблема. Секретарь комитета комсомола завода не может самовольно уйти с работы, его должен официально отпустить на учебу горком комсомола. А там, несмотря на мои просьбы, повторяли: «Поработай еще годик», «Некем заменить», «Потерпи еще немного». Выручило то, что я работал на заводе простым токарем. В конце лета, когда подошло время поступать на подготовительное отделение, я подал директору заявление об увольнении с завода, он не любил меня и, не колеблясь, думаю, с удовольствием, его подмахнул. Я поставил горком перед фактом. Вначале там метали громы и молнии, грозили исключением, строгим выговором. Но постепенно всё улеглось, утихло.

А на подготовительное отделение я поступил «по благу», благодаря отцу. У него оказался хороший знакомый – заместитель директора института. Мы пришли к нему, поговорили и меня, в виде исключения, как ушедшего добровольно на фронт в четырнадцатилетнем возрасте (надо же придумать уважительную причину), зачислили с испытательным сроком («по благу»), т. е. по знакомству, все невозможное становится возможным).

Я осилил за год программу восьмого, девятого и десятого классов. Главным образом благодаря блестяще организованному учебному процессу, особенно по математике, физике, литературе. На подготовительном работали замечательные педагоги. Одного из них я часто вспоминаю с чувством восхищения и благодарности. Это был преподаватель математики Яков Михайлович Симоновский. Ему давно перевалило за шестьдесят, он был из поляков и преподавал математику еще в царской гимназии. Маленького роста, полный, очень подвижный, он, как вихрь, врвался в класс, когда звонок продолжал еще звенеть, закидывал на стол свой большой потрепанный портфель и мгновенно в классе возникло поле общего напряжения, все двадцать пять учеников забывали обо всем на свете кроме математики. В руках Яков Михайлович уже держит двадцать пять листочков. Секунда, и он ринется по рядам, раздавая каждому по листочку, а в нем две задачи (у каждого свои). Вернувшись к столу, Яков Михайлович выхватывает свои большие карманные часы, кладет перед собой и объявляет: «Десять минут!» или «Семь минут!». Это значит, что ровно через это время он быстро пройдет по рядам и, ни секунды не медля, отберет листочки. Так начинается урок каждый день. В конце урока он даст старосте список учеников класса, в котором проставлены результаты вчерашней контрольной работы. У большинства, конечно, двойки. Получить тройку – счастье.

Кроме ежедневной контрольной работы Яков Михайлович успевал за сорок пять минут опросить, вызвав к доске пять-шесть учеников, объяснить новый материал, дать домашнее задание, которое состояло из обязательной и необязательной части. Последняя представляла собой обычно две трудные задачи. До сих пор помню одну задачу по геометрии с применением тригонометрии из журнала «Нива» за 1910 год. Я ломал над ней голову недели две. И какова была моя радость, гордость, когда я ее, наконец, решил. Наш учитель привил мне любовь к математике, вкус к решению интел-

лектуальных задач, раскрыл красоту логики. Раньше я активно не любил математику. Теперь у меня зародилось чувство родства математики и поэзии.

Манера обращения Якова Михайловича с нами исключала какие-либо сантименты, была резкой, даже немного грубоватой. Рукал и хвалил он в одной тональности – сухо, деловито. Его скрипящий голос, светлые глаза казалось выражали холод и равнодушие. Но постепенно мы поняли, что это не холод и равнодушие, а воля, деловая решимость. Каждая секунда использовалась для дела, всё продумано до мелочей (даже листочки с контрольным заданием, входя в класс, он держал уже в руке, чтобы не тратить время на доставание их из портфеля). Весь урок он поддерживал величайшее для наших непривычных голов напряжение. Несколько учеников не выдержали, ушли. Но к концу учебного года мы получили такую подготовку по математике, что ей могли позавидовать те, кто нормально закончил десятилетку и ориентировался на технический вуз.

Помню, я настолько увлекался решением задач, что забывал о чувстве голода. Лето 1946-го выдалось неурожайным. Зимой охватил настоящий голод. Мои родители отдавали всё последнее детям, но и сами они уже были на пределе. Отец решил, несмотря на возражения матери, продать половину нашего дома. Покупатель быстро нашелся. За вырученные деньги, если мне не изменяет память, мы смогли купить лишь мешок муки. Но это спасло нас от жестокого голода. Сколько сил тратила мать, как она вертелась с раннего утра до поздней ночи, чтобы всех накормить, убраться, постирать, починить всем одежду, изобрести новый способ, как из ничего сделать что-то.

Сегодня, когда я пишу эти строки, 20 сентября 1998 года – день рождения моей матери. Прошло более семи лет, как она умерла и лежит рядом с отцом на мелитопольском кладбище. Я смотрю в окно. Еще несколько дней назад полыхали клены – будто из под земли вырвались и застыли взрывы червонного золота. Сегодня они поблекли, поржавели. Вот уже месяц, как в России разразился финансовый кризис. Товары подорожали в три раза. Народ ропщет. Коммунисты рвутся к власти. Уверен, что худшего не произойдет, но и ничего хорошего в ближайшее время не светит. Вклады в банках заморожены. Получить свои деньги вряд ли удастся. А если и получишь, то это будут совсем другие рубли, «деревянные», как их

называли в 1993 году. Прилавки магазинов сильно поредели. Но нет и уверен не будет ничего страшного, люди прилично одеты, продукты первой необходимости сравнительно недороги. Пресса кричит о национальном бедствии. И я вспоминаю зиму 1946 года, разруху, голод, холод, мои латаные-перелатанные штаны, уже наверное в десятый раз чиненные сапоги и тщательно оберегаемый выходной костюм – солдатские брюки и гимнастерка. Жизнь продолжалась, и не было ничего ужасного, мы работали, учились, веселились, верили в лучшее будущее.

Незадолго до окончания занятий я ушел с подготовительного отделения, что легко сошло мне с рук, и затем сдал экзамены на аттестат зрелости экстерном в вечерней школе. В моем аттестате стояла только одна четверка, остальные – пятёрки. Эту четверку мне поставили по алгебре за то, что на письменном экзамене я решил уравнение простым и экономичным способом, которому нас научил Яков Михайлович. В школьной программе такой способ решения уравнений не предусмотрен. Самовольство. И за это снизили оценку. А жаль. Тот, кто сдал экстерном на одни пятёрки, имел право поступать в любой институт без экзаменов.

Но я давно всё решил. Еду в Киев, подаю документы в Университет на филологический факультет. Кое-как родители наскребли мне денег на дорогу. Ехал я в Киев долго. До Днепротрестовского поездом, а оттуда паромом по Днепру несколько суток, на верхней палубе. Дешево и сердито.

## КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Солнечным утром мы подплыли к Киеву. Город утопал в зелени, блистал куполами церквей. Высоко на горе стоял черный памятник князю Владимиру с крестом. Вот, наконец, и пристань на Подоле – нижней части города, шумной, непривычно многолюдной. Где-то здесь живет с родителями мой друг Левка Косой, с которым работали вместе на заводе в Марксе. Был у меня еще и адрес дальних родственников, у них отец советовал остановиться. Но я сразу поехал на трамвае в университет подавать документы. До начала вступительных экзаменов оставалась неделя.

Меня удивило здание университета, выкрашенное в красный цвет, хотя и сильно обшарпанное. Его классический стиль, высокие колонны у входа, фронтон, широкие ступени слишком резко диссонировали с красным цветом. Это ощущение, возникшее в первые минуты встречи с моей будущей «кальма матер», надолго вьелось в память. Часто, всплывая ни с того ни с сего, оно нагнетало какое-то непонятное, тяжкое чувство двойственности, зыбкости моих внутренних душевных оснований. Может быть, оглядываясь в свое далекое прошлое, я преувеличиваю роль этого первого впечатления, но, несомненно, что с ним связывалось смутное тревожное состояние, которое хотелось поскорее изжить.

Большая часть университетского здания стояла в лесах, еще продолжался послевоенный ремонт. Приемная комиссия располагалась в соседнем пятиэтажном строении. Вестибюль и узкие коридоры первого этажа кишели абитуриентами, в большинстве своем прилично одетыми юнцами и девицами, только что окончившими среднюю школу. Но среди них толкалось немало демобилизованных солдат и офицеров. Они резко выделялись военной одеждой, возрастом, хмуростью лиц.

Постепенно я протиснулся со своим фанерным чемоданом к доске объявлений и увидел, что прием ведется не только на филологический, юридический и экономический факультеты, но еще и на философский. Раньше я не знал, что есть, оказывается, и такой факультет. Слово «философия» зачаровывало. Я слышал, что философия является наукой наук, объясняет самые сложные вопросы жизни. И, конечно, звание философа означает нечто возвышенное

и глубокое. У меня возникли сильные колебания. Почему бы не поступить на философский? Ну, собирался на филологический, а чем хуже философия? Но я ничего толком о философии не знаю, а филолог – специалист по художественной литературе, которой я мечтал заниматься (надо ли говорить, что мои представления и о филологии, и о философии были крайне наивными, ведь я не учился даже в нормальной десятилетке). Однако, магическое действие слова «философия» поколебало мой прежний настрой.

От абитуриентов и в приемной комиссии я узнал, что на филологический факультет очень большой конкурс: человек пять-шесть на одно место. А на философский – не более трех. Это и решило окончательно мой выбор. Я пошел к тому столу, где принимали документы на философский и быстро покончил со всеми формальностями. Мне дали направление в общежитие. Я обрадовался – не надо идти к родственникам. Настроение приподнятое, боевое. Предстоят четыре экзамена: сочинение, устный по русскому языку и литературе, история и английский. Самое трудное – английский. В вечерней школе, а потом на подготовительных курсах, я стал изучать английский, считая, что немецкий язык уже не нужен (а его я все же немного знал). Но какие познания в языке можно приобрести за два года, да еще в тех условиях, в которых мне приходилось учиться? К тому же я не отличался способностями к иностранным языкам.

В комнате общежития, куда меня поселили, обитал уже с десятком абитуриентов, комендант выдал матрац, постельное белье, я занял тумбочку у кровати. Вот она студенческая жизнь! Теперь – готовиться к экзаменам, не терять ни минуты, работать день и ночь. Поступить во что бы то ни стало!

Неделя пронеслась незаметно. Я нигде не ходил, ничего не видел перед собой, каждый день зубрил английский, готовился к экзаменам. Мои результаты оказались ниже тех, на которые я рассчитывал. По сочинению и русскому устному я получил пятерки, по истории – четверку, думаю, что из-за недоброжелательности экзаменатора. А вот по английскому я был близок к полному провалу. Но тут, наоборот, я видел в глазах пожилой женщины, принимавшей экзамен, сочувствие, внимание к моей солдатской форме, регалиям. Она поставила мне тройку, можно сказать, спасла.

Судя по всему, я не набирал нужного количества баллов (одного не хватало), но говорили, что фронтовикам дают преимущество

и меня должны принять. С этой надеждой я и уехал в Мелитополь. Тревога не покидала меня. Но за несколько дней до начала сентября пришла долгожданная открытка из Киева, в которой сообщалось, что я зачислен на первый курс филологического факультета.

Недолгие сборы в дорогу и снова – в Киев. Теперь вместо фанерного чемодана мои пожитки лежали в подобии вещмешка, который сделала мать. Его удобно было носить за плечами, можно маневрировать из вагона в вагон, ездить на подножке. Позже я смастерил себе точно такой же, как у проводников, угловой ключ, позволявший легко открывать и закрывать двери вагона. Обычно я пробирался в вагон с помощью своей отмычки, сидел в центре, и когда с одного конца контролер начинал проверку, выходил в тамбур, открывал дверь и ехал на подножке, пока контролер не перейдет в следующий вагон. Убедившись, что опасность миновала, я снова отпирал двери и пробирался на какое-нибудь место. Ездить приходилось сравнительно часто. А откуда у студента деньги? Но если, не дай бог, попадешься, могли посадить – время было суровое.

Филологический факультет состоял из трех отделений: диалектического и исторического материализма, логики и психологии. Меня зачислили на отделение логики. В нашей группе – человек двадцать. Около половины – демобилизованные, среди них несколько бывших офицеров лет под тридцать. Остальные – зеленая, но весьма бойкая молодежь, вчера еще сидевшая за школьными партами. В группе почему-то оказалось много евреев. Среди них особенно выделялся Этингер – очень высокий, атлетического сложения парень, наголо стриженный, имевший привычку ершиться едва отросшие на голове волосы и смотреть своими огромными черными глазами поверх собеседников, погруженный целиком в себя. Он поражал нас своей эрудицией, дерзко спорил с преподавателями, часто заявляя, что не согласен и остается при своем мнении, а на семинарах, посвященных изучению трудов товарища Сталина, вдруг позволял себе высказывать сомнения и развивать свою точку зрения по вопросам давно и бесспорно решенным классиками марксизма-ленинизма. Это вызывало бурю возмущений у наших партийцев. Первым обрушился на Этингера староста группы Масько, белообрый, грубый, наш главный ортодокс. Он вскакивал, обрывал Этингера и с налившимися кровью глазами, горевшими лютой ненавистью, клеймил его как буржуазного при-

хвостия, пособника империалистов. Дождавшись, когда Масько закончит, Этингер спокойно опровергал его, вызывая новую волну общего возмущения. Я тоже, воспитанный в комсомольско-партийном духе, хотя и не выступал, но в душе отрицательно относился к Этингеру. Он раздражал всех своим высокомерием, полной, как тогда говорили на партийном языке, «оторванностью от коллектива». Не прошло и двух месяцев, как Этингер исчез. Говорили, что он бросил университет и уехал. Но со временем стало известно: Этингер арестован и осужден. Больше никто о нем не слышал.

В нашей группе был еще Фима Горенштейн, худой, сутулый, неопрятный, с явными местечковыми замашками, но большой умник и спорщик, начитавшийся разных книг, в том числе философских, о которых никто из нас не слышал, сыпавший цитатами из классиков марксизма. Он развязно выступал на каждом семинаре, спорил с преподавателями, но в отличие от Этингера был заядлым марксистом. Это, однако, не спасало Фиму от наскоков Масько, который обвинял его в неправильном понимании трудов товарища Сталина.

Остальные евреи ничем особенно не выделялись за исключением, быть может, Феликса Гальперина с его блестящим умением изображать и пародировать преподавателя или кого-нибудь из студентов, вызывая парой острых слов общий хохот. К нему добродушно относились наши «старика», демобилизованные офицеры Курочкин, Касьян, Бойко. Эти ребята-фронтовики держались вместе и несколько обособленно от остальных, наука давалась им туговато, они старательно конспектировали, не лезли в дискуссии. Все были членами партии, как и Масько, но последнего они не очень жаловали. Масько всю войну провел в тылу, дослужился до старшины в войсках МВД, охранял в лагерях заключенных. Ему уже стукнуло тридцать. Очень деятельный, резкий, хамоватый, он властвовал в группе, быстро освоился в деканате и партбюро, его побаивались, чувствовали, что может напакастить.

Я подружился с Валькой Мельгуновой. Это был среднего роста крепыш, молчаливый, скрытный, но с хитрецой и юморком. Он приехал откуда-то из провинции, в группе держался особняком. Мы в общежитии попали в одну комнату, кровати наши стояли рядом. Комната эта именовалась с учетом ее номера «Второй гвардейской», ибо была самой большой в общежитии, числен-

ность ее жильцов составляла двадцать два человека. Одиннадцать кроватей стояло в одном ряду и столько же в другом, а между ними длинный проход шириной в полтора метра. Комната находилась на первом этаже в тупике. Чтобы выйти на улицу, надо подняться вначале на второй этаж, пройти длинный коридор, потом снова спуститься вниз. Поэтому большей частью мы вылезали и влезали через окно, несмотря на ругань коменданта с угрозой выселить.

Времена стояли трудные, еще действовала карточная система. В столовой при общежитии из карточек вырезали талончик с текущим числом и выдавали шестьсот граммов хлеба. В первые месяцы родители высылали мне почтой двести рублей. Стипендия тоже двести рублей. Этих денег едва хватало на скудное пропитание в столовой. Я хорошо знал, что дома еле сводят концы с концами и на третий месяц выслал полученные двести рублей обратно. К тому времени я начал подрабатывать. В нашей комнате сложился дружный трудовой коллектив во главе с Андреем Пищуком. Мы разгружали из железнодорожных вагонов уголь, картошку, находили и другую работу.

Андрей Пищук – первокурсник украинского отделения филологического факультета, демобилизованный сержант, лет на десять старше меня, брызжущий энергией, враг уныния и безделья. Он ходил очень быстро, широко раскидывая ноги, размахивая в такт локтями, часто мурлыкал себе под нос какую-то песенку. Деревенский мужик, прошедший почти всю войну, Андрей обладал хозяйской хваткой, быстро соображал, быстро решал. Он не просто командовал, а первым впрягался в работу, заражал своей энергией. С ним мы совершили один «трудовой подвиг», о котором я расскажу чуть позже.

Наше общежитие находилось на Воздухофлотском шоссе. Тогда это была окраина Киева. Рядом – старое кладбище, через которое мы ходили к трамвайной остановке. До нее примерно полкилометра. Эта остановка – последняя, тупик. К нам ходил большой одногаонный трамвай, имевший кабины управления с обеих сторон. Чтобы двигаться в обратном направлении, надо было изменить наклон электрической дуги в противоположную сторону. Это делал вагоновожатый, долго дергая привязанный к дуге канат, а тем временем окружающая трамвай толпа студентов рвалась вовнутрь. Под напором извне давление внутри трамвая росло и

росло. Дверей в нем нет, стекол в окнах тоже. Это облегчало задачу проникновения в него. Но половина толпы все равно оставалась за бортом. Наконец, ослепленный со всех сторон студентами, трамвай медленно трогается, стяхивая слабо прицепившихся. Неудачникам придется идти в университет пешком больше часа, на первую пару они опоздают.

Поучаствовав несколько раз в утреннем штурме трамвая, где побеждали самые хитрые и беспощадные, я стал ходить пешком. Но скоро Валька Мельгунов, который утром куда-то исчезал (я ни разу не встречал его на трамвайной остановке), видимо, после долгих колебаний, решил открыть мне свой способ утренней транспортировки. Недалеко от общежития шла дорога, под прямым углом упиравшаяся в Воздухофлотское шоссе. По ней утром довольно часто проезжали грузовики, которые сворачивали на шоссе и направлялись далее к центру города. Мы с Валькой занимали позицию у самого поворота, и когда грузовик, выезжая на шоссе, притормаживал, заходили ему в тыл, делали рывок, цеплялись за задний борт и перемахивали в кузов. Тогда у задней стенки кабины не было окошка, водитель не мог видеть, что делается в кузове. Мы спокойно ехали, облокотившись о кабину, и в центральной части города, поближе к университету, выждав, когда грузовик замедлит ход, благополучно прыгивали.

Наша дружба с Валькой крепла. Мы сразу вошли с ним в команду Андрея Пищука и почти каждый вечер разгружали вагоны. Если это была картошка, то получали натурой. Андрей отмерял каждому по ведру. Притащив четверть мешка картошки в комнату, мы клали тумбочку плашмя сверху дверцей, засыпали туда картошку, закрывали дверцу, укрепив ее гвоздиком, и снова ставили тумбочку, как положено. Впрочем, долго картошка там не залеживалась.

По примеру Андрея, мы с Валькой купили на двоих ведро и в нем, рядом с общежитием, на костре варили картошку. Кухня в общежитии была, но ведь надо иметь свой примус, покупать керосин. Таким богатством владели в нашей комнате только двое, они держали его под кроватью, отчего в комнате сильно воняло керосином. За это их вначале дружно матогали, потом привыкли. А пролетарская масса собирала вокруг доски, хворост, примащивала несколько кирпичей, ставила на них ведро (обычно на двоих) и из искры раздувала пламя.

148

Мы с Валькой долго чистили картошку, полное ведро. Один собирал дровишки, другой коচেгадил, помешивая обструженной палкой, чтоб не подгорало на дне. Проходила целая вечность, пока закипало. Глотая слюнки, мы ждали и ждали, а картошка все еще твердая. Но вот, наконец, слава богу, сверху она начинает мягчать. Теперь ждать недолго. Засыпаем соль, пробуем. Терпение, брат, терпение, надо чтобы и вода немного выкипела, и чтобы картошка посылнее разварилась. Тогда будет в самый раз, сливать ничего не надо, тут тебе и первое и второе. После сдержанного обмена мнениями, определяем, что готово. Снимаем ведро, затапываем огонь, вынимаем ложки. И прямо из ведра, лоб ко лбу, начинаем хлебать, обжигая внутренности. Боже, есть же такое блаженство! Мы уминали ведро картошки минут за двадцать, закуривали махорку, лежа на еще не сырой земле, пускали вверх кольца дыма. То был момент истины.

В общежитии жило человек триста, если не больше. Туалета в нем не было. В полусотне метров на пригорке стоял огромный деревянный сортир на двенадцать очков, разделенный пополам – мальчишки налево, девочки направо. По утрам с обеих сторон страивалась очередь. Вначале я от этого очень страдал. Еще больше страдали бедные девчонки. Каждый, кто туда направлялся, был на виду у всего общежития, из окон часто неслись комментарии. Но и к этому как-то со временем притерпелся.

Так вот, сортир этот, стоявший давно, переполнился до краев, и Андрей Пищук подрядился у коменданта передвинуть его на новое место, выкопав сначала соответствующую яму. Андрей выторговал у коменданта хорошую оплату и взял для этой ответственной работы шесть «гвардейцев». Я и Валька попали в число избранных. Мы не ходили на занятия, два дня с утра дотемна копали огромную яму. Самое главное ждало впереди. Как приподнять, сдвинуть, перетащить вонючую машину сортира? Но Андрей на фронте был сапером, строил переправы, и его лицо не выражало никаких затруднений. Пока мы копали яму, он приготовил из бревен катки, приладил нехитрые приспособления, чтобы подкачивать с одного и с другого края столь громоздкое сооружение, разрывая тридцатиметровый путь, по которому оно будет передвигаться на новое место. Главная операция, к моему удивлению, оказалась не такой уж сложной и трудной, если не считать ужасной вони, когда подкачивали, просовывали катки, отъезжали первые метры. И если не

149

обращать внимания на то, что из окон общежития орали «большевики», неслись советы и подначки, что немало девиц следили из окон за нашими трудовыми успехами. Мы стоически воспринимали всё это, старались четко выполнять команды Андрея. Особенно усилились выкрики из окон, когда мы засыпали старую яму и замащивали ее бревнами, чтобы кто-нибудь случайно не провалился. Комендант сразу рассчитался, мы почистились, сходили в баню, купили три бутылки водки, закуски и обмыли завершение «трудового подвига».

Занятия в университете шли своим чередом. Уже на первом курсе нам преподавали логику и психологию, однако, восемьдесят процентов учебного времени отводилось изучению трудов классиков марксизма-ленинизма и прежде всего гениальных работ великого вождя народов и великого корифея науки товарища Сталина. Тогда я всё воспринимал как должное и только несколько лет спустя после окончания университета стал понимать, насколько примитивной и до крайности идеологизированной была система образования на философском факультете. Чтобы стать профессионалом в области философии, мне пришлось потом многие годы перечувствовать, самостоятельно продираться сквозь сомнения и укоренившиеся ментальные клише, преодолевать привычные правдоподобные объяснения и мифологемы и затем, выравшись на собственную тропу, умудряться «согласовывать» публичные размышления с канонами марксизма. Благо, в той области, которой сразу после университета я стал заниматься (психофизиологическая проблема, сознание и мозг), они оставляли широкий простор и не очень-то мешали. Опорой здесь служили теоретические вопросы психологии, психиатрии, нейрофизиологии, кибернетики. Но ведь и то, что именовалось марксистской философией, содержало немало положений классической философской мысли и вовсе не представляло собой сплошной идеологии, как это изображают нынешние авангардисты. Многие положения диалектического материализма имели вполне рациональный характер и, взятые сами по себе, могли применяться в целях разработки психофизиологической проблемы, чем я и занимался. Однако, на протяжении почти всей моей публичной деятельности мне слишком часто доставалось от партийного начальства и всевозможных критиков, обвинявших меня в уходе или отступлении от марксизма, в позитивизме, биологизме, идеализме и прочих смертных грехах, о чем я,

150

наверное, еще кое-что расскажу, если дойду до описания тех времен, когда я преподавал философию в медицинском институте, а потом в МГУ.

Конечно, на философском факультете Киевского университета, учрежденном сразу после войны, были и неплохие преподаватели, и хорошие люди, друзья, мы были молоды, полны душевных сил, творческих устремлений, надежд. Но мои воспоминания о пяти годах учебы на факультете окрашены в мрачные тона. Да и вообще об этом периоде моей жизни я старался не вспоминать, как бы прятал его в себе подальше, не хотелось туда возвращаться.

Такое выпало время. Начиная с 1948 года, одна компания партийной борьбы следовала за другой: против генетики за мичуринскую науку, против презренных космополитов, против противников павловского учения, против идеалистической квантовой механики, против сионизма, против чуждых влияний в литературе и музыке, против низкопоклонства перед Западом и т.п. Шли собрания, гремели обличительные речи, на чистую воду выводили «виновников», те калялись, признавали «ошибки», клялись в верности. И в душе нарастало давно знакомое чувство двойственности между личным и официальным, между совестью и комсомольским долгом. Несмотря на всю мою идейность, я часто испытывал острый дефицит веры, чтобы оправдывать то, что видел и слышал. И, главное, кто же яростно выступал борцом за идейную чистоту, за правду? Вслед за партийными функционерами это в большинстве своем были хорошо знакомые лица, наподобие Маскыо, – карьеристы, хитрованы, жополизы. Кого же они разносили в пух и прах? Известных ученых, деятелей культуры, которых прорабатывала партийная пресса, а к ним пристегивали обычно своих, университетских, как правило, людей уважаемых студенчеством, одаренных, неординарных.

Мое заузенное сознание с большим трудом справлялось с таким противоречием. Я верил в партию, коммунизм и товарища Сталина, но часто не верил в виновность тех, кого подвергали уничтожающей критике, или же сомневался. Я никогда не выступал на этих собраниях, даже если мне предлагали. Так устроена наша внутренняя саморегуляция, что до поры до времени противоречивые факты не способны поколебать общую идею-веру, она их «переваривает» или дезактуализует, вытесняет, «объясняет». Эта идея-вера обладает качеством сверхценности, перед ней, как

151

нас учили, и мы твердо знали, отдельный человек и даже сто, тысяча человек – ничто. Каждый должен быть всегда готов отдать жизнь за дело партии. Да, бывают ошибки. Да, к великим идеям часто примазываются мелкие, грязные людишки. Ну и что из этого? К тому же многого мы не знаем, и нам не положено знать, партии виднее.

Но если противоречащие факты валят валом, если они затрагивают уже напрямую твои интересы, твое достоинство, то «объяснять» становится всё труднее, нужны творческие ухищрения, мучительные потуги. В общем, вера, конечно, всё еще остается, но в душе смутно.

Особенно смутно и тяжело стало, когда в связи с образованием государства Израиль, после 1948 года, начались компании борьбы против сионизма и безродного космополитизма. Все евреи автоматически оказались поставленными в положение подозреваемых, обрели печать некоей чужеродности. Это доставляло мне острые страдания. На фронте, да и на заводе во время войны и после войны, я этого не чувствовал. Я был свой в доску, ощущал себя русским человеком до мозга костей и, между прочим, не любил типичного еврейства. А тут надо вроде бы доказывать, что ты не верблюд.

В моей памяти остались вопиюще «противоречащие факты», которые тогда я не смог «объяснить», несмотря на все старания. Лекции по истории нам читала доцент Кричевская – очень миловидная, обаятельная женщина лет сорока пяти. Мы старались их не пропускать, ибо они были не только захватывающе интересны, но несли еще нам какую-то душевную благодать. Прекрасная русская речь, интеллигентность, искренность, убедительность и вместе с тем легкость, ненавязчивость, такое ощущение, будто она ведет беседу с каждым в отдельности. После лекции ее окружали плотным кольцом, задавали вопросы, она притягивала своим чистосердечием, необыкновенной добротой. Кричевскую любили все, даже антисемитистые ребята, даже Масько. И вот мы узнаём, что партийное собрание осудило ее, что она – безродный космополит, подпевала сионистов, выступает на лекциях с антипартийных позиций. Никто из студентов-партийцев не посмел защитить Кричевскую. Из университета ее изгнали. Вместо нее лекции по истории стал читать какой-то полуграмотный, прыщаватый дядя, мямливший что-то по конспекту. Никто его не слушал. А скоро на его

лекции вообще перестали ходить, из-за чего деканат объявил нашему курсу войну, угрожая лишением стипендии.

Другая история, о которой хочется рассказать, произошла в 1950 году. Курсом старше учился демобилизованный офицер Ленья Биренбойм. Он был на факультете слишком заметной личностью. Его жутко изуродованное лицо при встрече с ним вызывало инстинктивное стремление отвести глаза в сторону. Я, пожалуй, не видел более обезображенного ранениями человека. Вся правая часть головы приплюснута, стянута шрамами, вместо глаза багровый рубец, челюсть скошена, едва выпирает остаток носа, рот перекосен. Естественно, его военная биография вызывала интерес. Мы знали, что в момент последнего ранения Ленья в звании капитана командовал батальоном, попавшим в окружение на Украине во время нашего наступления в начале 1944 года. Батальон героически отбивался, неся большие потери, несколько раз поднимался в атаку, стремясь вырваться из окружения, а навстречу ему пытался прорваться и вызволить его другой батальон. Но безуспешно. И когда кончились боеприпасы, Ленья вызвал огонь на себя. Фронтовики понимают, что это такое. Вся наша артиллерия начинает лупить по позициям батальона, на которые вот-вот ворвется противник, и там почти никого не остается в живых – ни немцев, ни наших.

Однажды Ленья пришел на собрание во всех регалиях: помимо медалей, пять орденов. Среди них два ордена Боевого Красного Знамени, такое надо заслужить. Ленья ходил с палочкой, был тихим и скромным человеком. И удивительно, он имел верную и очень симпатичную подругу. Удивительно (для меня) потому, что я, к стыду своему, не мог представить, как симпатичная, весьма привлекательная девушка способна полюбить такого уroda, при всех его замечательных душевных качествах и военных заслугах. Мне казалось, будь я на месте Лени, то покончил бы жизнь самоубийством. Однако, подруга Лени любила его. Звали ее Ева Резник, она училась с ним в одной группе. Их всегда видели вместе. Они собирались пожениться. Но не успели. Лени и Еву арестовали по обвинению в еврейском буржуазном национализме, судили в застенках КГБ, и они исчезли навсегда. Много лет я интересовался их судьбой, расспрашивал бывших студентов-киевлян, но напрасно. Скорее всего они погибли в лагерях, однако, не исключено и то, что их сразу расстреляли.

И еще один «противоречащий факт» другого сорта. В том же 1950 году я жил по-прежнему в общежитии на Воздухофлотском шоссе, но уже в хорошей комнате на четверых. Моим соседом по койке был Коля Глухенький. Он учился на курсе младше – высокий, симпатичный парень. У нас с ним сложились дружеские отношения. Ничего предосудительного в его поведении не наблюдалось, обычный студент, который добросовестно грыз гранит науки. Каждую субботу он уезжал на выходной день в Фастов, недалеко от Киева, домой к родителям. И вот, однажды в ночь на воскресенье, когда его не было, в дверь постучали. В комнату вошел заспанный комендант, за ним двое молодых в штатском. Спросонья мы не сразу сообразили, в чем дело. Нам приказали: каждому сидеть на своем месте. Из-под кровати Глухенького вытащили чемодан с книгами и конспектами, тщательно просмотрели каждую книгу, прощупали постель, всё рукописное забрали с собой. На прощанье один из кэзбистов обвел нас угрожающим взглядом и приказным тоном сказал, чтобы держали язык за зубами, распространители слухов будут сурово наказаны.

А Кольо Глухенького уже арестовали. Ему дали десять лет за украинский буржуазный национализм. В чем состоял этот национализм у него, мы не могли понять – год жили с парнем рядом, всё как на ладошке. Отсидел он четыре года, выжил. После смерти Сталина его выпустили из лагеря и реабилитировали.

Если мне не изменяет память, в самом конце 1947 года отменили карточную систему. «Жить стало лучше, жить стало веселее». Теперь можно было наестся вволю хлебом. А в начале 1948 года появился новый способ подработки. Десяток студентов нашего курса, в их числе меня, вызвали в обком комсомола на беседу и предложили стать внештатными лекторами, чтобы проводить пропагандистскую работу на селе. Командировку оплачивали.

Я охотно согласился, недели две готовил лекции на заданные темы: «Боевой путь ленинского комсомола» и «О преимуществе социалистической системы хозяйства над капиталистической». Преданные мной тексты тщательно проверили и отредактировали. После этого по решению бюро обкома комсомола меня зачислили в состав внештатных лекторов. Я поступил в распоряжение секретаря обкома по пропаганде с забавной фамилией – Мортюнок. Он оказался в общем-то неплохим мужиком – бывший офицер-фронтовик, без руки, её заменял протез. Никакой заносчи-

ности, типичной уже тогда для комсомольских функционеров высшего звена. Разговаривает по-своейски, подробно объясняет задание и еще подробнее – кто должен обеспечить ночлег и пропитание, особенно в дальних селах, как туда добираться.

Первая командировка – в Тарашанский район. Надо доехать поездом до какой-то станции, а потом сорок километров – на полуполном транспорте или пешком, как уж повезет. Мне не совсем повезло, километров двадцать я проехал на полнотной колхозной подводе, а остальное – на своих двоих. Да и проехал – не то слово: зима, мороз, пара лошадей понуро плетется, в худых сапогах на тощую портянку долго не усидишь, приходится бегать впереди подводы, чтобы согреться.

В село Тарашу, райцентр, я добрался поздним вечером. Помню, последние километров пять шел в темноте, боялся сбиться с дороги. Нашел дом, в котором помещался райком комсомола, долго стучал, наконец, мне открыл сторож, исполнивший также обязанности ночного дежурного у телефона. Проверив документы, он разрешил переночевать на столе в одной из комнат. В ней было сильно накурено, но тепло. Я снял сапоги, положил под голову шинель и, несмотря на то, что не ел с утра, мгновенно уснул.

Утром пришел секретарь райкома комсомола – высоченный, здоровенный детина, с раскрасневшимся от мороза лицом, в добротном полушубке, валенках с калошами. Без тени радушия на лице, положенного при встрече гостя, он протянул широкую лапищу и сказал: «Иван». Я сразу понял, что он не очень-то обрадовался приезду лектора – лишняя морока. Надо организовывать переезды из села в село, звонить председателям колхозов, собирать людей и т.д.

И действительно, задание прочесть не менее десяти лекций, полученное в обкоме, выполнить не так уж просто. Надо побывать, как минимум, в пяти селах с тем расчетом, чтобы одну лекцию прочесть во время обеденного перерыва (на ферме, в тракторной бригаде, в ремонтной мастерской и т.п.), а вторую – вечером в клубе. Это надо организовать. Попробуй поймать по телефону председателя колхоза, а без него ничего не решишь. С некоторыми же селами и вовсе нет телефонной связи, там надо договариваться на месте.

Иван с кислой миной сел за телефон. Первого председателя он поймал быстро, повезло. Уламывать долго того не пришлось, всё

решала магическая формула «представник з обкому» (меня выдавали везде за представителя обкома, какого именно не уточнялось, но подразумевался всемогущий обком партии, а раз так, то руки по швам). Председателю лектор, как говорят, – не пришей кобыле хвост. Надо устраивать на постой, кормить, отвозить. Почти каждый председатель, узнав темы моих лекций, немного скисал. Народ интересовался международным положением: как там империализм, что замышляют, не будет ли опять войны? А тут лекция про какой-то путь комсомола.

К середине дня Иван, наконец, согласовал приблизительно мой маршрут. Сегодня вечером – лекция в колхозе имени товарища Сталина, завтра утром меня отвезут в колхоз имени Ленина, послезавтра – в колхоз имени Калинина, а дальше будет видно. Я стеснялся сказать Ивану, что вчера не обедал и не ужинал, а сегодня не завтракал. Выкурив натошак штук десять самокруток, я чувствовал себя прескверно. Нарастала решимость спросить, где же тут можно подкрепиться. Но вот Иван задумчиво поднялся и сказал:

– Пишли обидать.

Он привел меня в хату, где кормили приезжавших в район «представников». Молодая женщина неопрятного вида подала борщ, картошку с мясом и поставила бутылку самогона. Иван без закуски махнул стакан. Я отказался. После суточной голодухи еще развезет, а впереди первая лекция. Мне никогда не приходилось выступать перед такой аудиторией и вообще читать лекции, оратор я никудышный, мог сбиться, растеряться, начать говорить не совсем то, что следовало. Публичное выступление для меня всегда проблема. Правда, с годами чувство неуверенности в себе понемногу стало проходить. Говорили даже, что я хорошо читаю лекции. Что ж тут удивительного? За долгие годы преподавательской работы пора бы научиться. Но всё равно после выступления, даже если к нему тщательно готовился и видел, что меня слушали с большим интересом, я чаще всего испытывал досаду оттого, что упустил что-то важное или далеко не лучшим образом выразил свою мысль.

В общем, перед первой лекцией я изрядно мандражировал, десятки раз мысленно повторяя первые фразы лекции, план изложения, факты. Я занимался этим, пока меня везли на санях в колхоз имени товарища Сталина. Иван нашел этот весьма приличный транспорт, на котором в район по делу прибыла колхозная бухгал-

терша. Подкатили мы к правлению колхоза – большой деревенской избе, слегка покосившейся, с одной стороны подпертой бревнами. В жарко натопленной комнате восседал кряжистый председатель, лет пятидесяти. Он поздоровался и после дежурных вопросов о том о сём стал расспрашивать про известных ему деятелей из облисполкома. Я в его глазах явно не тянул на роль настоящего «представника», и он скоро перепоручил меня секретарю партбюро, пожилому подвыпившему мужичку, маленького роста, худому, в старой шинели и с огромным меховым треухом.

Стемнело. Парторг повел меня в клуб, который находился довольно далеко от конторы колхоза. Вдоль улицы – приземистые хатенки, заборов нет, деревьев нет. Изредка в окнах сумрачно светит керосинка. Улица безлюдна.

Клуб – обычная хата, только чуть длиннее. На двери амбарный замок. Рядом топчутся пяток парней и девчат. Увидев, что клуб заперт, парторг пробубнил:

– Дз ж Мыкола?... От бисова душа. И обратился к одной из девчонок: – Ану пиды поклыч.

Та ушла в темноту на поиски заведующего клубом, а мы долго стояли и курили в ожидании. Прошло не менее получаса. За это время появлялось несколько человек и, увидев, что клуб заперт, уходили. Я переживал, боялся, что люди не соберутся, ругал про себя Мыколу и растяпу-парторга.

Наконец-то появился Мыкола. Сразу видно – навеселе. Препираясь с парторгом, он долго отмыкал в темноте замок. В клубе – холодина, темень. На ощупь нашли керосиновую лампу, зажгли. Несколько рядов скамеек, на них могло уместиться человек сорок-пятьдесят. Стол, накрытый красной тряпичей, за ним прибитый к стене портрет товарища Сталина.

Вслед за нами в клуб вошли четверо парней и девчат, уселись на дальней скамейке. Парторг сказал, что надо обождать, соберутся; плохо, нет гармониста, недавно напился какой-то сивухи и помер; жаль, добрый был гармонист, не старый еще, при нем бы тут сейчас... Ждали мы еще около часа, кто-то заходил, выходил. Ноги у меня совсем отмерзли. Лампа тускло освещала помещение, трудно разглядеть, сколько собралось людей. Похоже человек пятнадцать. Все они сидели на дальних скамейках в полумраке. На передней же болтали ногами два пацана лет семи-восьми, шмыгая носом и утирая его время от времени рукавом.

– Будэмо починать – сказал парторг. – Ось до нас, товарищи, прихав представник з обкому товарищ Дубровський, вин прочитае лекцию про путь комсомолу.

Я начал заученными фразами, пытаясь разглядеть слушателей. Бегло рассказал об истории комсомола, роли товарища Ленина, товарища Сталина и перешел к заслугам комсомола в годы войны на фронте и в тылу, приводил примеры героических подвигов комсомольцев. Постепенно мои глаза привыкли к полумраку. На задних скамейках сидело семь пожилых мужиков, остальные – молодежь. Я не был уверен, что меня слушают и спешил закончить. По указанию отдела пропаганды обкома комсомола в заключение я сказал и о задачах молодежи в подготовке к посевной кампании, в борьбе за урожай.

Парторг для порядка спросил, есть ли вопросы. После долгого молчания поднялся один из пожилых мужиков и стал выпытывать про политику Трумэна и насчет атомной бомбы. Минут тридцать я отвечал на вопросы о международных делах и видел, что ко мне проявился интерес. Под конец и парторг, сидевший за столом, выразил какое-то подобие удовлетворенности, так как я на фактах вскрывал антинародную политику империалистов, их злостные попытки сорвать мир.

На ночлег меня отвел парторг. В низкой хатенке нас встретила женщина лет сорока с изможденным лицом. Молча и сноровисто она поставила на стол соленые огурцы с нарезанным луком, вареную картошку и миску супа, а в завершение – бутылку самогона. Парторг налил мне и себе. Мы выпили. Ну и дрянь! – гнали эту самогонку, видимо, из картофеля. Я стал быстро закусывать огурцами, луком. Парторг не шелохнулся. Он налил по второй, чокнул мой стакан, выпил и сразу ушел. Затаив дыхание, я выпил еще треть стакана. По телу моему разливалось тепло, я налегал на картошку и соленые огурцы, хлелал горячий суп.

Хозяйка, звали ее Ганна, молча сидела поодаль у печки, горестно сторбившись. Скупой свет керосиновой лампы на столе не позволял видеть ее лицо. И вдруг я почувствовал неловкость, какое-то угрызение совести. Надо что-то сказать человеку, попросить сесть за стол. Ведь ясно, выпивку и закуску организовало колхозное начальство. Поэтому она и сидит так отчужденно, а с печки за мной наблюдают три пары глаз – ее ребятня.

Несколько раз я просил Ганну сесть за стол, она стыдливо отнекивалась, но наконец решилась. Прошло столько лет, но я отчетливо помню ее землистое, морщинистое лицо и странные на таком лице большие смиренные глаза. Оставалось почти треть бутылки самогона. Я налил ей больше половины стакана и себе чуть-чуть. Она разом выпила, закусила огурцом. Голос у нее оказался звонкий и певучий, она охотно отвечала на мои вопросы. Украинский язык – образный, а у деревенских какой-то особенно личный. По-русски трудно пересказать. Ганне, оказывается, было слегка за тридцать, муж погиб на фронте, трое детей, работает с утра до ночи на ферме – коровы тощие, почти не дают молока. У нее нет ни своей коровы, ни другого скота, все богатство – пяток курей. Да и то с каждой курицы дерут налог яйцами. За всё плати налог, за огород, за каждую яблоню, вон все деревья повырубали, чтоб налога не платить. В колхозе – работа за «палочки» (так называли начисляемые колхознику трудодни, за которые ничего не выдавали). Дети не ходят в школу – не в чем, на троих одна пара опорков, бегают на улицу по очереди. Была еще девочка, померла. Как прокормить детей? Весной все попухнем с голоду. Хорошо еще председатель ставит ночевать приезжих из района, у нее в хате чисто. Кое-что ей за это перепадает: то килограмм гороха выпишут, то картошки.

Ганна допила оставшийся самогон и отводила душу. Она рассказывала про свое нищенское, бесправное житьё образно, незлобно. А сколько таких вдов, как она, в их селе! Из полсотни мужиков с фронта вернулось человек десять и то половина покалеченных. Какие с них работники? Пьют горькую. Главная колхозная сила – бабы. Молодежь норовит ударить в город, так паспортов не дают. А без паспорта милиция арестует и посадит. Она спрашивала про Киев, может чего-то еще ожидала с моей стороны, но от выпитого самогона, от ее рассказов моя голова шла кругом, и скоро я бутылхнулся в приготовленную для «представника» кровать.

А назавтра я читал лекцию уже в колхозе имени Ленина во время обеденного перерыва в мастерской, куда пригнали десяток баб из расположенной рядом животноводческой фермы. Я стоял за слесарным верстаком, расположив на нем текст лекции «О преимуществах социалистической системы хозяйства над капиталистической». Народ сидел вокруг на чем попало.

После рассказов Ганны мне как-то не хотелось читать лекцию про наши преимущества, но парторг выбрал именно ее. Я напирал

на то, что только благодаря этим преимуществам мы победили фашизм, подробно обнажал язвы буржуазной системы, когда во время кризиса уничтожаются огромные запасы продовольствия, а сотни тысяч людей голодают, когда капиталисты эксплуатируют рабочих, накапливают колоссальные богатства, приводил цифры, сколько миллиардов долларов у семейства Морганов, сколько это составляет тонн золота, что можно купить на такие деньги. Вопиющая несправедливость этого выглядела убедительно.

Народ сидел молча: кто слушал, а кто думал о чем-то своём. Парторг, объявив лекцию, ушел. Поэтому, закончив, я сам спросил, есть ли вопросы, надеясь, что сейчас мы тихо разойдемся. Но случилось неожиданное. Мужики в рваной замасленной одежде наперебой сыпали вопросы, перебивая друг друга, и сами же старались на них отвечать, с издевкой, с юмором, с хитрецой и подковыркой. Они смачно выражались, перебивая меня. Передать это можно только по-украински. Всё сводилось к одному главному вопросу нашей системы хозяйства: до каких пор будут повышать налоги на личное подворье, сколько можно драть шкуру и так уже все яблони повыврубали.

Мое положение становилось неприглядным. Я ничего не знал о новых налогах и ничего не понимал в этом. Народ смелел. Женщины, доселе молчавшие, тоже начали подавать голоса. Но тут внезапно пришло спасение. Появился парторг, и народ мигом смолкнул. Куда подевались страсти? Все стали показывать своим видом: поговорили, мол, и хватит, пора за работу. Парторг поблагодарил меня за хорошую лекцию (которую он не слушал) и люди стали расходиться.

Тут вспоминается украинский анекдот примерно тех времен. Стоит Иван в колхозной конторе, читает объявление о новом повышении налога на личное приусадебное хозяйство, чешет затылок и говорит (дальше надо обязательно по-украински):

– Ох и жмуть!

А тут как раз рядом проходил парторг:

– Хто жмэ?

– Чоботы.

– Та ты ж босый.

– З того и босый, шо жмуть.

Вечером я читал лекцию в клубе о боевом пути ленинского комсомола, которая, как и вчера, перешла в ответы на вопросы о международном положении. Наутро меня отвезли в колхоз имени

Калинина, где я прочел две лекции, а на следующий день перекочевал в колхоз имени какого-то партсъезда. Там не было телефона, никто не ждал лектора. Пришлось самому активизировать местное начальство. Теперь я предлагал лекцию о международном положении, которую прочел днем прямо в колхозной конторе, а второй раз в клубе.

Опять я ночевал у пожилой вдовы с кучей детей и слушал ее жалобы. Мужа ее забрали в армию после освобождения села, в начале сорок четвертого, и он не вернулся. У нее пятеро детей, малючка или девочка. Мать отгоняла их, но они снова оказывались поблизости, я протягивал им хлеб, картошку. Они жадно поедали и молча просили еще. Всю ночь меня донимали клопы, то и дело я просыпался, отчаянно скреб зудящие места.

Наступило долгожданное утро. Несмотря на метель, меня все же отвезли на санях в следующий колхоз – последний этап моего маршрута. Тут я опять прочел две лекции и переночевал. Теперь осталось добраться до железнодорожной станции – двадцать пять километров. Председатель колхоза сказал, что меня довезут до большого села (забыл его название), туда, в совхоз, едут как раз две подводы за грузом. А там до станции всего десять километров, его друг, директор совхоза, даст команду подбросить меня.

Мы добрались до этого села к середине дня. Оказалось, что директор совхоза уехал в Киев, в конторе никого из начальства нет. Как быть? Десять километров – это около трех часов ходу. Неохота, конечно. Но не сидеть же и ждать у моря погоды. И я двинул по указанной мне дороге. Метель усилилась. Ветер дул в спину, хорошо накатанная дорога позволяла идти быстро. Но вот беда, она раздваивается. Куда поворачивать, направо или налево?

Через полтора часа стало ясно, что я повернул не в ту сторону. На взгорке показалось село. Там мне объяснили, что надо было держать левее, а от них до станции тоже десять километров. Короче, до нее я добрался в сумерках. Поезд на Киев ожидался в полночь. Я нашел место в тесном зале, блаженно протянул ноги и стал подводить итоги командировки. Главное – выполнил задание обкома (прочел десять лекций), увидел трудную колхозную жизнь, а ко всему еще заработал около двухсот рублей (экономленные суточные, гостиничные).

Эта первая командировка особенно запомнилась. Я оставался внештатным лектором обкома комсомола до осени 1950 года,

побывал, наверное, в пятнадцати районах Киевской области. В 1950 году ЦК комсомола Украины набирал большую группу внештатных лекторов. На философском факультете предлагали чуть ли не каждому. Брала многих, совсем не имевших лекторского опыта. Меня не взяли, несмотря на столь длительную работу в лекторской группе обкома комсомола – пятый пункт (еврей!). А вскоре выпроводили и оттуда, вежливо, правда, под предлогом какой-то реорганизации. В 1949 году я начался вступить в партию. На факультетском парткоме, членом которого к тому времени стал Масько, меня долго пытали по вопросам биографии. Как это с четырнадцати лет был на фронте? Как это за год перескочил восьмой, девятый и десятый классы? Величественный декан Овандер сказал, что тут какая-то «анархическая биография» и у него – большие сомнения. Меня не приняли и этим очень обидели. Но я по-прежнему свято верил в партию и всё это пытался объяснять действиями отдельных плохих людей. Мучительные потуги оправдать общее недоверие к евреям тоже приносило свои плоды. Во имя интересов партии надо подавлять личное. Нельзя давать волю личным обидам, когда партия борется за мир, а государство Израиль стало проводником политики американского империализма.

В начале марта 1948-го меня вызвали в обком. Секретарь по пропаганде Моторнюк сказал, что мне доверят важное задание. Надо добраться до райцентра Буки и передать материалы обкома, касающиеся организации посевной кампании. На основе этих материалов должен быть проведен пленум райкома комсомола. Добраться же туда сейчас трудно. Началась распутица, от ближайшей станции до Бук шестьдесят километров, ни на чем не проедешь, разве что на волах. Надо проявить смекалку, комсомольскую волю. Дело ответственное, а ты фронтвик, значит, бывал во всяких переплетках, уверены, что задание выполнишь.

Окрыленный таким доверием, я помчался в общежитие собираться в дорогу и в тот же вечер выехал из Киева. Что бы там ни говорили сейчас о нашей слепоте, наивности, но в стремлении служить комсомолу, партии, а значит Родине, был смысл, возвышавший личность над мелочностью обывденного существования, над тяготящей чувственных неудовлетворенностей, разлада с самим собой, над низменной суетой побуждений и самолюбия. В нашем прошлом всё не так просто, как изображают это, ёрничая, новомодные «властители дум» – не только бездарные, но и талантливые журналисты и телеведущие, большей частью молодые,

амбициозные, маскирующие наглой самоуверенностью свое личностное ничтожество – ничтожество духа и характера. Я хорошо знал людей из числа старых коммунистов, истово служивших сталинскому государству, – не за страх, а за совесть.

Вкусившие высокого смысла и затем утратившие его, даже вполне благоустроенные в новой жизни, не могут избавиться от чувства «роковой пустоты», хотя и играют с собой постоянно в искусные игры самовозвышения. Если у человека нет высокого, надличностного смысла, подлинно высокой цели, если он не верит в высшие ценности, он ничтожен, как бы ни пыжился, что бы ни мнил о себе, какой бы пост ни занимал, сколько бы денег ни звенело в его кошельке. Уж я насмотрелся за свою долгую жизнь на всяких титулованных, облеченных большой властью или просто очень богатых ничтожеств!

Надеюсь, мои внуки поймут меня правильно. Я крайне далек от того, чтобы славить или оправдывать советский строй. Сам натерпелся от него достаточно унижений и несправедливостей. Я хочу подчеркнуть лишь одно: сейчас, как никогда, мы нуждаемся в укреплении, поощрении в структуре сознания человека надличностного, социального начала, ибо только оно способно придать нашему существованию подлинно человеческий смысл, противодействовать распаду и деградации отдельной личности и общества в целом. Эти деструктивные процессы, вызванные небывалым в истории разгулом субъективистского, потребительского своеволия, быстро нарастают. Они знаменуют торжество морального релятивизма, эгоистического гедонизма, ведут к ужасающему нагромождению абсурда. В этом сейчас главная угроза земной цивилизации и отдельной личности. Вот почему я поминаю добрым словом те далекие времена.

Получив ответственное задание обкома, я испытывал прилив душевных сил и был полон решимости во что бы то ни стало его выполнить. Еще в кабинете Моторнюка я изучил подробную карту Киевской области и выяснил свой маршрут. На моем пути лежало больше десятка сел. Я рассчитывал преодолеть этот путь за три дня. Ну пусть за четыре. Неужели не пройду пятнадцать километров за целый день? А может, где-нибудь и подвезут? Не раз приходилось слышать обкомовскую поговорку: «Хто нэ издыв в Буки, той нэ бачив мукы». Подумаешь, шестьдесят километров! Доберусь!

И вот на рассвете я сошел с поезда и – вперед. До первого села примерно пять километров. Дорога в глубоких колеях, залитых

водой, сбоку от дороги нога утопает в грязи чуть ли не по колено. Сапоги – худые, сразу промокли, полы шинели в грязи, я подобрал их под ремнем. Лучше уж идти по колесе, можно хоть легко вытаскивать ноги, все равно в сапогах уже полно воды. Единственное спасение – не падать духом, идти быстро, нажимая сильно на стопу, на пальцы, чтобы не околели ноги, греть в сапоге воду. Но вот дорога уходит в низину, залитую водой, там наверняка по пояс. Надо обходить. Но куда? Сколько хватает глаз – и справа, и слева – словно река пересекает путь. Левее, кажется, поуже. Я долго пытался обойти низину, увязая в топкой грязи, еле выдираю ноги, часто помогая вытаскивать сапог ухватившись обеими руками за его кирзовое голенище, иначе выдернешь ногу без сапога. От меня шел пар, я уже не чувствовал пронизывающего холодного ветра, и хлопаящие в сапогах ноги вроде бы перестали мерзнуть.

Я ушел уже от дороги больше чем на полкилометра, но водная преграда оставалась столь широкой, что форсировать ее опасно. Наверняка по грудь. Надо идти дальше. Наконец, водная гладь сузилась, пошла болотистая низина с ржавыми чубами кочек, неширокая, метров около пятидесяти, за ней взгорок. Вот туда бы выбраться. Кочки частые, крупные, по ним, пожалуй, можно ступить. А по колену в воде я уже побывал не раз, так что не страшно. И не похоже, чтобы серьезное болото, так – болотце.

Осторожно я стал делать шаг за шагом. Кое-где кочки держали, чаще приходилось переступать по колену в воде. Но вдруг кочка подо мной кувырнулась, и я оказался по грудь в болотной воде, а главное, что меня стало тянуть глубже. Я мгновенно понял, что дело серьезное, нельзя суетиться, паниковать. Тихо-тихо отгребая одной рукой, стал дотягиваться до близкой кочки. Ухватился за ее мохнатую шапку и стал медленно подтягиваться. Благо, кочка оказалась прочной. Сантиметр за сантиметром я вползал на нее грудью, с трудом выдираясь из болотной жижи. Дальше – попластунски, барахтаясь в воде, перебирался от одной кочки к другой (метров десять) и встал с опаской на ноги лишь у края болота.

Теперь – другая проблема: по грудь мокрый, шинель весит полпуда. Что делать? Снимать всё и выкручивать, а потом одевать? Замерзнешь и не согреешься. Холодно, ветер, дождь со снегом. Развести костер не из чего, поле, не видно даже кустарника, да и спички наверняка промокли. Только одно спасение: идти очень быстро, разогреть всё на себе. Я быстро стащил сапоги, вылил из них воду, выкрутил портянки, обулся и ринулся к дороге. Прошло

не менее часа, пока я чуть согрелся и выбрался на дорогу. Опять пришлось пересекать несколько ложбин почти по пояс в воде. И к вечеру, наконец, показалась деревня.

В первой же хате меня приняли на ночлег, уложили на печи, просушили за ночь всю одежду, накормили. Когда хозяин, пожилой мужик, узнал, куда я иду, он покачал головой. Потом подробно объяснил, как добираться до следующей деревни, как обойти балку, выйти к лесу и вдоль него до самой околицы. Это четыре километра. Там, в крайней хате, живет его сестра, она объяснит, как идти дальше.

Если в первый день я прошел пять километров, то во второй – десять. До Бук я добирался восемь дней. Уже в первый день я сильно простудился, мучил надсадный кашель, от жара мутило, но снова и снова мне приходилось брести по колену в воде и грязи, добираясь до очередной деревни. Добросердечные крестьяне не в одной, так в другой хате пускали на ночлег, кормили горячим, сушили одежду, иногда наливали стакан самогона и чаще всего отказывались брать деньги. Это было, пожалуй, самое тяжелое в моей жизни путешествие. Я прошел гораздо больше шестидесяти километров, так как не раз сбивался с дороги.

Однажды – это было, кажется, на четвертый день, – вынужденный далеко обходить залитую водой низину, а потом глубокий овраг, я потерял ориентир и шел наугад прямо через поле, утопая местами по колено в грязи. Лишь в сумерках, совсем выбившись из сил, я вышел на какую-то дорогу. Дух мой сник, болезнь овладела мной, душил кашель, временами я будто терял свое «я», впадал в тупое безразличие к себе и ко всему. Надвигалась ночь. Сколько еще брести по этой дороге до села? В крошечной тьме собьешься с нее, как дважды два. А ведь сил нет. Если еще хотя бы час тащиться вот так по грязи, упадешь и не встанешь. Вот тебе и выполнил задание обкома! Конец! От таких мыслей все во мне вдруг возмутилось, и вроде кашель унялся, сил прибавилось. Я быстрее зашагал по дороге. И тут опять выручила моя счастливая звезда. Впереди в ступающихся сумерках я увидел нечто большое и черное. Стог соломы! Это – спасение.

Солома трухлявая. Я вырыл длинную нору, снял сапоги, выкрутил портянки. Потом снял еще влажный пиджак, укутал им ноги, связав узлом рукава, одел снова шинель и вполз в нору, ухватив с собой сапоги и портянки, а вход завалил соломой. В таком убежище не страшен и мороз. Скоро я надышал, согрелся. Над го-

ловой и где-то совсем рядом шуршали мыши. Ну что ж, у них своя жизнь, у нас – своя, и я крепко уснул.

На следующий день я оценил, как мне повезло. До деревни пришлось идти часа четыре. Не знаю, что бы случилось, если б не попался этот стог соломы. Ведь опять пришлось преодолевать знакомые препятствия, в нескольких местах дорога оказывалась настолько размытой, расквашенной, что и при свете дня нелегко понять, где она продолжается. Как же можно было найти путь ночью?

Пришел я не в ту деревню, в которую направлялся, но оказалось, что это и к лучшему. От нее мне указали более короткую дорогу до Бук, километров пять я прошел вдоль опушки леса довольно быстро и преодолел в этот день рекордное расстояние.

И вот, наконец, к исходу восьмого дня, еще засветло, я пришел в Буки – большое село, райцентр. Погода улучшилась, подморозило, тучи рассеялись. Одно плохо: я, видимо, серьезно простудился, не спадала температура, измучил кашель. В райкоме комсомола меня встретили без фанфар, даже не спросили, как я добирался, приняли изрядно подмоченные во время моего плавания в болоте бумаги из обкома, устроили на ночлег, организовали ужин с бутылкой самогона – всё, как полагается «представнику». Я пробыл в Буках еще два дня, прочел две лекции, лечился самогоном, но без особых результатов. В обратный путь меня отправили вначале на лошадах, потом километров пять я проехал на волах, а дальше примерно сорок километров пришлось опять пройти пешком. В Киев я приехал совершенно больным, дня три пролежал в кровати, а потом понемногу оклемался и, несмотря на сильный кашель, стал, после трехнедельного перерыва, посещать лекции и занятия. В обкоме я отчитался в бухгалтерии за командировку, сдал путевки с отметкой о прочитанных лекциях инструктору отдела пропаганды, Моторнок обо мне уже забыл – много текущих дел.

Пришла весна. Чувствовал я себя плохо: слабость, кашель. Но постепенно привык, как будто так и надо. К чему только не способен привыкнуть человек! А опыта у меня в мои девятнадцать лет хватало. Я успешно сдал летнюю экзаменационную сессию и стал студентом второго курса. Пора домой на каникулы!

## БОЛЕЗНЬ

Первые студенческие каникулы — праздник: радостные встречи с родными, друзьями. Шутка ли, ты студент второго курса философского факультета Киевского государственного университета. Однако приподнятое настроение длилось недолго, самочувствие мое день ото дня ухудшалось, постоянно мучил надрызный кашель, временами охватывала слабость, апатия, ломила и побаливала спина, хотелось прилечь. Мать всё это остро чувствовала, уговаривала пойти к врачу.

В детстве я часто болел бронхитом, и лучшим средством от него служил летний отдых на Азовском море в селе Кирилловка. Тогда до войны мы выезжали всей семьей почти каждое лето, снимая комнату у местного рыбака дяди Артема. Он, его жена тетя Поля, их трое детей стали, можно сказать, нашими родственниками. Приезжая по делам в Мелитополь, они всегда останавливались у нас. Многие годы и после войны наши семьи связывала дружба.

Родители решили, что у меня сильное обострение бронхита и послали на поправку к тете Поле. В ее приземистой хате с земляным полом пахло сухой польнью (средство против блох), и этот терпкий, острый запах напоминал далекое детство.

Кирилловка славилась прекрасным песчаным пляжем, по мелководью надо идти метров двадцать, чтобы достичь глубины. Дома подходили близко к обрыву над морем, к которому вели крутые тропы и вырубленные в твердом суглинке ступени. С одной стороны село огибал лиман, где лечились грязями, и оттуда ветер доносил запах солевых отложений и усыхающих на берегу водорослей в зеленой тине.

Летом 1948 года кирилловский пляж, пусть и не так густо, как до войны, был уже заполнен курортниками, в основном женщинами с детьми из Мелитополя и Запорожья. Ребятя рзвилась на мелководье под присмотром пышнотелых мамаш, лузгавших семечки. Вдоль кромки моря степенно шествовал, ведя на поводу

осла с облезлыми боками, бывший мелитопольский бандит еврейского разлива Гриша Уманский. Отсидев многие годы, он решил «завязать» и недавно переквалифицировался в фотографа. Гриша водружал детей на осла и щелкал аппаратом на фоне моря. Он носил широкополую соломенную шляпу, работал в одних плавках, всегда окруженный любопытствующими. И немудрено, всё его тело покрывала замысловатая татуировка. На спине – голая женщина с чешуйчатым рыбьим хвостом (похоже, русалка), на одной стороне груди – портрет товарища Сталина, на другой – товарища Ленина, руки его украшали змеи и наколки мелким шрифтом, например, «Нет в жизни счастья», «Не забуду мать родную». Но больше всего мне нравилась картинка чуть выше колена – могла с крестом, а под ней надпись: «Вот где покой и не нужен конвой».

Утром я отправлялся на море, бродил по высокому откосу, спускался на пляж, купался, загорал. Тетя Поля хорошо кормила меня. С ее сыном Васей мы ходили на причал рыбкомбината, который далеко вдавался в море, садились в самом его конце, свесив ноги, и ловили на глубине бычков.

Самочувствие мое, однако, ухудшалось. Купание не доставляло удовольствия, знобило, долго не мог согреться. Вечерами меня охватывал сильный жар, грудь раздирали кашель, не давая уснуть. Дней через десять я вернулся в Мелитополь. Мать видела, что мне не стало лучше, очень тревожилась, просила пойти к врачу.

Накануне отъезда в Киев я решил втайне от матери обратиться в поликлинику, чувствуя, что серьезно заболел и надо что-то предпринимать. Меня обследовали, взяли анализы, долго вертели под рентгеном и поставили диагноз: туберкулез легких (случайно даже сохранилась выданная тогда медицинская справка). С этим я и уехал в Киев.

Там мои дела пошли всё хуже и хуже. Я еле передвигал ноги, появились боли в позвоночнике, отхаркивая мокроту, стал замечать в ней кровавые сгустки, а однажды при сильном приступе кашля из горла пошла кровь. Соседи по комнате опасно поглядывали на меня, сторонились. Надо идти в больницу.

Я не показал мелитопольской справки, но после обследований мне поставили тот же диагноз и срочно уложили в туберкулезную клинику. Однако же, лиха беда начало. Скоро выяснилось, что у меня не только туберкулез легких, но и туберкулез позвоночника.

168

А это дело уже совсем худое. Меня перевели в Институт туберкулеза на знаменитой Батьевой горе. Оттуда из окна я прощальными взором смотрел на Киев.

Мое пребывание в этом учреждении оказалось недолгим. Через две недели меня выписали (под предлогом необходимости длительного лечения в домашних условиях) и отправили к родителям «на поправку». На самом деле – умирать. В те годы такое заболевание, как правило, не поддавалось лечению. Я уже с трудом поднимался с постели и лишь собрав всю волю способен был преодолеть короткий путь в туалет. Медсестра с дюжим санитаром привезли меня на вокзал, уложили в вагоне на нижней полке и под присмотром проводника отправили восвояси.

Несчастные родители встретили меня и повезли домой на специально нанятой «линейке» (так назывался запряженный обычно одной лошастью легкий экипаж на рессорах и низкими подножками; с каждой стороны могли сидеть два человека, поставив ноги на подножки). Я лежал на «линейке», застеленной толстым одеялом, под головой подушка, по обе стороны сидели отец и мать, убитые горем. Меня трясло на булыжной мостовой, и я как-то по-новому видел знакомые улицы и дома. Встречные, здороваясь с родителями, покачивали головой, я испытывал острее чувство унижения, горечи, стыда из-за своего жалкого положения.

Первые дни дома я отупело лежал в кровати, боясь пошевелиться, чтобы не вызвать приступа боли в позвоночнике, подавленный своей беспомощностью. Мою кровать отгородили в углу комнаты старым гардеробом с потускневшим зеркалом – единственной уцелевшей и возвращенной нам вещью, оставшейся от довоенной обстановки. Мать готовила жирную пищу, помогающую будто бы от туберкулеза, настойчиво кормила меня из ложки. Не желая усугублять ее горе, я покорно глотал, преодолевая отвращение.

Узнав, что я дома, меня стали навещать приятели. Пришла и Лора Чухрай. Я познакомился с ней летом и сразу по уши влюбился (как тогда говорили). Она была старше меня на два года, высокая, статная, тонкая талия, широкие бедра; плавность движений подчеркивала прелесть ее женских форм. Я считал Лору очень красивой. Особенно нравились мне ее голубые глаза, полные чувственные губы, ямочки на щеках, когда она улыбалась. Волнистые до плеч каштановые волосы обрамляли бледное лицо, придавая ему

169

выражение благородства и целомудрия.

Наши отношения были сдержанно-дружескими, я не мог обнаружить ни малейших следов взаимности и старался не проявлять своих чувств. Но разве такое возможно утаить от женщины? Летом я часто бывал у нее дома, мы сидели вдвоем в комнате у окна близко друг от друга, сгущались сумерки, меня неодолимо влекло прикоснуться к ее руке, плечу, но я твердо знал, что этого делать нельзя. Я сильно кашлял, и Лора советовала принимать какое-то снадобье, помогшее ее отцу. Она мало говорила, любила слушать, особенно об университете, о Киеве.

Лора окончила только девять классов, не смогла из-за болезни учиться в десятом. У нее возникла странная непереносимость умственного напряжения, слабость памяти, ее часто мучили сильные головные боли. В 1943 году, когда подростку за время оккупации молодежи немцы стали угонять на работы в Германию, она каждый день пила какую-то дрянь, чтобы выгнать больную и избежать такой участи. Ей удалось остаться дома, однако ее здоровье серьезно пострадало. Правда, в нынешнем году Лора чувствовала себя гораздо лучше. Но упущено время, все ее одноклассники учатся в институтах, а она сидит дома, ей скучно, одиноко, рушится мечта поступить в университет. Я горячо убеждал ее, что не все потеряно, что можно наверстать упущенное, сдать экзамены за десятый класс экстерном и т.д. Я страстно хотел ей помочь и строил самые невероятные планы.

Теперь Лора сидела у моей кровати. Она молча смотрела на меня, иногда говорила что-то малозначительное, не вызывая ни взглядом, ни голосом жалости или беспокойства; всё то же ровное отношение, как прежде. Я попросил ее больше не приходить. Сам приду к ней в гости, когда выздоровею. Она, конечно, обиделась, но старалась не показывать этого, спокойно попрощалась и ушла.

Ночами, когда воцарялась тишина, я долго не спал и в моем сознании проплывали отчетливые образы прошлого. Как же это я поддался, прозевал, что меня сцапала и скрутила болезнь. Ведь сколько раз промерзал до костей, в каких только передрыгах не был, и всё обходилось. А тут поход в Буки сломил меня и, похоже, навсего. Ерунда какая-то вышла! Чуть собачья! Пройти войну, остаться живым и теперь умирать в домашней обстановке, в чистой постели, мать из ложечки кормит. И эта пожилая врачиха садится рядом и говорит деланным голосом: «Ну, как мы сегодня?».

170

«Рыбий жир пили?», «Молодцом, молодцом!» Я остро чувствовал фальшь, подмечал в ее глазах какой-то налет отрешенности, плохо скрытое неверие в то, что мои дела способны поправиться, я читал в них свой приговор. Мать, провожая ее, долго шепталась с ней в другой комнате и возвращалась с посереженным лицом. Она была сильной, деятельной натурой, не очень ласковой, но готовой отдать своим детям всё. Мы это знали твердо. Теперь ее душевные силы, воля сосредоточились на мне. Она понимала, что дела мои крайне плохи, но верила, надеялась, отгоняла от себя плохие мысли. Однако, временами и она, пусть на какие-то мгновения, испытывала страх и отчаяние. Я ощущал это неким шестым чувством, и сердце мое сжималось от безысходности.

Наступала ночь. Родители спали в противоположном углу, а Рома и Люся в другой комнате, подальше от туберкулезника. Я терпеливо ждал, когда все уснут, чтобы, наконец, почувствовать себя свободным от заботы, сочувствия близких и остаться наедине с самим собой. Ночью мне становилось лучше, реже мучил кашель, а главное, приходила необычайная ясность мысли и решительность. В обреченности, оказывается, есть свой вкус и, если так можно сказать, выгода: ты обретаешь исключительность, тебе позволено почти всё, открывается неизвестная ранее свобода. Эта внутренняя свобода возникает сама собой, и ты удивляешься мыслям, которые вдруг приходят в голову.

Временами я довольно спокойно думал: сколько же мне оставалось жить? Месяц, полтора месяца? Сейчас мне девятнадцать с половиной лет. Даже до двадцати не дотяну. Я пытался представить, что такое смерть. Мое воображение рисовало одну картину за другой. Вот я лежу в гробу, отец и мать рыдают, утирают слезы брат и сестра, заходит Лора, и ее голубые глаза тоже влажнеют, она, конечно, очень переживает. Нет, это не любовь, но все же чувство, которое, может, стало бы любовью. Меня привезли на кладбище, гроб опускают в могилу и засыпают. Я лежу в кромешной тьме, придавленный в глубине могилы влажной землей, и множество червей подползают все ближе и ближе, начинают пролезать в щели гроба, проедать его тонкие доски, чтобы добраться до меня. И вот уже они со всех сторон впииваются в мое тело. Я в ужасе вскакиваю и, сидя в постели, слышу, как громко стучит сердце. Оно стучит не от резкого движения (от таких движений я давно отвык), а от страха. И от страха же нет боли в позвоночнике. В мо-

171

ем подсознании это наверняка отложилось.

Потом еще несколько раз повторялось нечто подобное. Бывало я впадал в состояние безразличия, покорности, тихо плыл к своему концу, испытывая даже некое чувство умиротворенности, облегчения. Но как только моя мысль возвращалась к событиям войны, к тому, что пришлось хлебнуть на фронте, во мне начинало тлеть и затем вспыхивало возмущение, негодование, отчаянная злость на судьбу, чувство вопиющей несправедливости и немислительности того, что меня доконают какие-то микробы. Смехотура какая-то! В порыве негодования я резко поднимался, садился, поворачивался и часто не замечал боли в позвоночнике. Наконец, до сознания стало доходить, что в такие минуты мое дряблое, немощное тело начинает повиноваться. Нет, такого не может быть, чтобы я умер, этого не может быть!

Я стал сознательно нагнетать в себе ненависть к болезни, злость, презрение к чему-то непонятно огромному, тупому, глупому, бессмысленному, которое хотело моей смерти. Я думал военными понятиями: тебя окружили, ты начал обороняться, кольцо сжимается. Что делать? Сдаваться? Все равно пристрелят. А так, может и отобьешься. Сдаваться нельзя! Ни в коем случае!

Я пытался прощупать своих врагов, понять, что они делают, окопавшись в моих легких. Будучи наслышан про палочки Коха, я представлял их себе эдакими вытянутыми, наподобие червячков, зеленоватыми, со множеством крошечных лапок. Они гнездятся в одном месте, поедают легкое и позвоночник. Но поскольку эти части моего тела большие, а они – микробы, т.е. настолько маленькие, что неразличимы глазом, то им не так-то уж просто справиться. Надо их окружить, зажать и потом давить со всех сторон.

А то, что нет сил, так это только кажется. Сколько раз на фронте во время изнурительных марш-бросков я бывал уверен, что сил больше не осталось. Всё! Еще шаг-другой – и упаду. Но ты почему-то еще автоматически шагаешь, как бы не чувствуя себя. А с какого-то момента уже идешь совсем осознанно и думаешь: ничего, терпимо. Значит, силы в тебе были, только где-то спрятанные. Так и сейчас. Не дать себе упасть! Терпеть, дожидаться второго дыхания. Я вспоминал Гришу, его лихую веселость в тяжелые минуты. Он бы ни за что не сдался. Его образ поддерживал мою веру в себя – то совсем слабенькую, то усиливающуюся.

172

Днем я чувствовал себя хуже. Мать не отходила от моей кровати, кормила, поила, пичкала лекарствами. Приходила докторша со своими лживыми сосюканиями, и я про себя ругался матом. Днем, правда, я отсыпался, чувствуя сквозь сон, что мать рядом и смотрит на меня.

Помню томительное ожидание ночи, потом ожидание пока все уляжется и, наконец, уснут. Но вот слышится похрапывание отца. Наступает мое время.

Ночью ко мне приходила особая ясность, цепкость мысли, яркость воображения. По ночам я «работал»: распалал ненависть к болезни, убеждал себя, что могу ее победить, что уже постепенно преодолеваю ее. В подтверждение этого я, упираясь руками, поднимался и садился в кровати, затем ложился и снова поднимался. Иной раз при первом же подъеме меня пронзала знакомая боль в позвоночнике, а иногда это случалось лишь после второго подъема. Сраженный и униженный болью, я долго лежал, приходя в себя и восстанавливал пошатнувшуюся веру. Затем, собравшись с силами и уверяя себя, что сейчас все будет хорошо, снова осторожно поднимался. И, как правило, боли не было. Удовлетворенный, я вскоре засыпал. Такие упражнения я проделывал каждую ночь, доводил число «подъемов» до пяти, семи, десяти.

Помню в малейших подробностях ту ночь, когда наступил несомненный перелом. Наш дом стоял на улице Акимовской, отлого спускавшейся вниз к центру города. Неширокий асфальтированный тротуар проходил вплотную к дому. Днем в окнах (при раздвинутых занавесках) то и дело проплывали головы прохожих. Поздней ночью прохожий был редкостью, его шаги слышались издаലെка, я напрягал слух, стараясь представить себе этого человека. Иногда шли двое, разговаривая, и можно было уловить отдельные слова. А то вдруг ночную тишину взбаламутит дальний, быстрый нарастающий рокот грузовика, который на колдобинах у дома громыхал и лязгал, от чего звенели стекла.

Однажды поздней ночью, проделав уже свои упражнения и готовясь уснуть, я услышал голоса парня и девушки. Они приближались, и вот уже различимы слова. Звонкий, задорный девичий голос: «А ты угадай!» Мужской басок: «А я тебя сначала поцелую». Дальше какой-то шорох, невнятные звуки. Я весь напрягся. Они целовались прямо под окном. Я поднялся, опустил ноги на пол и тихо-тихо, чтобы не разбудить родителей, подошел к окну, отодвину-

173

нул занавеску. Смутные очертания обнявшейся пары, слившейся в долгом поцелуе. Сердце мое ушаченно билось. Я дождался, когда они оторвались друг от друга и молча стали удаляться.

Постоял еще немного, чуть успокоил сердце, двинулся обратно. Испуганно вскинулась мать: «Что с тобой?!» «Ничего, – ответил я, – захотелось пройтись». И в подтверждение я несколько раз прошел от окна до кровати.

Так обозначилось мое выздоровление. Теперь уже не было сомнений, я начал добивать окруженного врага. Свои упражнения я стал проделывать уже днем, постепенно расширяя их набор: размахивал руками, наклонялся и даже совершал приседания. Боли прошли, появился аппетит, радостная мать, просветленный отец старались изо всех сил, чтобы потратить моему вкусу. У врачихи в глазах вначале я читал немалое удивление, но постепенно она прониклась гордостью, приписывая мои успехи себе.

В моей памяти сохранились детали и нюансы процесса выздоровления потому, что в последующие годы я бесчисленное число раз прокручивал в своем уме эти подробности, стремясь понять, как же все-таки мне удалось выкарабкаться из казалась бы неизлечимой болезни. В дальнем уголке моего сознания все равно всегда жило удивление, чувство неудовлетворенности пониманием того, как же это произошло.

Безусловно, такой опыт, к которому сам собой подключался опыт пережитых мной в период войны многих экстремальных ситуаций, сыграл главную роль в формировании моих научных интересов. Ведь сразу после окончания университета, работая преподавателем в средней школе, лишенный возможности у кого-либо консультироваться, я стал на свой страх и риск заниматься именно психофизиологической проблемой. Ей посвящены и кандидатская и докторская диссертации, а в 1971 году в издательстве «Наука» вышла моя большая монография «Психические явления и мозг», которая убежден, представляет интерес и сейчас.

После выздоровления я снова и снова мысленно возвращался к злополучному походу в Буки. Удар, сломивший меня, был нанесен купанием в болоте. Но почему это произошло? Ведь я переживал купания похлеще. Это случилось в Восточной Пруссии в начале марта 1945 года, вскоре после моего дня рождения. Наша рота, получив задачу обойти укрепленную немецкую позицию, пересекла болото, когда из близлежащего леса, куда мы направлялись, ударили пулемет. Нам пришлось нырять, вода стояла по колено. Как за-

быть ощущение, когда тебе за шею затекает ледяная вода? В эти секунды вся энергия направлена на спасение жизни, а это в какой-то мере отвлекает от ледяной воды за шиворотом и за пазухой. Впереди, метрах в четырех-пяти, возвышалась большая кустистая кочка. Я осторожно подбирался, вернее подплывал к ней – над водой одна каска и глаза. Поднимешь голову – убьют. Когда я вплolz на кочку, она просела так, что я лежал в воде по пояс. Я посмотрел, где же Гриша? Он тоже устроился на кочке, даже, показалось, подмигнул мне. Пулемет веером сёк по кочкам. Когда очередь приближалась ко мне, я чуть глубже сплolz в воду и прижимал лицо к мокрой траве. До пулеметчика метров триста, стрелять по нему из автомата – напрасный труд, а он тебя достанет наверняка. Так мы и пролежали в болоте около трех часов, пока не стемнело. Потом был марш-бросок. Волка ноги кормят и греют. От меня шел пар. Гриша закручивал десятирусный матерный пассаж по адресу фрицев – поддерживал боевой дух. Мы вышли, правда, с большим опозданием, к немецкой позиции с тыла и начали в темноте подкрадываться, чтобы внезапно ворваться и разгромить, раздолбать всё в пух и прах. Вот уж злости накопилось! Но немцы, оказывается, уже сами ушли. Облегчив душу известными возгласами, мы улеглись в немецком блиндаже впритык друг к другу, как были в мокрых шинелях (командир роты запретил разводить костер), и мгновенно уснули. Утром разобрались, где наши, а где немцы, подкрепились, приняли по двести граммов и опять вперед. Что же в результате? Я не заболел! Забыл даже на следующий день, шли ведь тяжелые бои. И никто, ни один человек не заболел! В роте оставалось мало солдат, я хорошо помню, что никто не жаловался, в медсанбат отправлялись только раненые<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Очень похожее событие описано Александром Перегудиным, разведчиком, кавалером всех трех степеней Ордена Славы: «Долго мы удивлялись: провели в мартовской воде в общей сложности более двух часов, а никто даже насморка не схватил! Только языка нашего в госпиталь для военнопленных пришлось отправить. А русским ребятам хоть бы что! Но потом разговорились и оказалось: у каждого таких случаев в памяти ни один и ни два. И в холодной воде купались, и голодали в немецком тылу по неделе, когда от преследования по лесам уходили, и по трое суток без сна бывать приходилось... Видимо, есть у человека особый запас жизненных сил, который помогает держаться, когда, кажется, совсем невмоготу. И сила воли, конечно, нужна, чтобы наперекор всему выстоять, не согнуться» (Александр Перегудин. Разведчики идут первыми. «Новый мир», 1985, № 3, стр. 202). И далее автор говорит, что ему на фронте «приходилось не раз быть свидетелем самых настоящих чудес» (там же). Он приводит пример, когда его

ослуживец, болевший перед войной в течение нескольких лет язвой желудка в тяжелой форме, безуспешно лечился, в том числе на лучших курортах, а на фронте, в тяжелых условиях, у него всё как рукой сняло.

Занимаясь многие годы психофизиологической проблемой, я собирал аналогичные факты, стремился осмысливать их в плане возможностей психического управления соматическими процессами. Эти факты, достоверность которых не вызвала сомнений, являлись собой для обывденного сознания и медицинских норм настоящие чудеса. Особые состояния психики, вызванные фронтовой обстановкой, экстремальными воздействиями, превосходившими по своей силе, казалось бы, все пределы возможностей человеческого организма, позволяли «откупорить» и включить новые механизмы саморегуляции, поддержания целостности организма, блокировать действие разрушающих факторов. Подобные состояния психики способны вызывать у себя йоги, различные мастера в области восточных практик, некоторые гениальные европейцы, достигшие поразительных творческих результатов самопознания и самосовершенствования (например, Гарри Гудини – «король эскапистов»).

Победа над болезнью сильно укрепила веру в свои силы. Я понял, что у человека всегда есть скрытые резервы саморегуляции и жизнестойкости. Они накрепко запечатаны, замкнуты на десять замков – неизвестно почему. Как будто некое «НЗ» (на военном языке – «неприкосновенный запас»). Вопрос в том, как до него добраться? Тут нет готового рецепта, хотя всем хорошо известны общие моменты: не падать духом, напрягаться, подбадривать себя, цепляться за соломинку, искать выход. Спасение – в действии, в движении. Чисто субъективно, мысленно ничего не добьешься. Но самое главное – творческая находка!

Анализируя все перипетии моего стремления выжить, я прихожу к выводу, что переломный момент связан с моим «открытием», когда однажды ночью на пике ужаса и злого отчаяния я, давно уже лежавший пластом, вдруг вскочил, сел в кровати и не ощутил боли в позвоночнике. С тех пор я сознательно нагнетал ненависть к болезни и назло всему и всем (и прежде всего – са-

Аналогичный случай. Мой дружок-философ много лет страдал язвой желудка. Однажды я уговорил его пойти со мной в поход на байдарках. И он согласился, к ужасу своей жены. Как назло, погода выпала нам хуже не придумаешь. Все две недели шли непрерывные дожди. Мокрые и промерзшие, мы одолевали

маршрут. Спали в сырой палатке, ели в сухоматку. Мой дружок уминал консервы с черствым хлебом, забыв про свою язву. С тех пор он стал заядлым байдарочником, и я не помню, чтобы он жаловался на большой желудок.

мому себе!) поднимался и садился, делал эти «упражнения», и все более убеждался, что нахожусь на правильном пути.

Этот опыт преодоления болезни стал для меня исключительно важным во всей дальнейшей жизни, питал мои силы в экстремальных ситуациях, служил, если так можно выразиться, творческим фактором в сложных взаимоотношениях с собственной упрямой телесностью, в мучительных, унизилах тягжах со своей физиологией. Как бы мне хотелось, чтобы этот опыт стал хотя бы в самой малой мере эдакой палочкой-выручалочкой для моих детей и внуков, если им когда-либо вдруг покажется, что они очутятся в безвыходном положении.

Здесь наверное будет уместно кратко рассказать о моих болезнях вообще. Ведь наследственность – вещь серьезная, а потому должна быть интересна моим потомкам.

Как и большинство сверстников, я переболел скарлатиной и корью. В детстве был подвержен бронхитам. Мать рассказывала удивительную историю. В три с половиной года я тяжело заболел дизентерией. Ничто не помогало. Мне становилось все хуже и хуже. Родители были в отчаянии. Мать говорила, что от меня остались кожа и кости, я еле двигался, не реагировал на ее слова, глаза потухшие. Она чувствовала, что я умираю. И вот однажды, когда отец ел борщ, я как бы вышел из забытия и стал просить борща. Мать понимала, что это может меня убить. Но я так жалобно просил, плакал и снова просил, что она решила: будь что будет. Она скормила мне полтарелки борща, который я ел с жадностью (непонятно, откуда взялись силы). Поев, я сразу уснул. И после этого началось быстрое выздоровление.

При рождении у меня обнаружили дефект позвоночника – оказались сросшимися два позвонка. Это причинило много тревожных родителей. Такой наследственный дефект встречался редко и еще в грудном возрасте мне пришлось пройти через руки многих врачей. Но развитие мое шло нормально и родители постепенно успокоились. Внешне этот дефект был почти незаметен. Я получил его скорее всего по материнской линии, хотя у матери его не было. Она выглядела стройной, крепко сложенной, здоровой и весьма привлекательной женщиной.

К сожалению, этот дефект унаследовала и моя дочь, причем даже в несколько худшем виде. Я и моя жена очень переживали из-за этого. В подростковом возрасте у дочери были некоторые проблемы. Но она с ними справилась и, как я думаю, стала очень интересной женщиной с прелестной фигурой. У внуков, слава богу, этого дефекта нет.

В отличие от моего родного брата я оказался низкорослым (162 см.) и лицом больше походил на отца. Не исключено, что мой рост оказался связанным с врожденным дефектом позвоночника, но вполне возможно, что на это повлияла контузия и травма позвоночника в пятнадцатилетнем возрасте (я описывал этот случай в разделе, озаглавленном «Прошай, Родина!»). Не случайно туберкулезный процесс в позвоночнике возник именно в месте дефекта.

Через два года после болезни я подверг свой позвоночник серьезному испытанию, которое он выдержал. На философском факультете возникла новая мода – парашютный спорт. В конце 1950-го года этим занимались несколько десятков студентов. Среди них было много девочек. Некоторые получили даже звание мастера спорта. Я тоже пошел в парашютисты. Надо было преодолеть медицинскую комиссию. Поскольку мой дефект стал весьма заметен (небольшое горбообразное искривление), вместо меня на освидетельствование к хирургу отправился мой приятель Ким Дубинский. Всё прошло гладко, меня зачислили.

Я совершил более тридцати прыжков. Во время приземления, особенно при ветре, нагрузка на позвоночник – огромная. Несмотря на то, что ты пружинишь ногами и мягко падаешь, удар может быть весьма сильным – ведь скорость приземления достигает десяти метров в секунду. Моя парашютная карьера окончилась серьезной травмой стопы (вывих, разрыв связок). Неудачное приземление при сильном ветре из-за беспечности, зазнайства.

При ветре часто возникает явление раскачивания. Длина строп больше десяти метров, тебя качает как маятник. При этом кажется, что качаешься не ты, а плоскость земли наклоняется то в одну сторону, то в другую. Очень интересное состояние, которое хочется продлить. Чтобы устранить раскачивание, надо заблаговременно начать «работать» стропами, натягивая их то справа, то слева. Я не спешил приступать к этому скучному делу.

И точно также хотелось продлить процесс свободного падения при исполнении прыжков с задержкой раскрытия парашюта. Это –

необыкновенное, захватывающее дух ощущение! Как будто черт в тебе сидит какой-то и вопреки страху, тревоге ты медлишь и медлишь дернуть за кольцо, продлевая свободное падение. Когда я в первый раз испытал чувство свободного падения, оно длилось наверное секунду, то был близок к потере сознания, к шоку. Подобное происходит с каждым. Поэтому первые прыжки осуществляются с так называемым принудительным раскрытием, тебе нужно только найти силы сделать шаг в бездну, парашют раскроется сам.

Особенно труден второй прыжок. Ты уже испытал ужас своего ничтожества в момент падения, стоишь на крыле и не можешь сделать шаг – какой-то полный паралич управления собой. Летчик повторяет энергичный жест рукой: давай же, давай! За шумом мотора уже слышна его ругань. Ведь если ты промедлишь, ему придется делать второй заход. Высота восьмисот метров, внизу хорошо видны наши девочки, задравшие головы в ожидании моего прыжка. Это уже непереносимо. Непонятно, каким образом я проваливаюсь. Над головой раздается хлопок раскрывшегося парашюта. Тишина, восторг. Вначале даже кажется, что ты застыл в воздухе, не снижаешься.

Однако примерно после десятого прыжка постепенно начинаешь входить во вкус. Теперь уже сам, отсчитав мысленно три секунды, ты дергаешь за кольцо и за эти долгие три секунды пытаешься освоить свое заваливающееся куда-то вбок тело, стремишься управлять им, смотреть на землю, различить внизу своих боевых подруг.

А когда переваливает за двадцатый прыжок, ты – уже ну просто «властелин» неба, можешь лететь в свободном падении секунд десять, выправляя свое тело лицом вниз, обозревать всё вокруг, переживая необыкновенное чувство свободы. И вот тогда в тебе и просыпается тот самый бес, который заставляет медлить и медлить дернуть за кольцо.

Этот демон-искуситель объявляется вдруг и при раскачивании. Поле аэродрома, дома соседней деревни, зеленая озимь наклоняются в одну сторону, выравниваются, потом наклоняются в другую сторону, они все ближе. Пора начинать «работать» стропами, гасить раскачивание. Пора! Успеешь еще. Пора! Ну еще два «маятника». Земля уже совсем близко. Начинаю резво «работать». Быстрее, быстрее! Нет, не успеваю. Вместо того, чтобы встретить

землю прямо и мягко спружинить, меня ударяет боком. Результат известен. А позвоночник мой в полном порядке.

Около трех недель наверное я передвигался на костылях. Заканчивается четвертый курс, скоро экзамены. И когда я отбросил костыли, было уже не до парашютного спорта. Но навсегда в душе моей осталась некая благодать неба и свободного падения, тяга к высоте и бездне. В горах бывало стоишь на краю обрыва или вот даже на балконе моего пятнадцатого этажа и какая-то сила властно тянет тебя сигануть вниз. Отходишь от греха подальше.

В тридцать лет у меня обнаружилась нулевая кислотность, чувствовал себя скверно, но на работоспособности это не очень-то сказывалось. Съездил в Моршин (курорт недалеко от Львова), попил водичку. Скоро всё прошло. Уже в те годы у меня подспудно сформировалось и укрепилось правило: не прислушиваться к своему обмену веществ. Побаливает что-то, ноет, сердце не так трепыхается – поменьше внимания, пройдет.

Однако, еще одно заболевание заслуживает подробного рассказа, ибо оно, вне всякого сомнения, связано с наследственностью (на этот раз по линии отца). Примерно в тридцатилетнем возрасте у отца были какие-то проблемы с сердцем (сильные перебои и т.п.), он ездил в Кисловодск, подлечился там и вроде бы больше не жаловался. В том же возрасте и у меня появились странные сердечные приступы. Они возникали, как правило, ночью, в процессе засыпания. Вдруг сердце как будто останавливается, перехватывает дыхание, в груди тупая тошнотворная тяжесть; кажется, что умираешь. В испуге вскакиваешь, сердце не бьется, а медленно булькается. Проходит несколько секунд, и оно начинает набирать ритм, бьется вначале слабо, а потом все сильнее и сильнее, и вот уже колотится так часто и громко, что кажется сейчас разорвется. Снова охваченный животным страхом, ты ждешь конца.

Сколько это длится? Целую вечность. На самом деле секунд двадцать. И, наконец, слабый луч надежды: кажется, сердце стало биться чуть тише. Но вот уже оно явно успокаивается и входит в обычный ритм. Ты чувствуешь себя воскресшим.

Дней через десять, когда приступ повторился (опять же в момент засыпания), я уже твердо знал, что не умру, и терпеливо переживал весь этот процесс. Потом приступы возникали с периодичностью в десять-пятнадцать дней в более слабой форме, я терпелся, приспособился и перестал беспокоиться. Подумаешь,

надо перетерпеть пару минут и всё пройдет. Заметил, что когда ходишь по комнате, становится чуть легче и сердце скорее успокаивается.

По настоянию жены я весной поехал в Кисловодск, приобрел курсовку в санаторий, принимал ванны, совершал долгие прогулки в горы, и приступы сняло, как рукой. Много лет я о них и не вспоминаю.

Ранней весной 1972 года – я жил тогда уже в Москве, работал в журнале «Философские науки» и был профессором философского факультета МГУ – мои забытые сердечные дела напомнили о себе. После бессонной ночи, выпив пару чашек крепкого кофе, я поехал на Петровку, чтобы забрать у сапожника ботинки, сданные в ремонт. Получив их, я шел вниз по Петровке, приближаясь к Столешникову переулку. И вдруг меня охватила непонятная тревога. Я удивился: с чего бы это? Чувство тревоги, острого беспокойства нарастало, захватывало целиком, сердце сжималось, и я стал понимать, что со мной происходит что-то катастрофическое. Сердце будто тяжелый камень, дыхание прерывается, смертельная мука, охватившая все тело. Я останавливаюсь, напрягаюсь изо всех сил, чтобы не потерять сознание, не упасть. Вроде бы чуть отпустило. Я поворачиваю за угол в Столешников переулок, и тут накатывает новая волна смертельной муки. Лица прохожих, все предметы расплываются, сейчас позорно упаду прямо на тротуар. Инстинктивно делаю еще пару шагов и опускаюсь на цокль витрины магазина (тогда он назывался «Меха»).

Я сидел, прислонившись спиной к стеклу в самом углу витрины, и цеплялся за соломинку своего «я», то почти погружаясь во тьму, то выплывая, отчаянно старался удержать себя, не провалиться в небытие. Сколько это продолжалось – не знаю, наверное, должно. Ко мне кто-то подходил, спрашивал: «Вам плохо?» Вокруг собрались люди. Я не различал их лиц, не отвечал, не мог отвлечься от соломинки, за которую держался.

Прибыла «Скорая помощь», меня уложили на носилки, сделали два укола, задвинули вовнутрь. Я не терял сознания, но находился где-то на грани бытия и небытия, сохранял чувство усилия воли, смутно воспринимал окружающее, однако ясно слышал и понимал речь. Сразу после уколов мне стало легче, и когда «Скорая помощь» подъехала к больнице, я был уже почти в норме. Сам под-

нялся, поддерживаемый мужчиной в белом халате, вошел в приемный покой и потом все делал самостоятельно. Как будто коллапса вовсе и не было.

Однако после кардиограммы меня уложили в кровать и предписали полный покой. Врачи сказали, что от резких движений я могу умереть, что нормальное самочувствие еще ни о чем не говорит, есть показания кардиограммы. На следующий день меня «по блату» перевели в Институт имени Мясникова – главный центр терапии сердечно-сосудистых заболеваний (мать моего аспиранта оказалась ученым секретарем этого Института).

Тут за меня взялись основательно. Одна кардиограмма следовала за другой, были сделаны все мыслимые анализы, важные профессора осматривали и ощупывали меня. Наконец приговор: инфаркт миокарда. Со всеми вытекающими отсюда лечебными мерами.

Ни фига себе! Это же – инвалидность. Кому такая жизнь нужна! Конец? Неужели правда? Ведь чувствую себя я совсем неплохо. Нет, не может быть! Размышляя, я убеждался, что это не инфаркт.

Здесь надо сделать важное отступление, иначе многое из того, о чем идет речь, будет непонятно. Работая в Донецком медицинском институте преподавателем, а потом доцентом кафедры философии, я одиннадцать лет руководил методологическим семинаром профессоров-клиницистов. Среди участников моего семинара были такие выдающиеся терапевты как Воронов, Губергриц, Франкфурт. В начале пятидесятых годов в связи с кампанией против космополитов, «делом врачей» и т.п. их изгнали с кафедр Киевского и Харьковского медицинских институтов. Наш же ректор, умный и ловкий Андрей Михайлович Ганичкин, очень влиятельный в Донецке человек, водивший дружбу с самим первым секретарем обкома партии, быстро их всех подобрал, благоустроил, пригрозил. Так в Донецком медицинском институте оказались блестящие специалисты мирового класса. Они, конечно, лечили обкомовское начальство, их жен и детей, но обязаны были, как все, изучать марксистскую философию. И меня, единственного в институте дипломированного философа, партком назначил их наставником по этой части.

Вначале они смотрели на руководителя семинара как на мальчишку, но вскоре мне удалось найти верный ход – я предложил им тему: методологические вопросы медицинского диагноза. Методо-

логия науки, только начавшаяся тогда у нас развиваться как философская дисциплина, могла открыть немало интересного моим подопечным, ибо направляла их мышление на анализ собственных интеллектуальных усилий в процессе изучения больного и постановки диагноза. Тут-то я их и зацепил. На первых порах мэтры демонстрировали некоторое недоверие, смешанное с удивлением: неужели наша «великая» и «единственно верная» философия способна сказать нечто дельное и интересное? Но постепенно, увидев, что здесь нет никакого кондового марксизма, а речь идет о вполне реальных вещах, полезных в осмыслении их практического опыта, – о сущности проблемы, гипотезы, чувственных данных, интуиции, о роли эмпирических и теоретических средств в обосновании диагноза и т.п., – смягчили свою высокомерно-скептическую манеру, а потом и вовсе она куда-то улетучилась. Мэтры страстно дискутировали друг с другом, я выступал в роли скромного арбитра, исподтишка подливал масла в огонь. Со временем у нас установились доверительные и, скажу без преувеличения, дружеские отношения.

Меня приглашали в клинику, я участвовал в консилиумах. Это была великолепная школа творческого мышления, сыгравшая в моем развитии значительную роль. Особенно запомнилось общение с Вороновым и Губергрицем – оба заведовали кафедрами. Первый – кафедрой госпитальной терапии, второй – факультетской терапии. Оба являлись авторами соответствующих учебников для медицинских институтов и, кстати, страстными любителями и коллекционерами живописи.

Александр Яковлевич Губергриц, среднего роста, широкоплечий, сутуловатый; несоразмерно крупная даже для таких широких плеч голова, воздвигнутая на них будто без шеи, так что его подбородок, когда он сидел, упирался в грудь; высокий лоб, длинный прямой нос и густые, черные, как смоль, волосы, без малейших признаков седины. На нем всегда белоснежный, туго накрахмаленный халат. Неспешная манера общения, прекрасная русская речь, лаконичные, выверенные фразы.

Вот он демонстрирует студентам больного. Какая логика! Изложение анамнеза, тщательное обоснование диагноза, скрупулезнейший анализ тех явлений, которые не укладываются в привычные рамки. Он учил студентов лечить не болезнь, а больного, учил многотрудному искусству постижения конкретного, именно

этого неповторимого человека. Александр Яковлевич умел расположить к себе больного, выслушивал его не с помощью трубки, а непосредственно ухом, он был убежден, что главное – понимание данной индивидуальности, а значит, ее наследственности, биографии, психических особенностей. У него я учился практической логике, доказательности, умению искать и находить контраргументы против заключений коллег, а так же и против своих собственных.

Если профессор Губергриц выглядел потомственным интеллигентом и демонстрировал изящную рассудительность, тонкий рационализм, то Абрам Соломонович Воронов во многом выступал его противоположностью. Он был выше Губергрица, худощавый, с небольшими остатками рыжеватых, поседевших волос; цепкий взгляд серо-голубых глаз не очень-то располагал к нему, как и его речь – отрывистая, не вполне четкая, с частыми скептическими интонациями, восклицаниями и обязательной жестиком. Неожиданно он впадал в состояние задумчивости, пожалуи, даже отрешенности, цедил как бы про себя отдельные слова не обращая внимания на собеседника. Некие, правда, слабые проявления еврейской местечковости, сочетались в нем с высокомерием и снобизмом. В общем, прямо скажем, личность мало симпатичная и весьма далекая от аристократических манер.

Но профессор Воронов заслуженно считался лучшим диагностом и терапевтом. На прием к нему стояли большие очереди, он занимался частной практикой (назначая за прием высокую плату). Несмотря на то, что в те времена подобные дела осуждались, ему все шло с рук: Воронов в Донецке был один, что с ним поделаешь. Случись, не дай бог, беда с партийным боссом, как без него обойдешься.

Он обладал поразительной врачебной интуицией, талантом находить короткий и действенный путь лечения. Я бывал в его клинике весьма часто. Проводимые им разговоры больных сильно отличались от того, что я видел у Губергрица. Воронову недоставало логики, обстоятельности, говорил он кратко, вяло. Правда, когда задавали вопросы, он часто оживлялся, речь его становилась яркой, увлекательной, а иногда вдруг на него что-то нисходило и он начинал выдавать такие откровения из своего врачебного опыта, такие тонкие замечания, оригинальные суждения, что это для всех надолго становилось притчей во языцех. Воронов – вечный оппонент Губергрица – приглашал меня к себе в клинику, когда по-

дались особенно интересные случаи. Хорошо помню, как однажды он позвонил и сказал, что ему сегодня «есть-таки что показать». Я немедленно поехал.

В кабинет привели женщину лет сорока с сильной желтухой. Побеседовав с ней, хитро улыбаясь, Воронов отпустил ее. Так чем же больна эта женщина? Подобная желтуха возникает при болезни Боткина и еще при нескольких заболеваниях, которые сразу же были исключены. Оставалось одно – опухоль, закупоривающая желчные протоки. Однако тщательные рентгенологические обследования ее не обнаружили. Что делать? Женщина лежит в больнице уже больше месяца, у нее постоянная субфебрильная температура, состояние ее ухудшается. Но ведь бывают случаи когда маленькая опухоль рентгенологически не выявляется. Ничего другого быть не может. Дальше медлить нельзя. Решили делать операцию. Но муж этой женщины был против операции и под его влиянием она наотрез отказалась. Проблема!

В итоге эта больная попала в клинику Воронова, и тот после первой же беседы с ней поставил диагноз. Оказалось, что около двух месяцев тому назад больная была в гостях в деревне у дальней родственницы и поела там с аппетитом тыквенную кашу. Тыква же содержит особый желтый пигмент. А у женщины такая редкая биохимическая аномалия, что пигмент из организма не выводится. Он циркулирует в крови и создает феномен желтухи. Воронов хитро прищуривается и говорит: «Ну, как вам это нравится?»

Он вылечил женщину за два дня. А так бы ей не миновать в конце концов операции. Я же потом не раз думал: как это ему удалось столь быстро докопаться до истины. Вот что значит талант, дар интуитивного постижения.

Когда у меня возникли первые сердечные приступы, я обратился к профессору Губергрицу. Он внимательно меня обследовал и сказал, что все в пределах нормы, такое бывает: возможно, от переутомления или же это временная возрастная дисфункция. Пройдет. И прописал какие-то капли, которые я пару раз принял и забыл о них. Однако, естественно, я стал интересоваться сердечно-сосудистыми заболеваниями и многое узнал от своих друзей-медиков.

Теперь становится понятнее, почему я засомневался, а потом решительно отверг диагноз «инфаркт миокарда». Меня поместили в отдельную палату под надзор сестры. Когда она выходила, я экс-

периментировал: много раз делал приседания. Никаких болей в сердце, даже его ритм почти не изменялся. К тому же общее самочувствие нормальное. Какой же это инфаркт?!

Я приводил факты лечащему врачу, но у того в руках была кардиограмма, и он вежливо пропускал мимо ушей мои слова. Действительно, электрокардиограмма представляла картину инфаркта. В середине дня обход совершал профессор со свитой. Ему я тоже настойчиво доказывал, что у меня нет никакого инфаркта, ссылаясь на похожие явления, которые пережил в тридцатилетнем возрасте. Конечно, моя активность в какой-то мере его озадачивала. Короче, через три дня после очередного консилиума, диагноз инфаркта был все-таки снят и заменен другим: стенокардия.

Меня перевели в двухместную палату. Соседом по койке оказался генерал-майор, начальник милиции Астраханской области. Там вспыхнула эпидемия холеры, в борьбе с которой он надорвался и схлопотал инфаркт. Лечится второй месяц, самочувствие его уже приличное, ему разрешают гулять во дворе. Высокий, грузный, лет под пятьдесят, он встретил меня с распростертыми объятиями и сразу спросил, играю ли я в преферанс. Пульку ведь можно сообразить, как минимум, на троих, а третьего партнера генерал не мог достать. Получив на свой вопрос утвердительный ответ, генерал, истосковавшийся от безделья, предложил не медлить. Он привел из соседней палаты субъекта кавказской наружности, и мы сели за карты.

Совместная жизнь с генералом текла плавно, размеренно: врачебный осмотр и процедуры попеременно с пульсами. Диагноз «стенокардия» меня совсем не устраивал. Я специально несколько раз поднимался быстрым шагом на пятый этаж. При стенокардии значительные физические нагрузки, как правило, вызывают ощущения боли, жжения в области сердца. Этого не было и в помине. Я приходил к убеждению, что мое заболевание явно другого сорта.

Чувствовал я себя вполне здоровым. А между тем мои студенты ждали очередной лекции. Я читал тогда на философском факультете МГУ спецкурс «Сознание и мозг» и уже пропустил две лекции. Какой смысл лежать в больнице и лечить болезнь, которой нет. Просьбы же о выписке встречали решительный отказ. И тогда мой аспирант подогнал в Петровверигский переулок, где располагался Институт имени Мясникова, такси, я перелез через невысокую

больничную ограду, приехал домой, переоделся, прочел лекцию, затем снова заехал домой, облачился в больничный халат и опять через забор. Генерал прикрывал эту операцию. Успешно прошла через два дня и следующая отлучка на лекцию. В третий же раз я, малость обнаглевший, решил после лекции переночевать дома и явиться в больницу утром. Но мое отсутствие, несмотря на старания генерала, засекла дежурная сестра и доложила по начальству. Это – ЧП! На беду какой-то постинфарктник в то утро сильно выпил и был пойман с поличным. На пятиминутке оба происшествия гневно обсуждались. Не могло быть и речи, чтобы работягу-слесаря наказали, а профессора МГУ нет. В результате и меня, и его выписали за нарушение режима. Мне выдали вместе с пачкой кардиограмм полный набор документов, в которых всюду значился диагноз «стенокардия» (забыл какой степени).

Спустя год или два по настоянию моей второй жены Марины, а в еще большей мере тещи, меня устроили на прием к тогдашнему светилу по сердечным заболеваниям профессору Сыркину. К тому времени я уже поставил себе диагноз: динцефальный синдром. Так именуют довольно странное и сравнительно редкое заболевание (скорее всего генетически обусловленное); при нем периодически в тех отделах мозга, которые ведают сердечно-сосудистой деятельностью под влиянием ряда внешних факторов (резкий перепад температуры, магнитные бури и т.д.) и не совсем понятных внутренних биохимических сдвигов возникают дисфункции, которые обнаруживаются в описанных выше симптомах. В дальнейшем они проявлялись у меня в слабой форме и когда возникали я большей частью просто не обращал на них особого внимания, занимаясь своим делом и ждал пока пройдет. Изредка накапывало по сильнее (это зачастую происходило ночью), и тогда я, желая поскорее уснуть, принимал полтаблетки обыкновенного реланиума.

Профессор Сыркин поставил мне диагноз: динцефальный синдром. С ним я и живу мирно почти тридцать лет. Во время диспансеризаций, проводимых в МГУ ежегодно и в обязательном порядке, врачи, увидев мою кардиограмму, начинали суетиться (в ней всегда обнаруживалась патологическая картина). Я рассказывал им свою историю и не без труда избавлялся от множества дополнительных обследований и врачебной опеки.

Мне приходилось переносить тяжелейшие физические и психические нагрузки во время байдарочных походов по знаменитым

порогам рек приполярного Урала, работать по двадцать часов в сутки, бывать во многих экстремальных ситуациях, и я не помню ни одного дня, чтобы из-за болезни не трудился, не выполнял намеченного. Так что можно жить с этим диэнцефальным синдромом. И неплохо.

То, что я последние двадцать пять лет практически не болел, конечно, связано с наследственностью, но, думаю, есть тут и моя личная заслуга. Почти столько же лет, как хорошо известно моим близким, я занимаюсь каратэ. Чтобы завершить тему болезни и здоровья в этом разделе воспоминаний и больше к ней не возвращаться, уместно будет рассказать здесь о моих пристрастиях к восточным практикам психорегуляции, о той пользе, которую мне принесли многолетние занятия каратэ-до.

Приобщился к каратэ я случайно, благодаря моему бывшему студенту Игорю Кузнецову, с которым у меня сложились и до сих пор сохраняются дружеские отношения. Он увлек меня рассказами о своем друге, создавшем школу каратэ. Вместе с Игорем мы начали у него заниматься. Посетив два занятия, я решил, что это не для меня: слишком тяжело, грубо, и учитель – человек, хоть и опытный, но малообразованный. Я собирался было уже сказать Игорю, что не приду на занятие, как он позвонил и стал радостно живописать, какие отличные кимоно он сшил для меня и себя. Ну, теперь не прийти на занятия нехорошо. Ладно, подумал я, схожу еще пару раз, а потом дам задний ход.

Оттягивая неприятный разговор с Игорем, я постепенно втянулся и вошел во вкус, стал читать литературу о восточных единоборствах, посещать соревнования, общаться с каратистской братией. Меня по-прежнему не устраивал учитель, принадлежавший к школе сэно – корейскому стилю каратэ, довольно грубому и упрощенному, который тогда в Москве занимал господствующее положение, благодаря таким фигурам как Штурмин и Касьянов. У них были связи, средства, хорошие спортивные залы, а потому множество приверженцев. Я искал другого учителя, перебирал разные варианты. И, наконец, случай свел меня с тем, кто действительно стал моим Учителем на многие годы.

Это был Владимир Елисеев. На вид совсем невзрачный, чуть-чуть повыше меня ростом, круглолицый, с блеклыми русыми волосами, изрядной лысиной-тонзурой, похжей на мою, в очках. И только его серые суженные глаза, когда он пристально смотрел

на тебя, выдавали незаурядность этой личности. Говорил он медленно и тихо. Во время же занятий предпочитал все делать молча, согласно с восточной традицией; ты должен лишь повторять его движения и действия, стремясь постигнуть то внутреннее и сокровенное, что составляет их подлинный смысл. В его поведении, манере общаться – никакой амбиции, ни малейшей претензии на особое положение, на превосходство. Ученики звали его просто Володей, хотя некоторые из них были намного младше. Препятств мой учитель ходил перед нами гололем, высокомерно приказывал, покрикивал на неумелых. Володя никогда не повышал голоса, никого не ругал и не хвалил, вел себя просто и естественно, как равный. Однако все, в том числе и я, который был старше некоторых учеников лет на тридцать, чувствовали и ценили его несомненный авторитет.

Когда я стал учеником Володи, ему перевалило слегка за тридцать, он был уже кандидатом психологических наук, работал в Институте психологии АН СССР. Думаю, он являлся не только одним из самых крупных мастеров каратэ-до в нашей стране, но и наиболее эрудированным в вопросах истории, теории и психологии восточных единоборств. К тому же Володя основательно владел искусством тай-цзи-цюан (китайская система упражнений в форме плавных, медленных движений, имеющих медитативно-энергетический смысл и боевое назначение).

Он принадлежал к школе Йёчи-рю (по имени ее основателя сэра Йёчи – японца с Окинавы, который, достигнув там высокого дана, разочаровался в традиционно жесткой, упрощенной технике каратэ, отправился в Китай и многие годы был учеником мастера ушу, т.е. попытался вернуться к истокам). Ведь Шаолиньское боевое искусство датируется пятым веком нашей эры, а на Окинаву оно пришло примерно в семнадцатом веке, где постепенно, в ходе многочисленных преобразований под воздействием местных практик единоборства, и сложилось то, что именуется каратэ – боевое искусство, хотя и весьма эффективное, но лишенное значительной части того богатейшего содержания, которое характерно именно для шаолиньской традиции. Сэр Йёчи в итоге создал свой стиль, в котором доминировала мягкая, континуальная техника, заимствованная из китайских источников и создававшая новый диапазон степеней свободы и, значит, динамических возможностей. При этом особое внимание уделялось медитативным и психонергетич-

ческим факторам, опыту дзен-буддистского воспитания спокойствия и скромности духа, примату внутренних ценностей над внешними. Мастер Йёчи приехал в Англию и создал там свою школу элитарного каратэ, внесшую значительный вклад в освоение на европейской почве ценностей восточной культуры. Его заслуги были особо отмечены английской королевой.

Володя прошел долгий путь исканий. Его первым учителем был знаменитый японец Сато, у которого он считался лучшим учеником и получил коричневый пояс (весьма высокий ранг, последний перед черным поясом). Испытывая растущую неудовлетворенность, он ушел от Сато, учился у китайцев и наконец стал приверженцем стиля Йёчи-рю, в котором он, по моему убеждению, достиг значительных успехов.

Я благодарен судьбе, что она свела меня с ним. Редко бывает, чтобы после пятидесяти лет человеку открылись новые горизонты мироощущения. Я учился у Владимира Елисеева восемь лет и он, при всём моем философском и психологическом опыте, заставил меня понять и освоить нечто существенно новое и прежде всего в самом себе, освободиться от многих тягостных амбиций и униительных внешних зависимостей, особенно от потребностей внешнего одобрения – отличий, наград, повышения в чинах, почестей, похвал в прессе. Боже, какое счастье быть действительно свободным хотя бы от этого, не страдать от того, что тебе кто-то (государство, начальство и т.п.) чего-то не додал, спокойно и снисходительно взирать на гудящую, раскаленную страстями ярмарку тщеславия.

Конечно, совершенно порвать эти зависимости невозможно, но резко ослабить их, стусевать, проявить во многих случаях независимость — это мне удавалось. И, уверен, лишь благодаря той школе, которую я прошел у Владимира Елисеева.

Многие годы я продолжаю заниматься каратэ-до. Здесь «до» (от китайского «дао») означает, если говорить кратко, «путь», путь самопознания и самосовершенствования. Какой бы отрезок пути ты ни прошел – у меня уже очень давно черный пояс – ты остаешься скромным учеником, стремящимся сделать еще один шаг вперед. Этим каратэ-до отличается от тех плебейских, примитивных вариантов каратэ, которые демонстрируют амбициозную позу, культ силы, превосходства и стали одним из проявлений массовой культуры. В нашей школе не принято чем-то внешне отличаться от

обычного человека, не принято участвовать в публичных соревнованиях, не принято в конфликтной ситуации сразу бить противника (лучше разрешить ее мирным способом) и т.п.

Я серьезно занимался не только практикой каратэ-до, но и философскими, теоретическими вопросами, написал больше десятка статей по этой тематике. Так уж вышло, что мне пришлось заниматься и организационными делами. На протяжении восьмидесяти годов каратэ в Советском Союзе было запрещено. Существовала специальная статья в Уголовном кодексе – двести девяностая-прим. Она давала право сажать в тюрьму. Поэтому Володя занимался с нами, можно сказать, подпольно. Одно время у себя дома, а потом в полупустой квартире художника Анатолия Зверева, который лишь изредка ночевал в ней (Зверев был самым близким другом Игоря Кузнецова и моим приятелем, об этом поразительном человеке с явной печатью гениальности я постараюсь рассказать, если дойду до подробного описания московского периода моей жизни). Занимались мы с предосторожностями, чтобы не застукала милиция.

С началом перестройки охота за подпольщиками-каратистами несколько ослабла, но все равно дело это оставалось уголовно наказуемым. К этому времени сильно пошел в гору один из наших философских коллег – Иван Тимофеевич Фролов. Он стал вначале главным редактором журнала «Коммунист» и советником Горбачева, а затем Секретарем ЦК КПСС и главным редактором газеты «Правда», сохранив при этом за собой все начальственные должности в философской епархии. Так, например, он оставался Президентом Философского Общества СССР. В рамках этого Общества много лет работала руководимая мной секция «Проблемы психорегуляции, самосовершенствования и резервных возможностей человека». И мне пришла в голову мысль создать как бы от имени секции под крышей Философского Общества Центр изучения восточных единоборств с программой сотрудничества советских и китайских философов, исследованием психологических, этических, юридических проблем восточных боевых искусств.

Вице-президентом Философского Общества был Слава Столяров, заведующий кафедрой философии Института физкультуры, мой приятель, понимавший суть дела и готовый оказать поддержку. Мы дождались, когда Фролов прибыл самолично проводить Правление Философского общества, а это происходило край-

не редко. Он подъехал с охраной на длинном черном ЗИЛе, как его тогда называли «членовозе», ибо такой автомобиль полагался членам Политбюро (каковым Фролов вскоре и стал). В помещении его сразу окружила толпа «шестерок» различных степеней и возрастов. Фролов вельможеством шествовал к председательскому креслу. В повестке дня вопрос о создании Центра стоял в конце. Народ малость притомился. Фролов поглядывал на часы. Слава Столяров доложил, я сказал несколько слов. Кто-то из бдительных членов Правления начал было высказывать свои сомнения, но тут Фролов обронил «Ну, а чего». Мол, что тут такого особенного. И сразу все наперебой залопотали: конечно, конечно, это интересно, хорошая инициатива. Постановление о создании Центра принято. Я поблагодарил Фролова за поддержку, он покровительственно улыбнулся.

Ну, теперь с такой «крышей» – полный вперед! Членами бюро Центра стали все главные каратистские фигуры, Володя тоже согласился помогать. Мы создали региональные отделения, имели помещение и даже счет в банке, проводили семинары, конференции, показательные выступления, издавали литературу. Вплоть до 1991 года, когда отменили запретную статью в Уголовном кодексе, я был руководителем Центра. Передав бразды правления своему заместителю, я вздохнул с облегчением – столько проблем и хлопот свалилось с плеч. И я стал издавать журнал «Черный пояс» и газету «Кумитз», которые просуществовали, впрочем, недолго. Наступили новые, коммерческие времена, не было опыта, денег, пришлось отказаться от этой затеи. Но зато я создал школу каратэ-до для детей с пятилетнего возраста. Ее более трех лет посещал мой внук Ваня. Я уверен, что она принесла ему, как и другим детям, много пользы. То, что занятия каратэ-до благотворно влияют на здоровье, не вызывает ни малейших сомнений. Это проверено мной прежде всего на собственном многолетнем опыте.

Три месяца тому назад мне исполнилось семьдесят лет – самому не верится. Но я не чувствую себя стариком, ежедневно с утра до вечера в трудах и заботах, по-прежнему занимаюсь каратэ-до. Рядом с моим домом находится спортивный комплекс, в котором я арендую специальный зал и в нем каждую неделю занимаюсь со своими учениками. Среди них – мой друг Сергей Кавицкий, он занимается у меня вот уже восемь лет и достиг значительных результатов.

Моим внукам и их детям наверное интересно будет узнать, что

я в таком возрасте остаюсь полноценным мужчиной и, как это ни странно звучит, еще представляю интерес для молодых и весьма привлекательных женщин. Я твердо знаю, что их расположение ко мне обусловлено только моими личными качествами и ничем другим. Я счел необходимым сказать об этом, так как верю в значение наследственности и надеюсь, что моим внукам кое-что досталось и от меня. Такого рода информация, глядишь, и будет в какой-то степени повышать их веру в себя. И потом, это должно звучать воодушевляюще для тех, кому сорок, пятьдесят, шестьдесят: впереди еще вполне может быть много радостного, интересного.

Однако мою жизнь после войны и до сего дня, несмотря на все дары природы и судьбы, трудно назвать благополучной. Начиная с ранней юности я постоянно испытывал острое недовольство собой: и своей внешностью, и своими способностями, и результатами своей деятельности, и скванностью, неловкостью в общении с мало знакомыми людьми, особенно с женским полом. Это недовольство доходило иногда до состояния близкого к отчаянию. Обычно я испытывал лишь весьма тусклую и мимолетную радость при достижении трудных целей, от выпадавших мне удач. Чаше это была даже не радость, а просто чувство удовлетворения, облегчения, заменявшее естественный в таких случаях всплеск удовольствия, радостного душевного подъема. Со временем я привык к такому дефициту радости от самого себя и это, безусловно, обедняло мою душевную жизнь.

Сильные благотворные эмоции легче всего во мне пробуждали женщины. Первую свою влюбленность я отчетливо помню в четырехлетнем возрасте в детском саду. Это была девочка со светлыми кудряшками и синими глазами, ее дразнили «Куклой». Мы, мальчишки, бегали наперегонки вокруг дома, и мне так хотелось, чтобы она смотрела на меня и отмечала, что я обгоняю всех. И она, действительно, выделяла меня, первая заговаривала со мной, и мы вдвоем увлеченно играли в песочнице. Вскоре родители забрали ее из детского сада, и я помню, как пусто и скучно стало без «Куклы». В молодые годы, да и после, у меня, как почти у каждого, было множество влюбленностей, легких и потяжелее, мимолетных и длительных, серьезных (отношения с Лорой Чухрай, о которых я еще продолжу рассказ). Но пристально вглядываясь в прошлое, в калейдоскоп отчетливых и туманных образов, я вижу, знаю, что у меня была только одна, единственная, несомненная любовь – моя

первая жена Женя, Евгения Петровна Ковалева (хотя внуки многое знают о своей бабушке, отдававшей им столько душевных сил, я еще расскажу им о ней немало интересного).

Я часто испытывал состояние депрессии. Думаю, тут тоже не обошлось без наследственных факторов. Подобные состояния наблюдались у матери, усилившиеся у нее в пожилом возрасте. Она, правда, старалась их не обнаруживать; как бы ей ни было плохо, выполняла свои многочисленные домашние обязанности, старалась перебарывать себя, и лишь ближе к семидесяти годам приступы депрессии стали сказываться на близких. У меня тоже, примерно после шестидесяти, депрессивные состояния участились и усилились, что, впрочем, вполне естественно. Однако я стараюсь им не поддаваться, работаю, перебарываю себя, добиваюсь поставленных целей. Матч должен состояться при любой погоде.

Вот, пожалуй, и все самое главное, что я хотел рассказать о своем здоровье. Теперь надо вернуться к декабрю 1948 года, когда я выкарабкался из тяжелейшей болезни.

В доме царил приподнятое настроение. Мать упрямивала не спешить с отъездом в Киев, поправиться как следует. Но мне надо было любой ценой подготовиться к зимней сессии и сдать экзамены, иначе можно потерять год. Я несколько раз навещал Лору Чухрай. Она говорила, что всегда верила в мое выздоровление и потому не боялась, но без меня ей было «очень скучно». Ее отношение ко мне теперь сильно переменялось. Нет, это были не те чувства, о которых я мог только мечтать. Но в ее голосе, взгляде появились знаки теплоты, какой-то особой доверчивости. Она старалась не показывать, что удручена моим предстоящим отъездом, но я чувствовал ее настроение, и это мне льстило. Однако, и обзывало. Кроме меня некому ей помочь. Прощаясь, я клятвенно обещал, что помогу ей поступить в университет – в моей голове уже роились разные планы.

В середине декабря я приехал в Киев. Поскольку в деканате знали, что я болен туберкулезом, меня обязали принести справку от врачей и разрешение проживать в общежитии. Знакомые и незнакомые врачи долго вертели меня под рентгеном, выстукивали, выслушивали, проводили всякие анализы. Удивлялись: куда подевался туберкулез? Как мог так быстро исчезнуть процесс в позвоночнике? Несколько раз пришлось нечестно в общежитии «подпольно», пока не получил требуемую комендантом справку.

## МОИ КРИМИНАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Надеюсь, что за давностью преступлений мне уже не грозит наказание. Прошло более полувека, я готов к чистосердечному признанию.

С того часа, как я попрощался с Лорой и увидел в ее глазах надежду, – и не только надежду, но веру в меня, тихую, спокойную веру, что я обязательно ей помогу, – мои мысли непрестанно кружились вокруг одного вопроса: как это сделать. Я готовился к экзаменам, конспектировал лекции, жевал что-то в столовой, проталкивался в трамвае, но где-то в глубине сознания, не переставая, щемил один и тот же мучительный вопрос.

Собственно, условия решения задачи были ясны с самого начала. Лора должна поступить в университет в этом, 1949, году. Значит, ей нужно иметь аттестат зрелости, и она должна хорошо сдать вступительные экзамены. Получить аттестат зрелости и сдать вступительные экзамены сама она не сможет. Значит, надо, чтобы я «сделал» ей аттестат и чтобы ее приняли без экзаменов. Без вступительных же экзаменов принимают только медалистов и в виде исключения тех, кто получил аттестат зрелости экстерном с одними пятерками (такое случается крайне редко). Награждаемые золотыми и серебряными медалями проходят многие инстанции (городской отдел народного образования и т.д.), да еще под контролем бдительной общественности. Остается один способ: необходимо достать Лоре аттестат зрелости, в котором все предметы сданы экстерном на пятерки. Где и как его достать? Если это и возможно, то наверняка лишь за большие деньги. Как их раздобыть?

Вначале я пошел по не совсем правильному пути: через знакомых осторожно искал тех, кто может это сделать, пытался познакомиться с каким-нибудь директором школы, с завучами, учителями. Я занимался этим каждый день, планируя и продумывая все возможности. Прошло примерно три месяца – никакого результата. Одни неудачи и пустые обещания посредников. Я писал

Лоре письма, поддерживая ее надежду, а времени оставалось все меньше и меньше – шел март месяц. Этот вопрос, без преувеличения, становился для меня вопросом жизни и смерти.

Впрочем, нельзя считать, что время было потеряно совсем даром. Благодаря Андрею Пищуку, я устроился грузчиком на товарную станцию. Пять дней в неделю грузил и разгружал вагоны.

Приходилось таскать мешки с мукой по шестьдесят килограмм, устанавливать на платформах тяжеленное оборудование. Какой там туберкулез позвоночника! Я стал тощим и жилистым, готов был поднимать и тащить на своем горбу хоть самого черта. Ведь за ночную смену мы могли заработать рублей двадцать, а то иногда и больше. Я копил, экономил деньги, у меня уже лежало в тайном месте почти тысяча рублей. А кроме того со временем в голову приходили новые идеи. Я был готов на все! Возник план на крайний случай: самому сдать экзамены экстерном, получить аттестат, а потом переделать фамилию.

Новый подход к делу появился к середине апреля. Надо просто достать чистый бланк аттестата зрелости! Остальное – дело техники. Это в корне изменяло направление поиска. Директор школы или учителя тут бесполезны. Чистые бланки аттестатов зрелости хранятся и выдаются школам наверху, в Министерстве. Там и надо искать.

Забыл уже, через кого я нашел нужный канал. Какую-то существенную роль сыграл в этом, кажется, благодетель Андрей Пищук. Меня свели с пожилым дядей, у которого отсутствие волос на голове компенсировали роскошные усы. Он разговаривал на украинском языке, долго меня прощупывал и, наконец, назвал цену: полторы тысячи рублей. Тогда это были большие деньги. Не хватало четырехсот рублей. Выручили родители Левы Косога, моего старого друга еще по городу Марксу (я уже упоминал его и скоро расскажу о нем подробнее). Усатый дядя несколько раз назначал свидания и говорил, чтобы деньги были при мне. Мы встретились, он оправдывался и переносил завершение дела на следующий день. Так он проверял меня. Лишь на третий или четвертый раз, назначив встречу в парке, он завел меня в кусты и там отдал бланк аттестата и получил деньги.

Это произошло во второй половине мая. Прием документов для поступающих на философский факультет – до 30 июля. С 1 августа

начинаются приемные экзамены. Есть еще время.

Теперь главная задача в том, чтобы не только правильно оформить аттестат, но и обеспечить полную безопасность Лоре. В Мелитополе всё про всех известно. Народ бдителен. Как сделать так, чтобы никто не подкопался? Вот над чем я ломал голову.

Постепенно сложился хитроумный план. Сдав свои экзамены на две недели досрочно, я приехал в Мелитополь. Только здесь в одной из школ должен быть выдан аттестат (согласно прописке; тогда за этим следили строго). Я был хорошо знаком с директором вечерней школы рабочей молодежи, в которой учился в седьмом классе, а потом сдавал экзамены экстерном. Назовем его Василием Васильевичем. Невысокий, очень худой, туберкулезного вида, с блестящими глазами, он взял бразды правления школой в почтенном возрасте, работая до этого мелким чиновником в какой-то городской службе быта. Как говорили на партийном жаргоне, был брошен на образование. Тихий, покладистый, Василий Васильевич импонировал школьному коллективу, ибо ни во что особенно не вмешивался, вел себя скромно, как подобает истинному пролетарию. О таких говорят: ни рыба, ни мясо. Однако же ему нельзя было отказать в доброжелательности, готовности войти в положение своих великовозрастных учеников, сделать им поблажку, а то и помочь.

Не откладывая дело ни на один день, я в первый же вечер устроил «засаду» на хорошо известном пути Василия Васильевича от дома к школе и как бы невзначай встретил его. Он выказал подобие радости, стал расспрашивать о Киеве, университете. На прощание я сказал, что у меня к нему есть очень, очень важное дело; если можно, зайду к нему завтра, сейчас – спешу. Заинтриговав его таким образом, я на следующий день пришел к нему в кабинет, плотно затворил за собой дверь и начал издали. Есть, мол, в Киеве у меня друг, которому надо помочь, и долго рассказывал историю про этого друга, постепенно подводя к сути дела. Ситуация безвыходная и чтобы выручить друга, надо поставить только печать на чистый бланк аттестата. За это он заплатит четыреста рублей.

Василий Васильевич вначале испугался, но я горячо убеждал его, что тут нет ничего страшного, просил его подумать и помочь. Я ходил к нему несколько дней крядя, убеждая и упрашивая. Если не удастся его уломать, весь мой план рухнет. Наконец, на

третий или четвертый день, он нехотя сдался (четыреста рублей в те времена составляли его трехмесячную зарплату). Я вынул из папки аттестат, он поставил печать, быстро пересчитал и сунул в карман деньги (взятые мной в долг опять-таки у родителей Левки Косога).

Теперь – следующая задача: точно оформить бланк аттестата. Я внимательно изучил аттестат зрелости моего Мелитопольского приятеля, закончившего только что вечернюю школу; образцы же подписей директора и учителей стояли на моем свидетельстве об окончании семи классов. А подделать подписи – для меня пара пустяков. Этот дар я давно у себя обнаружил. Стоило мне всмотреться в подпись, как я мог едким росчерком ее воспроизвести, да так что никто и не заметит разницы. Потренировавшись, я заполнил аттестат и расписался за директора и пятерых учителей.

Вечером я неожиданно для Василия Васильевича заявился в его кабинет. Он, бедный, перепугался, побледнел. Я просил его спокойно выслушать меня и рассказал почти всю правду: что побудило меня совершить такой поступок. Я несколько раз повторил, что ради этой девушки, готов на всё, а для нее единственное спасение стать студенткой, вырваться из среды, в которой она чахнет. Затем я показал заполненный аттестат, скрыв фамилию, и сказал:

– Это – ваша подпись. Вы не сможете отрицать, что это ваша подпись. И если в школу придет запрос по поводу этого аттестата, то вы понимаете, что нужно будет ответить. Фамилия этой девушки начинается на букву «Ч». Запомните!

Василий Васильевич сидел ни живой, ни мертвый. Я сказал, что у меня нет другого выхода, судьба этого человека мне дороже своей. С этими словами я попрощался и вышел.

Всё, однако, обошлось: и для Лоры, и для меня, и для Василия Васильевича. Много лет он оставался директором школы. Я же часто приезжал в Мелитополь. Завидев меня издали, Василий Васильевич спешил перейти на другую сторону улицы или скрыться в ближайшем дворе. Не раз испытывал я желание попросить у него прощение за доставленные неприятности, но как-то всё не получалось. Может, и к лучшему.

Я принес «готовый» аттестат Лоре, она бегло посмотрела и приняла всё как должное, спокойно, без особых эмоций и слов благодарности. Меня это даже немного удивило. Я изложил ей даль-

нейший план действий. Она стала собираться в Киев.

Стояло жаркое лето 1949 года. Добраться до Киева непросто. Ехать надо с пересадками, достать билеты трудно. Я уже говорил, что у меня была отмычка, которой отпирались двери вагона – если не мог взять билет или в карманах гулял ветер, то ездил зайцем. С Лорой же мы ехали, конечно, по всем правилам. Вначале до Запорожья, потом до Днепропетровска, а оттуда уже шел прямой поезд в Киев.

Билетов на ближайший поезд не было. Пришлось просидеть на чемоданах в привокзальном сквере почти сутки. У кассы – огромная очередь. На следующий поезд тоже билетов нет. В очереди мне изрядно намаяли бока. Выбираясь из давки, я случайно услышал слова пожилого мужчины, сказанные девушке, видимо, его дочери: есть, мол, билеты в мягкий вагон, но очень дорого, не потянем. Это – в другой кассе. Я немедленно ринулся туда, пробился к окошку. Да, действительно, есть. Я выложил за два билета почти все наши деньги. Поезд отходит минут через десять. Бегом в скверик, где ждала сникшая Лора. Она удивилась, обрадовалась, лучезарно улыбнулась. Подхватив оба чемодана, я отчаянно протискивался сквозь толпу на перрон. Лора едва поспевала за мной, смущенная нецензурными восклицаниями тех, кого я цеплял чемоданами. Только мы взобрались в тамбур вагона, как поезд тронулся. Везет же иногда, черт побери!

В купе никого нет, просторно, чисто. Проводник предложил постельное белье и чай. Эх, была не была, потратимся до конца! Какнибудь потом выкручусь. Лора достала полотенце и пошла умываться. Ее не было очень долго, я стал уже беспокоиться. Но вот, наконец, она явилась, свежая, прибранная, в улыбку ее что-то новое, будто какое-то обещание. Нам не надо взбираться на верхнюю полку, внизу постелены белоснежные простыни, на столике два стакана ароматного чая, подстаканники с витыми ручками, красивыми и удобными. Роскошь!

Мы сидели друг против друга, я смотрел в Лорины голубые глаза и мне казалось, что между нами наступила особая, новая близость. На пружинах мягко покачивало, невольно я все время видел, как под легкой кофточкой покольшиваются ее пышные груди, и на меня накатывало такое неодолимое желание обнять ее, что я был близок к потере сознания. Стемнело. Лора попросила меня выйти.

Когда через несколько минут, постучавшись, я вошел, Лора лежала, натянув до подбородка простынь. Я сидел на своем месте и сквозь простынь различал все изгибы ее тела.

Несмотря на мои двадцать лет, у меня еще не было женщин. Несколько раз, конечно, бывали случаи близости – объятия, поцелуи, но они оставались незавершенными, однажды по причине моей чрезмерной эмоциональности, в остальном из-за физиологического неприятия нелюбимого тела с его чуждыми запахами. И это вопреки острой, изнуряющей потребности в женщине, из-за которой я сильно страдал. Что же говорить о жажде хотя бы малой близости с Лорой, о неодолимом влечении к ней, помрачавшим мой жалкий ум.

Я тоже лег, повернувшись лицом к Лоре, напряженно ожидая хоть слабого отклика, малейшего знака, что она чувствует, какие волны нежности, любви вздымаются в моей душе. Лора, однако, вскоре уснула, ее дыхание стало ровным, ритмичным. Когда поезд проносился мимо освещенных станций, на нее падал ответ и я убеждался, что она действительно спит. Не знаю, сколько времени я так лежал, мучимый то отчаянием, то слабой надеждой, пытаюсь время от времени подавить свои желания. Осторожно, чтобы не разбудить Лору, выходил покурить. Снова ложился и ждал. Я хорошо помню, что испытал нечто похожее на раздвоение личности (потом я научился сам вызывать у себя это состояние в целях саморегуляции, оно оказалось довольно действенным способом обуздания себя, преодоления отрицательных эмоций и даже творческого обновления привычных восприятий; это маленькое открытие не раз помогало мне).

Вот в таком раздвоенном состоянии уже под утро, не отдавая себе полного отчета, я поднялся, сел рядом с Лорой, наклонился и обнял ее. Лора вздрогнула, испуганно вскоочила, оттакнув меня, выдохнула: «Не надо!» Затем, уже сидя, она обхватила себя руками и странным ровным голосом, даже с нотой угрозы, сказала: «Прощу, никогда не трогай меня!»

И я действительно никогда больше ее не трогал. Много раз мы бывали вместе, оставались наедине друг с другом. О ночном эпизоде в поезде никогда не возникало не то что речи, а как бы и мысли. Но полученная мною тогда душевная травма еще очень долго давала о себе знать. Какое-то одно из моих «я», вопреки протестам

других, время от времени вызывало в памяти ту картину до мельчайших деталей, и мое сердце сжималось в тоске и потом долго саднило. В общении с Лорой я ловко играл привычную роль: «этого вовсе не было». Потом, спустя наверное год, мазохистское «я» как-то ступшевало, стало легче.

Лора никогда не выезжала раньше из Мелитополя. Киев с его красотами не вызвал у нее видимых восторгов. Она смотрела вокруг не то чтобы без интереса, но спокойно. В первое время нам было, конечно, не до красоты. Мы подали документы, устроились в общежитие, и я стал обхаживать двоих партийцев из нашей группы, которые работали в приемной комиссии факультета. Один из них был правой рукой секретаря приемной комиссии. Когда они убедились, что у Лоры нет «пятого пункта» (в графе «национальность» у нее стояло «украинка» – то, что надо!), когда они увидели ее чистокровно арийское лицо, заинтересованно оглядели ее фигуру, дело пошло легче. Какие-то перипетии с ее зачислением возникли – до сих пор в приемной комиссии не было случая, что бы кто-либо поступал с таким аттестатом. С кем-то консультировались, куда-то звонили, но всё верно, есть такое постановление: если сдал экстерном на одни пятерки, должны принимать без экзаменов, как медалиста.

Наконец, всё устроилось, Лору приняли. Она сказала: «Спасибо за всё!» и воздушно поцеловала меня в щечку. Мы уехали в Мелитополь. Теперь Лора иногда смотрела вдруг на меня каким-то новым взглядом, как будто снимая преграду между нами; в ее лучистых голубых глазах явственно читались и порыв нежности, и удивление этим, и будто бы признание в сокровенной близости. Опять знак надежды. Но стоило поверить, сделать ответное движение навстречу, как заветные дверцы сразу захлопывались, и ее улыбка обретала прежнее, столь знакомое значение: «границы не замке». Она обладала природным искусством дипломатии: эта ее улыбка с милыми ямочками на щеках выказывала ко мне полное расположение и несомненную близость, но до известного нам, четкого очерченного предела; мои невольные попытки переступить границу парировались дружески мягко, даже сочувственно, порой с легким, не обидным юморком. И я в тысячный раз давал себе слово не нарушать границу. С тех пор у меня подспудно сложилось глубокое убеждение: если женщина тебя не любит или не уверена в своих чувствах и если ты решительно, нагло не сломал ее оборону

ну, тебе не помогут никакие заслуги, никакие отличия.

Вначале учеба давалась Лоре с трудом, но к концу первого семестра, с моей помощью, она более или менее освоила новые предметы и самостоятельно сдала экзаменационную сессию. Мы жили в одном общежитии, я исправно нес свою службу при ней. По-прежнему приходилось работать грузчиком, чтобы вернуть долги. Вместе мы ездили в Мелитополь на каникулы, вместе обратили в Киев. Так продолжалось три года. Несмотря на привычную дистанцию, мы оставались самыми близкими людьми.

При всей нашей бедности Лора умела прилаживать свою нехитрую одежду так, что та была ей очень к лицу. От нее веяло свежестью, особой опрятностью, и я до сих пор помню невыразимый запах, когда приблизишься к ней: что-то от яблок, от полевых цветов. Высокого роста, стройная, с удивительно тонкой талией и округлыми соразмерными формами, она слишком уж выделялась на фоне наших факультетских девиц. И, конечно, у нее сразу появилось немало поклонников. Некоторые из них проявляли завидную настойчивость и изобретательность. Вскоре за ней начал ухаживать молодой доцент, восходящая партийная звезда. Он был, кажется, заместителем секретаря парткома университета и вскоре ушел на работу в горком партии. Этот дарил ей цветы, приезжая в общежитие, передавал их через подруг Лоры. Высокий, стройный брюнет, в добротном костюме, белоснежной рубашке с галстуком, он подходил к Лоре после занятий. Издали я наблюдал, как они медленно прогуливались около университета. Ничего не скажешь, красивая пара. Невольно я как бы со стороны видел себя – в стоптанных сапогах, перелицованной суконной рубашке навыпуск, подпоясанной армейским ремнем. Рядом с доцентом – форменный замухрышка. Однако, странно, я не испытывал особых страданий. Наплевать, какой есть, такой есть. Подумаешь, таких фраеров мы видали! Я терпеливо дожидался, впрочем, не без ревности, когда они распрощаются, и мы с Лорой отправлялись на трамвае в общежитие.

Ей, конечно, льстило ухаживание столь высокого начальства, ставшее на факультете предметом живого внимания. По дороге в общежитие она со своей легкой подзадоривающей улыбочкой обычно роняла несколько слов по поводу доцента, давая понять, что он для нее ровно ничего не значит, надо же способности вежливости. Я и не сомневался, что шансы доцента нулевые.

Однажды, когда мы после занятий выходили из университета, доцент, ожидавший Лору, решительно подошел к нам, оттеснил меня в сторону как некий неодушевленный предмет и стал что-то говорить Лоре. Она же поспешно и потому не совсем вежливо сказала, что ей сейчас некогда, демонстративно взяла меня под руку и повела вниз по ступенькам. Теперь доцент ясно увидел меня, и у него от удивления чуть не отвалилась челюсть. Кажется, вскоре после этого случая ухаживания доцента пошли на убыль, и он исчез из поля зрения. Если мне не изменяет память, он стал чуть ли не секретарем Киевского горкома партии.

Шло время, постепенно чувства мои притупились, все реже я мечтал о женитьбе на Лоре. В 1952 году я окончил университет и уехал работать по назначению в город Сталине (переименованный потом в Донецк) учителем логики и психологии в средней школе. А Лоре еще оставалось учиться два года. Мы изредка переписывались, встречались в Мелитополе несколько раз в году. Окончательно между нами ничего не решилось. Лора хранила мне верность, по-прежнему отаживала своих поклонников. После окончания университета она получила направление в степной городок Молочанск, недалеко от Мелитополя – ей тоже предстояло преподавать логику и психологию в школе. Незадолго до защиты диплома она неожиданно приехала ко мне в Донецк. Ей надо было увидеться со мной, определиться. Она погостила только один день.

Я остро почувствовал, что больше не в силах служить Лоре, жить ее делами. Любовь прошла. Но разве мог я сказать ей об этом? Не мог я и говорить неправду, что-то обещать. Тягостная была встреча. Я проводил Лору на вокзал. Когда мы прощались, я читал в ее глазах укор и что-то близкое к отчаянию. Поезд тронулся, Лора смотрела на меня в окно, пытаюсь улыбаться сквозь слезы. Я стоял оцепеневший от боли, страха за нее, презрения к себе, я готов был вскочить на подножку и не мог двинуться с места. Поезд ушел, а я еще долго стоял, пытаюсь совладать с собой, утирая слезы, и испытывал всеподавляющее чувство безысходности, вины и презрения к себе.

Через пару дней от сердца отлегло. Понимая умом, что иначе быть не могло, я успокаивал свою совесть. Больше мы не встречались. Изредка от мелитопольских знакомых доходили скудные сведения о Лоре. Она работала в Молочанске, конфликтовала с директором школы, из-за чего у нее были большие неприятности.

Потом говорили, что она лечилась в психбольнице. Шли годы, я потерял ее след и давно уже не вспоминал о ней. Но нам суждено было еще раз свидеться.

Это произошло спустя двадцать пять лет после нашей последней встречи в Донецке. Я тогда жил уже в Москве, был профессором МГУ, во второй раз женился – на Марине Наримановой, кстати, внешне чем-то походившей на Лору: голубые глаза, тонкая талия, широкие бедра. Однажды раздался телефонный звонок и голос, до боли знакомый, казалось, давно забытый, назвал мое имя. Я не поверил. Но это была Лора. Она сказала, что приехала в Москву и ей срочно нужно увидеться со мной, посоветоваться по очень важному делу. Я назначил встречу в метро и еще издала увидел ее высокую фигуру. Она довольно молодо выглядела для своих лет (ей ведь тогда уже было под пятьдесят). Ни единой морщины, лишь чуть одутловатое лицо, потускневшие глаза. На ней добротное пальто, модные сапоги, черная шляпа с широкими полями, из под которой виднелись изрядно поседевшие волосы. Прежняя аккуратность, соразмерность одежды. Но глаза Лоры меня сразу насторожили: какая-то отрешенность, опрокинутость в себя, застоявшаяся тревога и что-то вроде проблеска надежды. Она сразу стала говорить, что ей крайне нужен мой совет, она не знает, что делать, за ней постоянно следят агенты КГБ, каждое ее слово прослушивается, они не дают ей покоя ни днем ни ночью, прочитывают даже ее мысли. Я все понял. Она повторяла и повторяла, что решила пойти прямо в КГБ и заявить протест. Мы стояли в центре зала и разговаривали под шум поездов. Искушенный в психиатрии, я что-то ей советовал и испытывал малодушное стремление поскорее расстаться. Наконец мы попрощались, я следил, как она шла к выходу, переживая холодную пустоту в сердце, угрызённые совести и вместе с тем чувство облегчения. Больше я ничего не знаю о Лоре.

Теперь снова надо вернуться к студенческим годам. Ведь надо рассказать еще об одном моем криминальном деянии, которое помню во всех деталях, ибо оно сопровождалось такими переживаниями, таким напряжением душевных сил, что оставило неизгладимый след и, надо признаться, в чем-то льстит мне до сих пор. Это, пожалуй, было самое лихое дело за всю мою жизнь.

Как я уже говорил, в Киеве у меня был надежный друг Лева Косой. Он жил с родителями на Подоле, в низком одноэтажном

доме, стоявшем в густо населенном дворе. Семьи в этом доме занимали одну или две комнаты, но каждая квартирка имела свой отдельный выход во двор. Летом во дворе царил шумная, полунищенская, но в общем-то дружная жизнь, объединявшая украинцев, евреев, русских, молдаван (были там, кажется, еще и греки и армяне). Родители Левы жили в двух комнатных, но им принадлежала еще крошечная кухня, в которой хватало места лишь для табуретки с примусом и орудовавшей около него хозяйки. Из кухни дверь открывалась во двор. Даже если она была закрыта, тебя встречал привычный запах керосина.

Почти всякий раз, когда я приходил к Лева, в кухне у шипящего примуса стояла его мать, высокая сухоощавая женщина. Она сразу усаживала меня за стол и давала поесть. Делала она это столь искренне и решительно, что вскоре я перестал мямлить «спасибо», «не стоит», «не голоден». В трудные дни, изголодавшись, я устремлялся на Подол и твердо знал, что даже если Левки нет дома, мать меня просто так не отпустит, обязательно накормит, чем бог послал. А жило Левкино семейство бедновато. Единственным добытчиком был отец, занимавшийся какой-то мелкой торговлей. Маленького роста, он доставал своей супруге едва ли до плеча. Вначале они показались мне странной парой. Мать – открытая, веселого нрава, любит поговорить. Отец – молчаливый, хмурый, замкнутый. Но постепенно стало ясно, как здорово они подходят друг другу, какое редкое согласие царит в семье. А яблоко от яблони недалеко падает: Левка – спокойный, уравновешенный, работяга, человек слова. Внешне он очень похож на мать – высокий, круглолицый, слегка рыжеватый, глаза серо-голубые.

Этому семейству я многим был обязан. Сколько раз мне помогали, выручали, одалживали деньги. Ко мне относились, как к самому близкому родственнику. И вот наступило время, когда и я мог сделать для них что-то доброе.

Левка учился в Киевском гидромелиоративном институте, куда поступил в 1946 году. Тогда, сразу после войны, в этом институте был большой недобор студентов и принимали кого угодно, по любой справке (даже об окончании лишь девяти классов). По такой липовой справке Левку (как и многих) приняли на первый курс. Срок учебы в институте – четыре года. Наступила последняя студенческая весна, Левка писал дипломную работу, готовился к государственному экзамену. И тут объявили, что все, кто не имеет

аттестата зрелости, должны его представить, иначе не получают диплома и будут отчислены. Всех, кого это касалось, обязали срочно сдавать экзамены на аттестат зрелости экстерном. Знакомое мне дело!

Левка и его родители сильно обеспокоились. Ведь тогда на аттестат зрелости надо было сдавать одиннадцать экзаменов, включая сочинение, историю, химию и т.д. Осилить это в столь короткий срок Левка никак не мог, особенно плохо у него обстояли дела с русским языком, написать сочинение с минимумом ошибок – немислимая вещь. Что делать?

Я участвовал в семейном совете, на котором решался этот вопрос. Казалось, есть только один выход: купить аттестат. Я пообещал помочь, год тому назад удалось же проделать такую операцию для Лоры. Однако времена сильно переменялись. Все мои попытки найти усатого дядю, с которым я имел дело, были тщетными. То ли он затаился, то ли его посадили. Скорее – последнее. Вспомнились слухи, что в Министерстве высшего образования раскрыли преступную группу, торговавшую дипломами.

Левка и его отец по другим каналам тоже настойчиво искали, но ничего не нашли, а время уже на исходе. Настроение у них близкое к паническому. Я очень переживал, лихорадочно бросался в разные стороны в поисках хоть какой-то зацепки и давно уже чувствовал: на этот раз ничего не выйдет. Что может быть обиднее и глупее: вылететь из института ни за что ни про что перед самым его окончанием. Нет, должен, обязательно должен быть какой-то выход! А почему бы мне самому не сдать за Левку экзамены?

Шел 1950-й год. Он особенно запомнился тем, что постоянно кругом говорили о бдительности, об идейных врагах, о происках империализма и его пособниках внутри страны. Постоянно кого-то арестовывали и сажали. На философском факультете царил напряженная атмосфера состязания в правоверности и в изыскании любви к великому вождю и корифею науки товарищу Сталину. Партийное начальство страстно призывало на собраниях к дальнейшему повышению бдительности. Несмотря на то, что я чувствовал себя вполне правоверным, ничего вроде бы не боялся, меня временами вдруг охватывала смутная, подспудная тревога, а потом она прочно угнездилась, стала не столь острой, но уже не отпускала, порождала некую постоянную настороженность. Именно в это время я впервые услышал от партийных товарищей открытым текстом, что еврей не заслуживает доверия и он должен знать свое

место. Я уже говорил, что меня не взяли в лекторскую группу ЦК комсомола Украины, несмотря на большой опыт работы лектором обкома комсомола, а вскоре и оттуда выпроводили под благовидным предлогом. Это произошло как раз весной 1950 года. Настало время проверок. Прежде всего взяли за мою биографию. Странно, с четырнадцати лет был на фронте! Товарищ из отдела кадров попросил предъявить документы о службе в фронтовых частях, о наградах, заставил написать подробнейшую биографию. По поводу моей персоны в ряд инстанций посылались запросы (об этом год спустя рассказал в подпитии, по дружбе, мой однокурсник, бывший офицер-фронтвик, который состоял членом партбюро факультета). Вот такое было время, не особо располагавшее к рискованным действиям. Но тогда я на всё смотрел проще. Какие тут разговоры, раз надо выручать Левку.

Я рассказал ему о своем плане, ведь он тоже сильно рисковал: если меня разоблачат, доберутся и до него. Родители с опаской одобрили мои намерения. А что оставалось? Мы стали обдумывать, как действовать. Казалось, всё не так уж и сложно, главное – сдать экзамены и чтобы, конечно, не обнаружили подмену личности.

Я подал заявление в вечернюю школу, в которой специально был организован прием экзаменов экстерном. Она располагалась недалеко от университета, вход со двора по железной лестнице на второй этаж. Принимали всех желающих, а их было наверное человек пятьдесят, не меньше. Мне выдали типографски отпечатанный листок, который следовало заполнить. В нем имелась рамка для фотографии и такие пункты: фамилия, имя, отчество, год рождения и, конечно, национальность, место работы, личная подпись.

Я нашел свою завалившуюся маленькую фотографию, наклеил ее, заполнил все пункты. Теперь я стал Косым Львом Абрамовичем, 1928 года рождения. Вместе со справкой, подтвердившей, что да, действительно, товарищ Косой является студентом четвертого курса Гидромелиоративного института, я подал заполненный листок директору школы, он шлепнул на мою фотографию печать, и все формальности были свершены. Через десять дней начинались экзамены. Я многое подзабыл за три года, надо готовиться. К тому же экзамены в школе совпадали по времени с летней сессией на философском факультете. Там предстояло сдать шесть экзаменов, в школе – одиннадцать, итого – семнадцать.

По традиции первый экзамен на аттестат зрелости – сочинение по русской литературе. Выбрав свободную тему, я старался изо всех сил и оказалось, что написал сочинение на пятерку, причем единственный из всех экстерников. А директор школы преподавал русскую литературу и, естественно, сразу меня выделил и запомнил. При каждой встрече директор покровительственно кивал, а иногда останавливал со словами: «Ну, как дела, товарищ Косой?» Я ругал себя, что так по-глупому привлек повышенное внимание начальства, но потом выяснилось, что это имело и свои положительные моменты, о чем расскажу дальше.

Постепенно я втянулся в процесс сдачи разнообразных экзаменов. Утром в университете экзамен по истории философии, вечером в школе по алгебре и т.д. В интервалах между ними – подготовка, иногда с бессонной ночью. Ну и что? Подумаешь, не такое переживали! И ничего, как с гуся вода. Еще немного и перевалю на вторую половину, а там уже недолго до финиша. Я уверился, что все будет хорошо и не представлял, какие испытания мне предстоят.

Первое из них не заставило себя долго ждать. Перед началом очередного экзамена обычно во дворе перед железной лестницей, ведущей в помещение школы, собиралась толпа экстерников. В ожидании, когда нас пригласят вверх, шел оживленный обмен мнениями о предстоящем экзамене. У дома, примыкавшего под углом к школьному зданию, тоже была железная лестница с полированными по центру ступенями. Сколько тысяч ног прошли по ним с дореволюционных времен! И вот по этой лестнице веселенько сходит наша Зочка, как мы ее звали, университетская преподавательница английского языка, и звонким игривым голосочком, еще с высоты нескольких ступенек, спрашивает: «Дубровский, а вы что тут делаете?» Многие в толпе уже знали меня по столь быстро запоминающейся фамилии «Косой», по поводу нее даже подтрунивали. А тут вдруг «Дубровский».

В голове моей мгновенно что-то сработало, я ринулся к Зочке, картинно поклонился и, протягивая руку, чтобы помочь ей сойти с последней ступеньки, произнес: «Я не француз Дефорж, я Дубровский!» И быстренько так ее подальше, подальше от толпы экстерников. Я проводил ее до выхода из двора, объяснив, что «болею» за друга, сдающего экзамены, а вернувшись, сказал тем, у кого читалось недоумение во взоре, что это, мол, моя старая знакомая,

очень даже оригинальная особа. Коллеги выразили общее мнение: кадр – что надо! Одни посмотрели на меня уважительно, другие недоверчиво. Тема разговора переменялась. Кажется, пронесло.

С тех пор, приходя на очередной экзамен, я занимал позицию у входа во двор, подальше от честной кампании, дожидаясь, когда можно будет юркнуть по лестнице вверх, и сохранял бдительность даже на дальних подступах к школе. Зочка жила в этом доме. Я издали видел ее еще несколько раз. Она была, действительно, «что надо» – яркая блондинка лет двадцати пяти, кокетливая, немного капризная, но в общем-то добрая, держалась она с нами почти на равных. Кто-либо из великовозрастных студентов за ней постоянно ухлестывал. Мне она тоже нравилась, а теперь я ее возненавидел.

Но вот, наконец, сдан последний экзамен. Все позади. Однако же недолго длилось радостное чувство победы. В день получения аттестатов, приехав в школу утром, я прочел объявление, что они будут выдаваться с шести часов вечера и только по предъявлению паспорта. Как будто ударили бревном по голове!

Как быть? Получается, сами загнали себя в ловушку. Паспорт ведь не подделаешь. А если за аттестатом не придешь, то это наверняка вызовет подозрение, начнут разыскивать и могут легко вычислить. Ведь где учиться и живет товарищ Косой им известно. Мало того, что потрачено столько сил, судьба Левки теперь решена. Его не только выставят из института, но еще вместе со мной и посадят – за подмену личности. Согласно Уголовному кодексу за это давали восемь лет. Решена, значит, и моя судьба. Вот такие пироги!

Я помчался на Подол. Левка оказался дома. Услышав новость, он поблдевал. Молча протянул мне свой паспорт. Я вертел Левкин паспорт так и сяк. Что можно придумать? Фотография старая, еще военных времен, но его лицо и мое – ничего общего. Я давно уже заметил за собой, что в такие вот тяжелейшие минуты у меня вдруг голова начинает работать особенно четко и ясно. Ничего не остается, надо идти с этим паспортом и пытаться получить аттестат. А иначе над нами будет висеть угроза разоблачения, и кому нужна такая жизнь. Можно, конечно, пока тебя не арестовали, ударить из Киева. Но куда удерешь? Найдут. С другой стороны, идти с таким паспортом к директору – величайшая наглость, огромный риск. Что ему стоит сообщить о своих подозрениях в милицию? Там ре-

бята шустрые, сразу проверят и тогда... Ну, хватит! Не время расусоливать «что будет». Что будет, то и будет! На карту поставлено все. Для меня быть арестованным и получить восемь лет тюрьмы – все равно что покончить счеты с жизнью. Что остается? Или пан, или пропал.

Я ехал на дребезжащем трамвае по Подолу, полный лихой решимости. Потом поднимался на фуникулере вверх к помпезному зданию обкома и ЦК комсомола, а оттуда до школы шел пешком по Владимирской под сенью отцветающих каштанов. Левкин паспорт лежал в моем боковом кармане. Я не думал о нем, не думал о предстоящей встрече с директором, о том, как разыгрывать роль. Хорошо помню чувство безоглядной решимости. Никаких колебаний, никакого страха.

У входа в учительскую, которая служила и кабинетом директора, толпились обретшие титул «зрелости». Когда пришла моя очередь, я спокойно вошел, сел на стул около директорского стола, протянул паспорт. Перпендикулярно к этому столу примыкал другой длинный стол, за которым сидело шесть преподавателей и писали что-то. Директор приветливо улыбнулся, взял паспорт и начал искать в стопке лежащих перед ним аттестатов, мой. Нашел его, удовлетворенно оглядел, затем раскрыл паспорт. Я видел, как тает доброжелательное выражение его лица. Он перевел взгляд на меня, потом снова на паспорт. Несколько секунд длилась пауза. Потом, преодолевая неловкость, но совсем уверенно, директор сказал: «Но вы тут... непохожи». «Как это непохож?» – ответил я, с веселым удивлением. Директор растерянно листал паспорт, снова смотрел на фотографию и на меня. «Вы не совсем похожи. Извините, конечно, фотография старая, но вы непохожи». Ему было неловко.

Я чувствовал, что он растерян, колеблется, полон сомнений, но у него пока вовсе нет мысли, что я выдаю себя за другого. Может быть тут-то и сыграло свою спасительную роль его расположение ко мне. Я не помню точно, что говорил в ответ, но говорил настолько беззаботно и натурально, что это наверняка уменьшало возможность подозрений. Упомянул, что у меня есть и другие документы, которые готов показать, и о том, что, мол, Гидрометеорологический институт рядом. Наш разговор на столь щепетильную тему привлек внимание сидевших рядом учителей, они с интересом слушали.

Паспорт пошел по рукам. Из шести человек четверо сказали, что, конечно, похож; на фотографии – совсем еще мальчик, ко-

ротко стриженный, тощий, военное время, но видно, что тот же человек: глаза, нос. Двое преподавателей пожали плечами и не вынесли никакого вердикта. Я уже почти уверовал, что директор сейчас выдаст мне заветный аттестат. Но не тут-то было. Директор, хоть и учитель литературы, но бюрократ в не самом худшем смысле этого слова, любящий порядок, правильность, не мог просто так решиться, да к тому же, когда его сомнения стали достоянием преподавателей. Извиняющимся тоном, очень вежливо и просительно он стал говорить, что с таким паспортом у меня могут быть большие неприятности, что он, конечно, верит мне, но у меня ведь есть студенческий билет, зачетная книжка, и лучше будет если я приду завтра и он выдаст мне аттестат, чтобы у людей не было никаких ненужных вопросов. Он сказал, что завтра с утра будет в школе, часов с десяти. Я великодушно согласился, забрал паспорт и вышел.

Теперь – только один выход: надо подделать студенческий билет и зачетную книжку.

Было около семи вечера. Накрапывал дождик. Я ринулся к трамваю и успел подцепиться на подножку. Голова моя работала ясно – нужны фотографии. Их можно сделать на «пятиминутке» (так тогда называлась будка с фотоаппаратом, где тебе сразу выдавали фотокарточку). Но уже поздно. Если опоздаешь, все пропало. В памяти сразу возник образ знакомой «пятиминутки». На Подоле имелась своя «Красная площадь» – последняя остановка трамвая, совсем близко от Левкиного дома. Направляясь в обратный путь, трамвай объезжал вокруг скверика, в центре которого и находилась «пятиминутка». Но работает ли она? Не дожидаясь пока трамвай остановится, я спрыгнул и помчался в центр скверика. Дождь усилчился. Еще издали я увидел, как фотограф запирает будку увесистым замком. Подбежав, запыхавшись, я стал просить сделать фотографии. Пожилой фотограф уже положил ключ в карман и смотрел на меня как на психа: «Всё! Работа закончена, дождь. Не видишь что ли?» Но когда я предложил ему тридцать рублей, двойную цену, он, немного помолчав, стал отпирать будку.

Прямо под морозящим дождиком меня сфотографировали, и через несколько минут я держал в руках свои мокрые шесть фотокарточек, отпечатанных на одном листке. Так, держа этот мокрый листок за угол, я пришел к Левке. Теперь начиналось самое главное. Как научиться подделывать печать? Ведь на этот счет

я не имел ни малейшего опыта. А надо было сделать всё так, чтобы не вызвать даже тени подозрения, иначе, как мы говорили на своем пролетарском жаргоне, дело – труба. К подмене личности присоединяется подделка документов, а это тянет уже не на восемь лет, а на две двадцать. А вообще, что восемь, что двадцать, в любом случае все равно мне – труба.

Левка дал свой студенческий билет и зачетную книжку. Гербовые печати, как их переснять? Я уселся за Левкин стол, на котором он выполнял свои чертежи, и стал соображать. Никогда, пожалуй, я не испытывал такого творческого подъема. И наверно потому, что никогда позже я не был в такой экстремальной ситуации, когда от решения задачи целиком зависела судьба моего друга и моя собственная. Не буду описывать, как после многих неудачных попыток удалось найти приемлемый способ. Часам к двум ночи я его нашел. Дело это оказалось не столь уж и сложным. Берется большого размера канцелярская резинка (у Левки, постоянно выполнявшего чертежи, была такая), ее надо подержать у носа кипящего чайника, из которого идет пар, чтобы немного размягчить. Потом она прикладывается к печати на студенческом билете и крепко прижимается. На резинке – четкий оттиск печати. Дальше берется тонкое чертежное перо, и им выцарапываются на резинке пустые места. Все готово. Намазываете резинку чернилами, прихлопываете ею бумагу, получается нормальная печать, не отличишь.

Конечно, выцарапывание пустых мест – кропотливейшая работа, надо потратить часа полтора, не меньше. Но самая большая трудность состояла в другом. Со всеми предосторожностями я отлепил Левкины фотографии со студенческого билета и зачетной книжки, а вместо них наклеил свои, предварительно придав им «старый» вид. Трудность же состояла в том, что на фотографию падает лишь определенный сектор печати и надо добиться точнейшего повторения этого сектора на моей фотографии, а к тому же еще и совпадения цвета старой и новой печати. Вот над этим пришлось попотеть. Однако, к шести утра все было готово. В качестве экспертов выступали Левкины родители. Вначале мать, потом отец придирчиво разглядывали «мои» документы, вертели их так и эдак под увеличительным стеклом. Придаться трудно, сработано на удивление прилично. Я сам удивлялся делу рук своих. И новые фотографии примяты, слегка замусолены, как будто старые.

212

Теперь остается последний акт драмы. Что день грядущий нам готовит? Ведь директору в духе времени надо бы доложить, куда следует. Мы с Левкой договорились, что он уходит к сестре и ждет меня там. Если я не появлюсь, то он уезжает вечером к родственникам в Харьков.

Ровно в десять утра я поднимался по железной лестнице. Дверь школы оказалась запертой, директор еще не пришел. Это обнадееживало. Я вышел со двора школы и сел на скамейке в сквере. Отсюда хорошо виден вход во двор. Другого пути нет. Директор должен обязательно войти в арку. Я курил и ждал. Вот уже одиннадцать часов, а его всё нет. Почему? Это долгое ожидание после бессонной ночи, после стольких тревожений чуть меня не сломило, воображение стало подбрасывать самые ужасные картины, сердце сжималось, в горле пересыхало. Я курил одну папиросу за другой. Время еле ползло. Вот уже двенадцать часов. Я вдруг испугался, что директор мог попасть в школу каким-то другим путем, и быстро вошел во двор, поднялся по лестнице. Нет, дверь заперта.

Опять занял свою позицию на скамейке в сквере. И вот, примерно в половине первого, я увидел издали знакомую фигуру. Директор шел один, слегка помахивая большим черным портфелем. Он вошел в арку. Я догнал его у лестницы и сказал, что принес документы.

Директор грузно уселся за свой стол. В глазах его не было подозрительной настороженности. У меня отлегло от сердца. Он не очень внимательно посмотрел студенческий билет и зачетную книжку: «Ну вот, это совсем другое дело». Я расписался в получении аттестата. Директор сказал: «Обязательно поменяйте паспорт, у вас могут быть с ним большие неприятности». На прощанье он пожал мне руку. Я свернул аттестат в трубочку и помчался к Левке, который ждал меня на квартире сестры ни живой ни мертвый. Так счастливо закончилась эта эпопея.

Спустя примерно год, возвращаясь после занятий в общежитие на трамвае я неожиданно лицом к лицу столкнулся с директором. Он меня сразу узнал, улыбнулся: «Ну как дела, товарищ Косой?» Рядом стояли мои собраты-студенты, кто-то из них, может, и услышал. Трамвай подошел к остановке, я быстро поблагодарил, извинился, попрощался и прошмыгнул к выходу. Точь-в-точь, как случил с Зоечкой. С тех пор в трамвае, на улице я постоянно был настороже – как бы опять не вляпаться в подобную историю.

213

## ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УЧЕБЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Лето 1950 года, несмотря на гнетущую социальную ситуацию, запомнилось мне счастливым. Позади все передраги с Левкиным аттестатом, страшной близостью тюрьмы. И свои шесть экзаменов я благополучно сдал, перешел на четвертый курс. Две недели отдыхал в Кирилловке – блаженное Азовское море, мягкий горячий песок, в котором так приятно вывалиться, выйдя озябшим из воды, и потом лежать на солнце пока налипший мокрый песок подсохнет на тебе и станет осыпаться.

В том году мы поехали в Кирилловку всей семьей и как всегда жили у наших друзей – тети Поли и дяди Артема. Путь от пляжа казался долгим, раскаленная земля, горячий воздух. Разморенные зноем, входили в прохладную хату. Я спускался по ступенькам в глубокий погреб и выносил тяжеленный арбуз. Стоило воткнуть в него нож, как он трескался – знамение добротной спелости. Разделял арбуз отец. Каждому доставался увесистый полумесяц с частью сердцевины. Я отламывал ее, сахаристую, налитую, смахивал с нижней части черные косточки, и все мое существо наполнялось сладостной живительной прохладой. А вечером мать жарила бычки, только что принесенные дядей Артемом. Мы ужинали за столом во дворе при свете подвешенного рыбацкого фонаря. Мать стелила мне на топчане, стоявшем у чахленькой яблони, и засыпая, я смотрел на звезды. Прямо надо мной сияла, нежно мерцала Вега.

Четвертый курс – новый этап студенческой жизни. Меня перевели с далекого Воздухофлотского шоссе в общежитие на улице Жертв революции. Там жили только аспиранты и старшекурсники. До университета минут пятнадцать ходьбы. Рядом парк на горе, отлого спускавшейся к Подолу. С одной стороны памятник князю Владимиру, с другой – фуникулер и знаменитый Андреевский спуск, где стоял дом Булгакова (о котором тогда мы ничего не слышали).

В комнате нашей обитало двенадцать человек: шесть кроватей в одном ряду, шесть – в другом. Моим соседом был студент из Румынии Василе Аврам, учившийся на факультете международных

отношений. Мы звали его Васей. Я подружился с ним. Он хорошо говорил по-русски. Невысокого роста, скромный, тихий, Вася был надежным товарищем. Хотя он имел приличный стаж румынского коммуниста и даже занимал у себя на родине какой-то ответственный пост, его суждения часто вызвали боевую стойку у наших партийцев, ибо в них звучали чуждые идеологическому слуху ноты человечности, искренности, великодушия к людским слабостям. Наши партийцы обвиняли его в интеллигентской мягкотелости, учили уму-разуму, большевистскому подходу. Вася мягко соглашался и опять принимался за свое.

В комнате жили только два третькурсника: Петр Кирицкий и Толя Нелеп, они были старше нас лет на пять-шесть, отслужили в армии и состояли членами партбюро факультета. Потому и поселились давно в привилегированном общежитии. Они-то и выступали главными оппонентами Васи. Впрочем, в комнате была еще одна партийная фигура, рубившая по партийному слесачу, – наш однокурсник Виктор Пятако. Высоченный, широкоплечий, светловолосый красавец, настоящий нордический тип, он являлся активным комсомольским деятелем в университете и к тому же инструктором и лектором ЦК комсомола, часто ездил в командировки. Пятако ходил в костюме при галстучке, как положено важному функционеру, всегда был при деньгах, любил похвастать успехами на женском фронте и своей приближенностью к высшему начальству, нередко приходил поздно ночью сильно выпивший, будил народ своими громкими восклицаниями и долго не давал никому уснуть. Партийные товарищи его побаивались, мягко урезонивали. И только еще один мой дружок, Коля Курьянович, вдруг взрывался, дико ругал Пятако, и это, наконец, оказывало на него должное воздействие, он заваливался в своем костюме и в ботинках на кровать и вскоре начинал храпеть. При таких блестящих карьерных возможностях кончил Пятако плохо. Он стал картежником, совсем спился и постепенно исчез с горизонта. Лет через пять после окончания нами университета никто из однокашников о нем уже ничего не слышал.

Другим соседом по койке был Саша Яценко, относившийся ко мне с легкой неприязнью. Невысокого роста, жилистый, в очках, он успешно занимался гимнастикой, имел первый разряд и виды на звание мастера спорта. Приглаживая свои короткие и редковатые светлые волосы и поправляя очки, он в упор смотрел на собесед-

ника и чеканил короткие правильные фразы. Никаких колебаний и сомнений, все разложено по полочкам. Еще второкурсником он стал членом комитета комсомола факультета и ведал физкультурной работой. Саша строго соблюдал режим, раньше всех поднимался, делал зарядку, записывал себе задание на каждый день. Никаких побряжек себе и другим! Своим скрипучим голосом он выговаривал мне, что плохо убрал кровать или не поставил на место ботинки. Однажды, будучи в плохом настроении, я его послал подальше и с тех пор наши отношения стали еще хуже. Он, однако, не изменил своей манере руководить соблюдением порядка, только его обращения ко мне сделались еще более высокомерными.

Впрочем к концу четвертого курса мы как-то притерлись друг к другу, хотя теплоты в наших отношениях не появилось. Саша был, что называется, правильным товарищ: не пил и не курил, из рабочей семьи, активный общественник, экзамены сдавал на одни пятерки, стал членом партии. Казалось, светлое будущее ему обеспечено. Но, странно, карьера его не заладилась. Потому что не только мне, но и начальству, резал в глаза правду-матку. Неудобный человек! В итоге, после окончания университета он оказался не в аспирантуре, не в партийных органах и т.п., а в глухой донецкой провинции обычным школьным преподавателем. Тут-то мы с ним вторично познакомились. И подружились! Он оказался совсем не таким сухарем (хотя и оставался резким в защите своих убеждений), а главное был добрым и верным человеком. Уж если он сказал, пообещал, то обязательно исполнит. Я дружил с ним долгие годы. Он давно умер, едва достигнув пятидесяти лет. Хотелось бы сказать о нем еще много хороших слов. В нынешней атмосфере нарастающего морального релятивизма мне так важно повторять и помнить: жил на свете Александр Иванович Яценко – принципиальный, добрый, умный, обязательный человек.

Такое же, но гораздо более неожиданное изменение взаимоотношений, произошло у меня с еще одним видным персонажем на факультете. Это был сам секретарь комитета комсомола Вилен Черноволенко (имя Вилен, данное ему идейными родителями, начало в сокращенном виде «Владимир Ильич Ленин»). Он выглядел еще более правильным товарищем, чем Саша Яценко. Удивительно, откуда взялся такой? Ведь совсем молодой парень, моего возраста. Невысокого роста, всегда в тщательно отглаженном кос-

тюме, в белоснежной сорочке со скромным, но удачно подобранным галстуком, в начищенной до блеска обуви, аккуратно подстриженный, неторопливый в движениях и словах, внутренне собранный, умевший держать со всеми незримую дистанцию, Вилен Черноволенко являл собой завершенный образец руководителя того времени. Черные, как смоль, волосы, ровно зачесанные назад, черные широкие брови, черные холодноватые глаза, тонкий нос с горбинкой, твердые губы, все черты его весьма привлекательного облика выражали внутреннюю значительность, некий врожденный дар общественного лидера. Тем не менее, Вилен был обычным функционером, четко знал, что можно, а чего нельзя. Никакой от себятины, только то, что регламентировано или уже одобрено начальством. Это называлось: строго проводить в жизнь партийную линию.

Однажды комитет дал мне срочное поручение – помочь в организации комсомольско-молодежных бригад на заводе «Ленинская кузница». На этой почве у меня с Виленом возникли первые разногласия и столкновения. Точно не помню уже, в чем заключалось дело, но суть была в том, что, по мнению Виленки, я действовал не по правилам, чего-то не учитывал, нарушал какие-то установки комитета комсомола. То, что я удачно выполнил поручение, оказалось на втором плане, а вот какие-то мелкие отступления от бюрократического порядка стали главным предметом внимания. Короче, с тех пор моя неприязнь к Вилену усиливалась. Меня, как и моих друзей, раздражала его сверхправильность, эдакая высокопоставленность, и я старался держаться от него подальше. Может быть, и это вызывалось и моей маргинальностью, чувством социальной неполноценности из-за «пятого пункта» (графы «национальность» в анкете). Тогда, как я уже не раз отмечал, для еврея все пути продвижения по социальной лестнице были наглухо перекрыты, и это считалось общеизвестным и привычным. Партийный или комсомольский функционер не мог открыто дружить с евреем, ибо это заведомо бросало на него тень, вредило его карьере.

Однако, надо признать, что за Виленом не числилось каких-либо низких поступков, не замечалось особого рвения в борьбе за идеологическую чистоту, нельзя было упрекнуть его и в юдофобстве. Он умело, аккуратно обходил острые углы, сохранял авторитет у большей части студентов и вместе с тем нравился партийному начальству. Блестящая карьера была ему обеспечена.

Подходила к концу учеба в университете, и вот тут Вилен всех нас сильно удивил. Ему предложили высокий партийный пост, если не ошибаюсь, заместителя заведующего сектором Киевского горкома партии. Это был трамплин для высокого полета. Но Вилен предпочел обычную аспирантуру. Вот тебе и карьерист Черноволенко! Чуден твой мир, Господи!

Вилен выбрал тему диссертации, посвященную народно-демократической революции в странах Восточной Европы, и писал ее на материалах Венгерской Народной Республики. Со свойственной ему пунктуальностью и основательностью он соорудил свою диссертацию в течении положенных трех лет. Уже назначена защита, опубликован автореферат, всё на мази. И вдруг грянули знаменитые венгерские события 1955 года. Советские войска расстреливали Будапешт, наводили порядок. Наше партийное руководство круто поменяло «теорию» насчет народно-демократической революции. Все написанное в диссертации Виленки стало неправильным. Защиту отменили, диссертацию уже невозможно было поправить. Только писать новую! Три года напряженной работы пошли прахом. И Вилен с женой – Кларой Шаповаловой (окончившей философский факультет годом позже нас и родители которой жили в Донбассе) – приехал в Донецк преподавать философию в Политехническом институте.

К тому времени из всех назначенцев философского факультета в Донецке остался я один, остальные разъехались, так как работа в средней школе за мизерную зарплату не могла их удовлетворить. Я тоже трудился в школе, но держался. Естественно, мы встретились с Виленом. И постепенно крепко подружились. Он был очень умным человеком, тонким аналитиком, особенно близкой для него оставалась социально-философская проблематика. В понимании политических событий он стоял на голову выше меня. Наши долгие беседы на философские темы служили для меня серьезным стимулом. Года через два Вилен вернулся в Киев. Он стал ведущим украинским социологом, организатором и первым директором Института социологических исследований. Мы дружим до сих пор.

Профессорский состав на факультете исчислялся тремя лицами. Историю философии представлял профессор Шлепаков, он же был одно время и деканом факультета. Невысокого роста, лысоватый, он стоял за кафедрой и широко раскинутыми руками обхватывал

ее, напоминая подбитую птицу. В ходе лекции над кафедрой медленно поворачивалась то в одну, то в другую сторону его яйцевидная голова с крупным лоснящимся носом, напоминающим клюв. Медленная монотонная речь действовала усыпляюще, мне не раз приходилось толкать в бок прикорнувшего соседа. Профессор Шлепаков всегда волочил за собой старый разбухший портфель, и нас интересовало, чего же именно в нем так много. С лица его не сходила какая-то загадочная полуулыбка; мечтательная нежность в глазах вроде бы выражала ко всякому неограниченную доброжелательность и обратиться к нему с вопросом или просьбой, как к декану факультета, было легко. Но вот подписать какую-либо пустую справку он никак не мог решиться и отсылал к своему заместителю доценту Федоренко, который вершил в деканате все дела.

Студенты любили Федоренку за веселый нрав и брызжущую во все стороны энергию, за шутки-прибаутки, которыми он сыпал, подмахивая справки, за панибратский тон на его лекциях по историческому материализму. Правда, тон этот разительно менялся, когда речь заходила о величайших, бессмертных произведениях товарища Сталина. Беспощадно критиковал Федоренку прогнивший буржуазный строй и идеологических лакеев империализма. Вскоре он стал деканом и несколько умерил прыть, но по-прежнему оставался компанейским и жизнерадостным. А профессор Шлепаков так и остался для нас загадкой: то ли дрябля, то ли ко всему равнодушный человек. И между собой студенты называли его «Шлёпа» – полудружелюбно, полупрезрительно.

Заведующим кафедрой логики был профессор Москаленко – высокий, поджарый пятидесятилетний вдовец, весьма неравнодушный к женскому полу. В добротном костюме с жилеткой, тщательно выбритый, в пенсне, он носил усы щеточкой и бородку клином.

Его барский вид, надменный тон сочетались с неправильной русской речью, пестревшей украинизмами и плебейской развязностью. Не бывало случая, чтобы на своих скучных, нудных лекциях он не поднял студента и не стал бы его долго и оскорбительно отчитывать за то, что тот его невнимательно слушал или, дай бог, заговорил с соседом. Профессора Москаленко мы дружно не любили. Зная это, он платил нам той же монетой, особенно на экзаменах.

Совсем другой типаж являл собой профессор Раевский. Он заведовал кафедрой психологии. Как и Москаленко, очень высокого роста, но грузноватый, с пышными седыми волосами, элегантный, с холодной вежливостью в манерах, Раевский напоминал трагического актера. Ему было уже за шестьдесят – единственный на факультете осколок недобитой русской интеллигенции. Он преподавал психологию в этом университете еще до революции! И какой контраст между ним и остальными профессорами! Его лекции отличались прекрасной русской речью, четкостью плана изложения, строгой деловитостью. Он как бы не замечал студентов по отдельности, никаких эмоций, на вопросы отвечал сухо и коротко. Но, несмотря на такое сугубо академическое общение, а, может быть и благодаря этому, профессор Раевский способствовал нашему образованию, пожалуй, больше, чем кто-либо иной.

Конечно, на факультете были и другие достойные преподаватели. Добрым словом хочется вспомнить доцента Третьяка, читавшего лекции по истории философии. Подслеповатый, в очках с толстыми линзами, он держал перед глазами конспект и лаконично, понятным языком излагал суть вопроса, охотно консультировал каждого студента, был добрым и отзывчивым человеком. Уважали мы и Марию Семеновну Злотину, которая вела у нас семинары по диалектическому материализму. Ее любимыми философами были Кант и Гегель, а главной темой – категории диалектики. Во время перерыва между занятиями она густо дымила папиросой, окруженная плотным кольцом студентов. Лет сорока, маленького роста, очень худая, с большими выразительными глазами, она была инвалидом войны. После ранения одна нога стала у нее намного короче другой, ходила она с палкой, сильно переваливаясь на бок. Среди преподавателей Злотина, между прочим, была единственной еврейкой, оставшейся к 1950 году на факультете. Ее не раз хотели убрать, проработав на партсобраниях за идейную непоследовательность, за уход от критики гегелевского идеализма, но на удивление всем она оставалась. Поговаривали, что ее хорошо знал один из секретарей ЦК партии, под началом которого она воевала на фронте.

Были на факультете и однозные фигуры, например, наша Парасковья Ивановна, «Параска темная», как ее прозвали студенты, – базарного вида баба, совершенно невежественная. Она вела семинары по истории философии и, кстати, являлась сестрой профессо-

ра Москаленко. Когда студенты уличали ее в ошибках и неточностях, она начинала кричать, что у нее дома «мешок конспектов», а мы все дураки, и на этом дискуссия заканчивалась, а наиболее ретивных искателей истины потом прорабатывали в деканате.

Вся система обучения строилась на том, что марксизм-ленинизм является вершиной философской мысли, закономерным итогом развития самого лучшего в мировой философии, что на этот уровень диалектический и исторический материализм подняли в новых исторических условиях Ленин и его гениальный продолжатель Сталин. Никакой информации о том, что на самом деле происходит в современной зарубежной философии, мы, естественно, не имели, довольствуясь расхожими критическими клише: буржуазная философия защищает исторически отживший строй, враждебный трудовому человеку; а раз так, то это – сплошная апологетика и в ней не может быть ничего хорошего. Все предельно ясно. Если ты за коммунизм, значит должен решительно бороться против империалистов и их идеологических прихвостней. О чем тут думать?

Но все же оставался источник живой мысли – доступные нам труды большинства классиков философии: Аристотеля, Локка, французских материалистов XVIII века, Канта, Гегеля и др. Преувозносили тогда и русские революционные демократы – Добролюбов, Чернышевский, Герцен, Белинский, которые, по формуле Ленина, вплотную подошли к диалектическому материализму, но вот перед историческим материализмом остановились. Нас заставляли подробно изучать их работы, в которых тоже можно было вычитать немало интересного, во всяком случае такого, что не вполне укладывалось в навязываемые идеологические схемы.

На четвертом курсе мы получили доступ в Библиотеку Украинской Академии наук. Она располагалась в соседнем с университетом здании. Студенты фамильярно называли ее «Академка». Приобретение к ней стало важным событием в моей жизни. Мало людей, тишина, сияющие паркетные полы, для каждого читателя массивный дубовый стол под зеленым сукном. Но главное – вдоль стен высокие стеллажи, уставленные старинными книгами. Я заблудился о подготовке к семинарам, целыми днями просматривал книги на стеллажах, ошалевший от такого обилия интересных вещей. Это была этнографическая и историческая литература, книги о путешествиях, о жизни народов Африки, о Древнем Египте. Помню, по-

палась старая с иллюстрациями книга о туземцах острова Фиджи, об их нравах, обычаях и меня поразило описание одного из них. Если вождь племени чихнет или нечаянно споткнется, то чихают и спотыкаются все окружающие, дабы не показать, что они здоровее вожды или прочнее него стоят на ногах. Сразу напрашивались многочисленные аналогии.

В то время вся научная жизнь вращалась вокруг «великих идей» недавно выпущенной брошюры товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Проблемы истории и природы языка находились в зените моды, и я читал работы раскритикованного Сталиным академика Марра, а затем различных старых авторов, писавших на эти темы. Было очень интересно. Однако, вскоре я увлекся историей Египта и перипетиями расшифровки древнеегипетской иероглифики, что стало поводом для моей дипломной работы.

Меня давно интересовали философские понятия пространства и времени. Как они формировались в истории человеческой мысли? Согласно Канту, это априорные формы созерцания, как бы заданные нашему уму изначально и позволяющие упорядочивать чувственный мир, всё бесконечное многообразие конкретных пространственных и временных отношений. Такая трактовка этих понятий, однако, противоречила принятому материалистическому подходу о том, что все общие идеи возникают в конечном итоге из практики. В процессе исторического развития человек практически осваивает новые явления действительности и постепенно восходит ко всё более широкому обобщению. Эта позиция казалась тогда моему марксистски запрограммированному уму единственно правильной. И я обратил внимание, что во всех разнообразных древнеегипетских иероглифах, обозначающих частные и конкретные понятия, связанные со временем (например, «время сева», «время жизни человека», «время года» и т.п.) имеется детерминатив Солнца (значок в виде круга с точкой посередине, стоявший над иероглифом), а это свидетельствовало, что движение Солнца стало служить символом времени вообще. Соответственно, все иероглифы, обозначающие конкретные пространственные отношения (например, «длина шага», «ширина реки», «расстояние до моря» и т.п.) имели детерминатив оросительного канала (значок в виде двух параллельных черточек), что символизировало связь общего понятия пространства с таким жизненно важным сооружением для древних

египтян, как оросительный канал. Из всего этого напрашивался вывод о практическом происхождении понятий пространства и времени. Я проследил, как в ранние эпохи постепенно складывалась эта связь и решил писать диплом на тему: «О практических истоках категорий пространства и времени (на материалах древнеегипетской иероглифики)».

Тему долго не утверждали. Главным вершителем моей дипломной судьбы выступала кафедра логики, ее заведующий профессор Москаленко. Действительно, по тем временам тема звучала в высшей степени странно. Причем здесь египетская иероглифика? Все пользовались списком тем, составленным той или иной кафедрой (что тут придумывать!), и они в большинстве своем касались новых гениальных работ товарища Сталина («Выдающийся вклад товарища Сталина в разработку вопросов...», «Учение Сталина о... и его значение для...» и т.п.). Не забывали и про Ленина. В списке кафедры логики часть тем посвящалась роли Ленина в разработке диалектики.

Мне было до слез обидно, что мою столь удачно найденную тему с порога отвергали и даже высмеивали. Ведь я перечитал уже обширную литературу, сделал множество выписок, выучил множество египетских иероглифов. Я просил, спорил, настаивал, разъяснял снова суть дела, опять просил. Наконец, профессор Москаленко в сердцах махнул рукой и высказался в том смысле, что горбатого могила исправит и раз не слушает пусть потом отдувается сам. Тему утвердили условно – посмотрим, мол, что выйдет.

В последнем семестре на пятом курсе занятий и лекций уже не было, он отводился для написания диплома и подготовки к государственному экзамену. Шел 1952 год, в начале марта я уехал в Мелитополь, чтобы завершить в домашних условиях дипломную работу. Поскольку в наших двух небольших комнатах негде было уединиться, мать договорилась с соседями, которые предоставили мне такую возможность. Тетя Маня и дядя Яша Чернявские владели половиной кирпичного дома, окна которого выходили к нам во двор. Моих родителей связывала с ними давняя дружба, и они охотно отдали мне для писания диплома одну из своих четырех комнат. В ней стоял письменный стол и кровать, а на тумбочке – большой радиоприемник. В то время радиоприемник у обычных граждан встречался крайне редко.

Тете Мане и дяде Яше было уже за шестьдесят, они не имели

детей и близких родственников, жили весьма замкнуто. В квартире тщательно прибрано, мертвая тишина. Исполненная высочайшего уважения к научным занятиям, тетя Маня ходит на цыпочках, старается мне угодить, осторожно, чтобы не помешать, ставит на письменный стол тарелку с поджаристыми, румяными пирожками. Дядя Яша, большой знаток политики, научил меня слушать радиоприемник. Я любил работать в ночные часы и часто ночевал у Чернявских. Поздней ночью, когда хозяева спали, я садился у радиоприемника и ловил звуки далекого, странного мира. Уже в первую ночь, перескакивая с волны на волну, я вдруг услышал громкие слова: «Кремлевские диктаторы надели железную узду на свой народ». Это была радиостанция «Голос Америки». С замирающим сердцем и опаской я настроился на эту волну и впервые слушал кощунственные слова о любимом вожде товарище Сталине, о засилье КГБ, об антисемитской политике советского правительства. Тогда еще западные радиостанции не глушили или, скорее всего, делали это плохо. Можно было отчетливо слышать пространные фрагменты вещания «Голоса Америки» («Би-би-си», «Свободы»). Потом голос диктора уплывал, перебивался музыкой, иностранной его вертушкой, нетрудно было снова его вернуть. Почти каждую ночь я садился к радиоприемнику и слушал вражескую пропаганду.

Это порождало смятение в моем уме. С одной стороны, я чувствовал, что многое услышанное близко к истине. Но принять такую общую оценку нашей жизни невозможно, равносильно самоуничтожению. Так повелевала мне моя жесткая логика. Мыслимо ли существовать без высокой идеи коммунизма и борьбы за светлое будущее? Во имя чего же тогда стоит жить? И я снова и снова вступал на жалкий, привычный путь «объяснения» и «оправдания», включавший, конечно, самооправдание, подозревая и более того, почти уверенный в том, что объяснить и оправдать при желании можно все, что угодно. Так уж устроен человек: ему необходимы высшие смыслы и высшие ценности, скрепляющие его внутренний мир воедино и питающие чувство собственной ценности и значимости. Кроме того, эти высшие ценностно-смысловые структуры, особенно те, которые выработаны еще с детства, обладают чрезвычайной прочностью. Они легко отбрасывают или «переваривают» любые противоречащие факты и реинтерпретируют в свою пользу любые контраргументы. В крайнем случае,

просто вытесняют нежелательное знание, создающее внутреннюю напряженность, мучительное противоречие. Все это демонстрирует роль веры в нашей духовной жизни, могущество веры во всех её позитивных и негативных проявлениях. Веры, которая в каждом из нас «живет и побеждает». До поры до времени, конечно. Каждая вера имеет свой ресурс противостояния повседневной реальности, зависящий от особенностей данной личности. У меня этот ресурс оказался очень большим. Несмотря на острые внутренние разлады, я еще долгие годы оставался верующим.

В мае я вернулся в Киев с готовой дипломной работой. Ее защита прошла благополучно. Агрессивный критический тон профессора Москаленко и его коллег по кафедре сменился в конце снисходительными словами, и мне поставили четверку. Потом я сдал госэкзамены. И оставалось самое главное – назначение. Понятно, вопрос о будущем месте работы волновал нас больше всего. На факультете кипели страсти. Но меня они касались в гораздо меньшей степени. Я давно знал, привык, что пятый пункт в моей анкете (национальность!) не позволяет рассчитывать на хорошее назначение. «Инвалиды пятой группы», как мы себя называли, должны быть готовы к худшим вариантам. А их было два: заведующий сельским клубом и преподаватель в сельской школе или каком-нибудь райцентре.

Те же, кто не имел указанной «инвалидности», располагали другими возможностями. Выпускники философского факультета – идеологические кадры партии. Самые проверенные были направлены на годичные курсы ЦК партии. После их окончания открывалась дорога в партийные органы либо на должность старшего преподавателя философии университета или Высшей партийной школы. Не менее проверенные попали в аспирантуру. Некоторых выпускников из числа тех, кто состоял членом партбюро, сразу взяли на работу в партийные органы – инструкторами отделов агитации и пропаганды. Наконец, человек десять из нашего выпуска мобилизовали на доблестный труд в органы КГБ. Среди них оказался и мой приятель Валька Мельгунов. Он дослужился там с годами до звания полковника.

А мне с назначением все же повезло. Годом раньше в средней школе ввели обучение логике и психологии, и меня направили преподавать эти предметы в студию Донбасса, город Сталино. Всё же не село, а крупный город, областной центр. Сказалось, наверное,

что я был участник войны, активно занимался общественной работой, хорошо учился. А многих моих собратьев по «инвалидности» послали заведовать сельскими клубами и поднимать там культуру.

Вместе с назначением нам вручали диплом и университетский значок – синий с белой каемкой ромбик, в центре которого сиял бронзовый Герб СССР. Нацепив его на лацкан пиджака, мы гордо расхаживали по многолюдному Крещатику.

На прощанье я заглянул в Ботанический сад – отраду студенческих лет. Он начинался сразу же за зданием университета и спускался в сторону улицы Саксаганского. Между тенистыми аллеями взгорки и лощины, заросшие густым кустарником. Там было много укромных мест для любовных встреч и творческого уединения. В одно из них кто-то перетащил скамейку. Тут я часами сидел, давая волю воображению, тут я сочинял стихи, которые, однако, скоро переставали мне нравиться, я рвал рукопись и испытывал горькие чувства от собственной бездарности.

Прощай, милый сердцу Ботанический сад! Прощай Киев! Впереди новая жизнь.

## О ТРЕХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЯХ, СЫГРАВШИХ В МОЕЙ ЖИЗНИ БЛАГОТВОРНУЮ РОЛЬ

Я хочу, чтобы мои внуки знали о них. Это – Геннадий Сардионович Гургенидзе, Владимир Спиридонович Готт и Владимир Павлович Эфроимсон.

Они давно ушли из жизни. Когда я вспоминаю о каждом из них, всегда испытываю прилив чувства благодарности и душевную поддержку, некое обновление веры в добрые человеческие начала, ценности высокого порядка, веры, которая блекнет и истончается в сутолоке обыденной жизни, насыщенной обманом, хитроумными играми коммуникантов с тобой и самими собой. Такая вера питает подлинные смыслы, поддерживает их энергетику, противостоит агрессии «серого» сознания, стремящегося усреднить, иссушить душевную жизнь.

Вот почему столь необходимо беречь чувство благодарности к тем, кто делал нам добро. Кто долго помнит добро, дольше живет. И у него самого возрастает потребность добродетели.

Разумеется, на путях моей жизни встречалось множество хороших, умных, одаренных, благородных людей, оказавших на меня благотворное влияние (о некоторых я уже рассказывал). Но эти три человека заслуживают того, чтобы их особо выделить.

Кроме того, рассказ о них позволит, хотя бы кратко, осветить более зрелые этапы моей жизни и помянуть добрым словом других замечательных людей.

### 1. Геннадий Сардионович Гургенидзе

Чтобы стало понятно, каким подарком судьбы был для меня Геннадий Гургенидзе, надо описать хотя бы некоторые обстоятельства моей жизни в Донецке.

Два года я преподавал в школах психологию (в 9-х классах) и логику (в 10-х). На основной работе я числился в средней школе



Геннадий Сардионович Гургенидзе

№ 1. Но поскольку моим предметам согласно программе отводилось всего по часу в неделю, чтобы набрать нужное количество уроков до полной ставки, мне приходилось работать еще в двух школах. Одна из них была женской (тогда было раздельное обучение мальчиков и девочек).

В женской школе особых проблем с дисциплиной не было. А вот в двух других... Тут учителей доводили до инфаркта. Разнузданные оболтусы ходили буквально на головах. Особенно отличался по этой части знаменитый 9 «Б» школы № 1. Именно в этом классе выпало мне проводить свой первый урок.

Меня предупреждали, что класс трудный, нужен подход и т.д. Я волновался: какой же ты учитель психологии, если не сможешь навести дисциплину. Еще приближаясь к классу, я слышал шум, крики, визги. Открыл дверь и остолбенел. Парты сдвинуты и на них ворочается огромный клубок тел, стоит дикий ор, кому-то расквасили морду, с кого-то пытаются содрать штаны, кто гогочет, кто плачет, друг в друга швыряют портфели и учебники. Содом и Гоморра!

Я стоял у стола в полной растерянности, сжимая в руках классный журнал. На меня никто не обращал внимания. Так я стоял, ожидая, пять минут, десять, пятнадцать. Во мне закипало жуткое возмущение. Наконец, не выдержав, бросил на стол журнал, врезался в эту мала-кучу, выхватил одного, развернул головой к двери и сильным ударом ногой под зад вышиб его в коридор, потом второго, третьего, и так шесть человек. Двоим или троим, медлившим занять свое место за партой, двинул по морде. Я был спортивным парнем, закаленным в боях, и мои оболтусы почувствовали хватку. Конечно, объединившись хотя бы втроем, они могли дать мне сдачи, но до этого еще не дошли.

К концу урока я их всех рассадил по местам, открыл классный журнал и стал выкликать по фамилиям. Вышибленные из класса, открывали дверь и виновато просились обратно. «Закрывать дверь!» – рывалк я, удивляясь силе своего голоса. Закончив переключку,

228

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

гайку и накручивает ее на болт, он переживает особое, весьма действенное самоуважение, формирующее личность. А мы изготовляли и довольно сложные приспособления для физического кабинета, разные вещи, необходимые для школы.

У меня появилось свое жилье. Пару лет я маялся по «углам» (о том, чтобы снять отдельную комнату, не могло быть и речи, жилищная проблема в Донецке стояла тогда крайне остро). Приходилось спать в одной комнате с неопрятными хозяевами. Но теперь, наконец, я живу в отдельной комнате. В «сносных» условиях.

Во дворе школы стоял небольшой кирпичный дом. В нем три комнаты. В одной хранились знамена, лозунги и транспаранты, которые ученики несли на демонстрациях 1 Мая и в день Великой Октябрьской революции, в другой – разнообразные хозяйственные материалы, а в третьей жил я. По середине одной стены дома от крыши до самого фундамента проходила трещина. Дом подлежал сносу. Но с этим никто не спешил. Директор разрешил мне временно в нем поселиться, и я прожил в счастливых для меня «сносных» условиях больше года. Здесь уместно будет сказать, что Павел Петрович Анисимов вскоре стал заместителем председателя горисполкома, и не без его помощи после пяти лет работы в школе я все же получил небольшую комнату в коммунальной квартире. А еще через четыре года, будучи уже семейным человеком и имея дочь, получил отдельную трехкомнатную квартиру (тоже при поддержке Павла Петровича).

В свободное от школьных дел время я настойчиво занимался философией, давно свыкся со своим положением учителя слесарного дела и успешно сочетал умственный труд с физическим (по всем канонам марксистской идеологии!). Путь к работе по специальности был для меня наглухо закрыт из-за «пятого пункта». Я это твердо знал, но временами лелеял глупые надежды. После смерти Сталина стало полегче, но прежние инструкции действовали неукоснительно.

Однажды кто-то из приятелей сказал, что в пединституте вот уже второй год некому читать курс логики. Конечно, на философию тебя не возьмут, но логика же не идеологическая дисциплина, могут взять, попробуй.

Я пошел на прием к директору пединститута. Это был весьма пожилой, подслеповатый человек. Он удивился, узнав, что я окончил отделение логики философского факультета, и, похоже, обра-

дился, чем будем заниматься и назвал свое имя, отчество и фамилию. С задней парты послышалось: «Я не француз Дефорж, я Дубровский». Я успел заметить остролова. И тут раздался звонок. Вот так прошел мой первый урок.

На следующий урок я пришел в старой военной форме. Все сидели на своих местах. Я кратко рассказал им о психологии, а потом о гипнозе, воле, памяти. Дело пошло. Мы быстро подружились, и когда они вскоре сорвали урок у пожилой учительницы истории, я их крепко выругал и заставил перед ней извиниться. Обозудание 9 «Б» стало в школе заметным событием. Директор, Павел Петрович Анисимов, вызвал меня и спокойно спросил: «Вы что, занимаетесь рукоприкладством?». «Были жалобы?» – сказал я. «Нет, ходят слухи». Я заметил, что директор стал относиться ко мне с подчеркнутым уважением.

Через два года преподавание логики и психологии в средней школе отменили. Что делать дальше? Директор хорошо ко мне относился и хотел сохранить для школы. Его доброе отношение я особенно почувствовал в конце 1952 – начале 1953 года, на пике антисемитской кампании, связанной с известным «делом врачей», «убийц в белых халатах», когда пресса и радио изо дня в день нагнетали атмосферу погрома. Павел Петрович Анисимов, сдержанный, суховатый в обращении, немногословный, в те времена бывал особенно приветлив со мной, часто приглашал в свой кабинет попить чаю, поговорить о психологии.

Директор предложил мне вести уроки по истории СССР. Но я уже тогда хорошо понимал скуку идеологической заданности. Мне претило пересказывать «Краткий курс истории партии», и я решил вернуться к начальной ступени своей деятельности – стал учителем труда, точнее, слесарного дела. В дополнение к этому у меня еще было три урока по астрономии.

В нашей школе учились дети нескольких директоров заводов и начальников шахт. С их помощью мы оборудовали отличную мастерскую, поставили даже два станка – токарный и фрезерный. Слесарное дело я преподавал три года. Это был один из лучших периодов моей жизни. Никогда я не пользовался таким авторитетом у своих подопечных, никогда так полно не чувствовал свою значимость для них, как в то время. Вот, что такое учить делать вещи своими руками! Когда десятилетний мальчишка побеждает твердость металла, делает обычный болт, нарезает резьбу, потом делает

229

довался: «Как же мы не знали? Давно ищем специалиста». Он вызвал секретаря и велел принести личный листок по учету кадров.

«Пишите заявление, заполняйте личный листок и завтра с дипломом приходите». Я вышел окрыленный надеждой. Неужели он не поставил диагноз по моей внешности? Похоже, что и правда на логику могут взять с «пятым пунктом».

На следующее утро я снова был у директора пединститута. Он взял мои документы, водрузил очки, глянул и как бы запнулся. По его лицу я сразу все понял. «Видите, – сказал директор, – мы тут подумали... Семестр давно начался и теперь трудно менять расписание. А вот в следующем учебном году мы обязательно включим этот курс. Приходите, мы обязательно...».

После этого случая я решительно пресекал пустые надежды и полагался только на себя, на самостоятельные занятия философией. Тем более, что за год до описанного случая я ведь имел горький опыт такого сорта. Летом 1954 года, после напряженной подготовки, я отважился приехать в Москву и подать документы в аспирантуру Института философии. В Киеве я хорошо знал обстановку, там у меня не было никаких шансов. А в Москве, наверное, думал я, больше справедливости. Столица! Там ЦК партии, можно добиться правды. А я недавно вступил в партию, по глубокому убеждению, что надо быть активным строителем коммунизма. Во власти этой мифологии я оставался еще долго, несмотря на поток противоречащих фактов. Человеку, как воздух, необходимы высокие смыслы. Другой же социальной альтернативы я не мог себе представить.

Благоговейно вступал я в стены Института философии. Первый экзамен по избранной мной специальности – диалектическому материализму. Принимал экзамен Дмитрий Павлович Горский, тогда молодой преуспевающий доцент. Он задавал много дополнительных вопросов, пытался подловить на чем-нибудь. Ему это не удавалось, он немного нервничал. Но что поделать – у него инструкция, и он поставил мне четверку. (Спустя двадцать лет, когда я работал профессором МГУ и был заведующим отделом диалектического материализма, логики и философских вопросов естествознания журнала «Философские науки», мы с Дмитрием Павловичем приятельствовали, но он, конечно, не помнил меня в качестве истязаемого на экзамене в аспирантуру, а мне незачем было напоминать ему об этом, человек действовал по инструкции). Четверка

по специальности уже не позволяла пройти конкурс, но для страховки мне на экзамене по историческому материализму поставили тройку. Я горько переживал столь грубую несправедливость, однако не пал духом. Буду сам писать диссертацию!

Тема диссертации несколько раз видоизменялась, но всё обращалось вокруг проблемы духовного и телесного, психического и физического. Я написал несколько статей, посылал их в разные издания, в Киевский и Московский Институты философии. Но ни ответа, ни привета. В журнале «Вопросы философии», который я постоянно выписывал, тогда шло обсуждение проблемы необходимости, закономерности и случайности. Это меня очень интересовало. Я написал статью «К вопросу об определении категории случайности» и набрался наглости послать ее прямо в журнал «Вопросы философии». В те времена это был единственный философский журнал, выходил он всего четыре раза в год и печатался в нем лишь философские «киты».

Прошло полтора-два месяца. Никаких надежд даже на ответ у меня не было. И вдруг однажды я обнаруживаю в почтовом ящике письмо со штампом журнала «Вопросы философии». Сердце мое учащенно билось. Дрожащими руками я вскрыл конверт и с изумлением прочел короткое письмо. Помню его наизусть:

«Дорогой тов. Дубровский (к сожалению, не знаю вашего имени и отчества), мы получили вашу интересную статью. Она обсуждалась на редколлегии и принята к печати. Ваша статья будет опубликована в ближайшем номере. Сообщите, над чем вы сейчас работаете, какую еще статью вы могли бы подготовить для нашего журнала. С искренним уважением. Зав. отделом Г. Гургенидзе».

Я не верил своим глазам, множество раз перечитывал это письмо. Легко представить, что оно для меня значило.

С нетерпением ожидая выхода очередного номера «Вопросов философии», я с воодушевлением работал над диссертацией и готовил новую статью. И вот, наконец, я держу в руках журнал со своей статьей. Это произошло летом 1957 года.

Фортуна стала явно поворачиваться ко мне своей светлой стороной. Я получил комнату, меня пригласили читать лекции по философии в вечернем Университете марксизма-ленинизма (была такая форма учебы для интеллигенции). А главное – вышло постановление правительства, согласно которому преподавание философии вводилось во всех высших учебных заведениях. В Донецке

оставался лишь один дипломированный преподаватель философии (в моем лице) и у меня появились надежды.

Для этого были основания. Секретарем обкома партии по идеологии недавно стал Д. З. Белокопос. Года три назад он был секретарем горкома партии, и ему дали на рецензию мою статью, которую собирались напечатать в газете «Социалистический Донбасс» в рубрике «В помощь изучающим марксистско-ленинскую философию». Он одобрил статью, ее опубликовали.

А вскоре в газете «Правда» (органе ЦК КПСС) появился обзор областных газет, в котором лестно говорилось о статье Д.И. Дубровского и положительно оценивалась работа газеты «Социалистический Донбасс» в деле пропаганды марксистско-ленинской философии. Белокопос был весьма доволен (он дал «путевку в жизнь» этой статье), главный редактор газеты – тем более. Последний вызвал меня и предложил работу в газете, сулил всяческие блага. Я колебался: высокая зарплата, перспектива получить квартиру. Но ведь это означало, что с утра до вечера надо заниматься газетными делами. Я вежливо отказался, к удивлению главного редактора и моего покровителя, заведующего отделом газеты Тернесянца.

Вскоре Белокопос уехал в Москву, стал слушателем Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил там кандидатскую диссертацию и вернулся в Донецк уже в ранге секретаря обкома. Стать преподавателем философии в институте можно было только с санкции обкома. И я добился приема у Белокопоса. Этому способствовало еще одно благоприятное обстоятельство: его жена трудилась со мной в одной школе, а сына его я учил психологию и логику. «Их сиятельства» относились ко мне вроде бы доброжелательно.

Белокопос принял меня сухо, но покровительственно. Посмотрел список опубликованных работ, личный листок по учету кадров, спросил, каким образом в четырнадцать лет попал на фронт. В итоге преподавателя слесарного дела приняли преподавателем философии в медицинский институт. Сбылась «вековая» мечта.

Заведующий кафедрой философии мединститута Трофим Иванович Денисов, бывший партийный работник, выходец, конечно, из пролетариев, когда-то окончил партийную школу и к философии имел весьма отдаленное отношение. Он был «яловый доцент» (так называли получивших звание доцента без кандидатской степени).

Трофим Иванович умел складно говорить на идеологические темы. Степенно, как бы размышляя, как бы углубляясь в суть проблемы, произносил общие, хорошо обкатанные партийные слова. Невысокого роста, коренастый, с благородного вида седой (ему было под шестьдесят), он отечески принял меня под свое крыло и поручил чтение лекций на всех потоках. Я тянул двойную учебную нагрузку, а он занимался «организаторской» работой, обхаживал обком, партком, ректора, сообщал с загадочной улыбкой мнение начальства, давая почувствовать, что ему ведомо гораздо больше. Это был настоящий мастер интриги, хитроплетения слухов, умасливания начальства. Мне до этого было мало дела, я ретиво таскал воз учебных и партийных нагрузок и радовался своему новому положению.

Фортуна мне улыбалась. Я встретил свою будущую жену – Женю (Евгению Петровну Ковалеву). Впервые я увидел ее из окна троллейбуса. Стоял прохладный солнечный день. Она была в модном плаще цвета «кофе с молоком» и такого же цвета шляпе. Какое прелестное, одухотворенное лицо! Что-то нездешнее, словно из прошлого века. Инстинктивно я поднялся с места, хотел выйти. Но дверь захлопнулась, троллейбус тронулся, и я смотрел, смотрел из заднего окна, пока еще можно было что-то различить. Ее образ не выходил у меня из головы, рождая чувство невосполнимой утраты.

Как раз тогда ввели факультативный курс лекций по эстетике и, конечно же, Трофим Иванович поручил его мне. Каково же было мое изумление и потрясение, когда на первой лекции я увидел ее. Она была студенткой третьего курса лечебного факультета. Мы познакомились. А что было дальше, это надо рассказывать подробно, и, может быть, я еще соберусь с духом и напишу о том, как развивались наши отношения, как Женя стала моей женой. Это была несомненная, настоящая взаимная любовь. Она светит мне из прошлого. Наверное, это самое значительное и дорогое, что было в моей жизни! Женя умерла 9 января 2000 года. Человек должен уметь не только достойно жить, но и достойно умереть. Можно сказать с полным правом, что она подала нам такой пример.

Весной 1959 года я поехал в Москву и впервые встретился с Гургенидзе. До этого мы полтора года переписывались. В редакции «Вопросов философии» он встретил меня радушно, как старого знакомого, мы долго беседовали на разные философские те-

мы, обсуждали мою новую статью. Я почему-то представлял его себе другим – высоким, черноволосым. Он оказался невысокого роста, с жиденькими светло-рыжими волосами, серыми глазами. Благородный овал лица, прямой изящный нос, тонкие губы. В речи и движениях мягкость, деликатность. Никакой рисовки, позы, всё подлинно, ты веришь каждому его слову. Быстро прошло внутреннее напряжение (ведь столько ждал этой встречи!). Я почувствовал себя с ним легко и просто.

Встреча с Геннадием Гургенидзе вызвала у меня прилив сил, повысила веру в себя. К тому времени я уже точно определил тему и задачи своей диссертации, почти закончил первую главу. Называлась диссертация «Об аналитико-синтетическом характере отражательной деятельности мозга». В ней рассматривался один из аспектов психофизиологической проблемы на основе сопоставления понятий анализа и синтеза в философии (теории познания и логики), психологии и физиологии высшей нервной деятельности.

Работа в медицинском институте дала сильнейший импульс моим научным занятиям. Я изучал головной мозг на кафедре анатомии у профессора Довгялло, крупного специалиста в своей области и блестящего эрудита в истории науки и художественной литературе. На кафедре физиологии я был одновременно и учеником и философским консультантом, выступал с докладами по методологическим вопросам физиологии. Заведующий этой кафедрой профессор Фельдман, человек в высшей степени доброжелательный и интеллигентный, проявлял искренний интерес к общим теоретическим и философским аспектам своей дисциплины; мы с ним часто дискутировали. Кроме того, как уже говорилось выше, по заданию парткома я руководил методологическим семинаром профессоров-клиницистов, в котором постоянно участвовали такие замечательные деятели медицины, как Воронов, Губергриц и др. Всё это оказало чрезвычайно большое влияние на мое интеллектуальное развитие.

Я дружил с Эмилем Любошицем, доцентом кафедры детских болезней, проявившим большой интерес к теоретическим и методологическим вопросам медицины и генетики. Он внимательно следил за новейшими научными достижениями, всегда располагал недавно вышедшей литературой, причем не только научной, но и художественной. Талантливый врач, лучший педиатр Донецка, Эмил Любошиц был широко эрудированным человеком. Посто-

янное общение с ним, обсуждение научных проблем стало для меня важным источником профессионального и духовного роста. Гостеприимный дом Эмиля являлся главным «Культурным центром» Донецка. И не только для меня. У него собирались наиболее интересные представители донецкой интеллигенции, талантливые молодые люди из числа его студентов и аспирантов, часто приезжали из Харькова его друзья, видные физики-теоретики, врачи, литераторы. Утонченная интеллигентность сочеталась в Эмиле с бойцовским духом. И вполне закономерно, что со временем он открыто вступил на путь диссидентства, был изгнан из института и еще в 1973 году – после затяжных баталий с властями – добился выезда в Израиль, где стал заметной фигурой не только в медицине, но и в общественной жизни.

Институтское начальство хорошо ко мне относилось, особенно секретарь парткома профессор Маташин – человек прямой, резкий, но справедливый. Как хирург, он выполнял сложнейшие операции. Вместе со студентами я не раз наблюдал за его работой. Мне запомнилось, как он спас девушку с пораженным пищеводом, сделав операцию по его восстановлению, точнее – замене, используя отрезок тонкой кишки. Операция длилась около шести часов. Какое нервное напряжение, какой адский труд!

Хорошее отношение партийного начальства выражается в том, что тебе поручают трудные дела. Партком назначил меня ответственным редактором институтской многотиражки «Советский медик». Газета выходила один раз в неделю, тиражом более тысячи экземпляров (в институте одних студентов около четырех тысяч). Это была весьма трудная работа, за которую, правда, мне дополнительно платили небольшие деньги. При газете мы создали литературное объединение, ежемесячно печаталась «Литературная страничка» – стихи, рассказы, юморески студентов и преподавателей.

И тут, в начале 1960 года, произошло событие, которое чуть было не перечеркнуло мою институтскую карьеру. Комиссия обкома проверяла институт (не помню уж по какому поводу). Возглавлял комиссию сам заведующий отделом науки и культуры обкома партии товарищ Гуренко. Это был на удивление грубый и надменный человек, его внешний облик плохо сочетался со словами «наука и культура». Чем-то он походил на алкаша-грузчика из соседнего продуктового магазина. Высокий, полный с нездоровой, как у сильно пьющего, краснотой и одутловатостью лица, оловя-

ными глазами и редкими седеющими волосами, зачесанными наверх, он быстрым шагом ходил по институту, выпятив грудь и не отвечая на приветствия. Его сопровождал озабоченный Маташин.

Комиссия работала в институте несколько дней. И как раз в один из них у нас по плану происходило заседание литературного объединения. В нем участвовал талантливый молодой поэт Лёва Беринский, самая яркая фигура нашего литобъединения. Позднее он переехал в Москву и стал довольно известным поэтом и переводчиком, сотрудником журнала «Иностранная литература».

Лёва выглядел типичным еврейским мальчиком: худенький, черноволосый, черноглазый. Он читал свой новый цикл стихов, посвященных шахтерам. И вдруг, хозийски распахнув дверь, входит Гуренко и садится на свободный стул. Мне, конечно, следовало сразу прервать Лёву и сказать: «Товарищи, к нам пришел заведующий отделом науки и культуры обкома партии Иван Петрович Гуренко», но неудобно же перебивать на полуслове, я ждал, когда Лёва закончит читать стихотворение. Но не успел представить высокое начальство. Прислушав не более двух четверостиший, Гуренко грубо оборвал Лёву, стал орать, что здесь извращают образ советского шахтера, что такие стихи льют воду на мельницу антисоветчиков и т.д. и т.п.

Его столь же грубо перебил член литобъединения Николай Шолков, сурового вида великовозрастный студент (в прошлом летчик-истребитель, он демобилизовался в чине капитана и поступил в институт, когда ему уже было под тридцать). Николай громко, размеренно сказал в лицо Гуренко, что тот ничего не понимает в поэзии, говорит полную ерунду. Я, конечно, быстро перебил Николая, представил, наконец, Гуренко членам литобъединения. Но на них его чин не произвел впечатления. Гуренко, потеряв над собой контроль, еще пуше кричал, ему то по отдельности, то хором возражали. Я пытался навести порядок. Гуренко вскопчил и, громко хлопнув дверью, ушел. Теперь мне предстоит «веселая жизнь».

Маташин крепко отругал: как я мог допустить такое? А завтра меня вызвал Гуренко. Часа полтора продержал в приемной. Когда я вошел в его кабинет, не предложил сесть, а сразу стал в повышенном тоне, злобно отчитывать. Говорил он не слишком связно, запинаясь от злости, всё более оскорбительно. «Ты что там развел синагогу?». «Скоро в пейзах будут ходить по институту».

«Разводишь чуждую идеологию» и т.п. Вначале я пытался вежливо возражать, но он не слушал и всё более распалялся. Я не выдержал: «Вам померещилось, там был всего один еврей, а тридцать человек вы не заметили». Он взорвался и понес такое... Что-то про Израиль, про сионистов. «Знаешь, как народ относится к вашему брату? А мы тебя держим». Эти слова я запомнил точно. И еще он что-то говорил о преданности Родине. От жгучей обиды у меня потемнело в глазах, я был близок к тому, чтобы дать в рыло этому борову. И меня прорвало, наплевать на всё: «Ты на меня не ори! Я доказал свою преданность, добровольно воевал на фронте. А где ты был? Ты не коммунист, ты настоящий фашист. Я тебя выведу на чистую воду. Это ты вцепился в свое кресло, а мне терять нечего. Дойду до ЦК, ничего не пожалею, но тебя, суку, разоблачу». У него перекошилось лицо, оно стало пунцовым, казалось его сейчас хватит кондрашка. Я покрыл его отборным матом и хлопнул дверью.

Ну, теперь держись! Выгонят и из партии, и из института. Придя домой, я обо всем рассказал Жене. Она энергично сжала мою руку и воскликнула: «Чёрт с ними! Не пропадем!». А потом добавила: «Вот увидишь, всё обойдется». Я крепко обнял ее.

Поостыв, я стал обдумывать ситуацию. Что может сделать Гуренко? Побойтся придать делу открытый характер. Понимает, что я устрою ему скандал. А это для него – лишнее. Известно, как еще посматривает начальство, оно таких вещей не любит. Втихую будет мстить, конечно, может сильно напакоштить. Надо пойти к Белоколову для страховки. Известно, что он сильно не любит Гуренко.

Примерно через неделю мне удалось попасть на прием к Белоколову. Я кратко ему изложил происшедшее, смягчив еврейскую тему и опустив обмен «любезностями». Он сказал одну фразу: «Спокойно работайте». И дал понять, что аудиенция закончена.

Так и вышло, как предсказывала Жена. Литобъединение, правда, тихо прикрыли. Меня не пускали на научные конференции, на курсы повышения квалификации. Ездили все, кроме меня. А в остальном – тишина. Через год Гуренко убрали из обкома, и я спокойно вздохнул.

Летом 1961 года состоялась моя вторая встреча с Гургенидзе. На этот раз он пригласил меня к себе домой, познакомил со своей женой и двумя детьми. Его жена Люба (русская, но ставшая чем-то похожей на грузинку) накрыла стол. Гургенидзе принес трехлит-

ровую бутылку золотистого вина. Мы обедали, он предложил перейти на «ты», столько лет уже знаем друг друга. Это далось нам обоим легко. Меня оставили ночевать.

Геннадий был родом из деревни недалеко от Кутаиси. Там жила его мать. Оттуда и привезли вино. Он любил родные места, часто проводил там летний отпуск. Москвичом стал после войны. В журнале работал почти с самого его основания.

Всякий раз, когда я бывал в гостях у Геннадия, на столе появлялось знакомое золотистое вино. Странно для грузина, но сам Геннадий не пил, только наливал себе четверть стакана и поднимал его, предлагая мне выпить это замечательное вино, произносил краткий тост.

Нас сближало еще и то, что мы были фронтовиками. Но Геннадий как-то мягко обходил подробности своей военной биографии, столь интересной для меня. Это был человек исключительной и неподдельной скромности. Лишь спустя много лет я случайно узнал, что Геннадий Гургенидзе награжден пятью боевыми орденами. К тому времени я уже лет десять жил в Москве, постоянно с ним общался. Постепенно я вытягивал из него подробности. Геннадий прошел войну от первого до последнего дня. Отступал с боями от самой границы, выходил из окружения. Трижды был тяжело ранен. В жесточайших боях под Новороссийском во время бомбежки его контузило и засыпало землей. Из-под нее выглядывала лишь кисть руки с часами. Какой-то солдат хотел снять часы и заметил, что пальцы шевелятся. Его раскопали и спасли. Начал он войну солдатом, закончил майором, заместителем командира полка.

После встречи с Геннадием я всегда испытывал мощный заряд бодрости духа, необыкновенную окрыленность и готовность преодолевать любые трудности. Я завершил свою кандидатскую диссертацию, основные ее положения Геннадий горячо поддерживал. Теперь встала проблема: как пробиться к защите? На философском факультете Киевского университета мне дали от ворот поворот: дескать, диссертация не философская, а скорее по физиологическому или психологическому «ведомству». Я обратился на кафедру философии Киевского Института повышения квалификации преподавателей общественных наук. Там сказали: оставьте, ознакомимся и сообщим результаты. Ознакомление длилось месяца три. Я много раз звонил на кафедру. Наконец, получил ответ: рассмотрели и пришли к выводу, что диссертация не вполне философ-

ская и кафедра не может рекомендовать ее к защите, приезжайте и заберите... Я расстроился, позвонил Геннадию. Он принял мои неудачи близко к сердцу, долго ругал «догматиков» и сказал, чтобы я привез диссертацию в Москву.

Прошел еще примерно месяц, пока я смог приехать в Киев, чтобы забрать диссертацию. Кто-то из доцентов кафедры посоветовал мне обратиться к физиологам, в диссертации же обсуждаются методологические вопросы физиологии. И я подумал: а почему бы и нет?

На следующий день, взяв диссертацию, я пошел в Институт высшей нервной деятельности Украинской академии наук, прямо к директору. Перед его кабинетом, прочитав надпись, я растерялся: «Директор Института высшей нервной деятельности, Вице-Президент Академии наук УССР, академик Макаренко Александр Федорович». Потоптавшись в нерешительности, я приотворил дверь приемной, секретарши не было. Подошел к следующей двери, оббитой черным дерматином, несколько раз постучал, но пухлый дерматин почти не издавал звука. Робко открыл дверь. «Заходи, заходи!» – зычно произнес хозяин кабинета, поднимаясь из-за стола. «Садись. Зачем пожаловал?».

Александр Федорович был маленького роста, коренастый, полный, круглолицый, типичный украинский мужичок, никакой начальственности во взгляде и речи. Я коротко, запинаясь, изложил суть дела. Он взял автореферат диссертации, минут десять листал его, читая отдельные места. Потом вызвал своего сотрудника. «Коля, – сказал он, – глянь эту диссертацию, вроде бы интересно».

Это был Николай Горбач, старший научный сотрудник института, правая рука Макаренко. Буквально на следующий день он дал в высшей степени лестный отзыв о диссертации. Мы с ним долго беседовали. Невысокого роста, худощавый, в очках с толстыми стеклами, утонченный интеллигент и умница, Николай Горбач являл собой прямую противоположность Макаренко по манерам поведения, стилю речи. Он серьезно интересовался методологическими вопросами физиологии. Мы с ним быстро подружились.

Александр Федорович подписал отзыв, подготовленный Горбачем и сказал: «Чего ж они там волыняют?». Подумал и позвонил самому ректору университета, а потом еще подписал письмо декану философского факультета с просьбой принять диссертацию к

защите. Дело быстро завертелось. Николай Горбач стал одним из официальных оппонентов наряду с двумя философами и через два месяца, в июне 1962 года, я успешно защитился. Вот так неожиданно всё обернулось благодаря Александру Федоровичу Макаренко.

Долгие годы я дружил с Николаем Горбачем и всегда при возможности старался засвидетельствовать чувство огромной благодарности Александру Федоровичу. В 1965 году в Донецке проходила республиканская конференция по физиологии, и Александр Федорович побывал у нас дома. Мы выпили, пели песни, он лихо отплясывал с Женей.

Сразу же после защиты кандидатской диссертации я серьезно принялся за докторскую. Тема давно определилась: «Философский анализ психофизиологической проблемы (в связи с актуальными задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики)». Главная цель – разработка концепции, способной ответить на два мучительных вопроса: 1) как связаны явления субъективной реальности (мысль, чувственный образ и т.п.) с мозговыми процессами, если первым нельзя приписывать пространственные и физические характеристики, а вторые ими, несомненно, обладают; 2) как возможно психическое управление, т.е. воздействие явлений субъективной реальности на телесные процессы. Ведь очевидно, что мысль, желание управляют работой мышц, телесными изменениями. Но как это научно объяснить?

Над докторской я напряженно работал пять лет. Когда диссертация была уже почти завершена, Геннадий Гургенидзе попросил меня написать для «Вопросов философии» статью, представив в ней свое видение психофизиологической проблемы и путей ее разработки. Я написал такую статью, изложил свою позицию и подвергнул в ней резкой критике безраздельно господствовавшую тогда социологизаторскую установку. Ее рьяные защитники (Э.В. Ильенков, Ф.Т. Михайлов и др.) утверждали, что природные, генетические факторы не играют никакой существенной роли в формировании личности, что всё определяется культурой, воспитанием, социальным управлением, идеологией, а это, понятно, хорошо сочеталось именно с марксистской идеологией и убеждением во всеилии партийного руководства. Ведь отдельная личность у нас ничего не значила, фактически отрицалась ее уникальность (обусловленная прежде всего именно генетическими

факторами). Личность поглощалась «народом», «обществом», «партией» как «выразительницей воли народных масс».

Моя статья дважды обсуждалась на редколлегии, против ее публикации выступали наиболее ортодоксально настроенные члены редколлегии, особенно «самый главный» тогда у нас психолог А.Н. Леонтьев. Но Гургенидзе удалось всё же «пробить» ее, и она вскоре была напечатана в качестве дискуссионной («Вопросы философии», 1968, № 8).

К тому времени решился вопрос о месте защиты диссертации. В те годы советы по защите докторских философских диссертаций были только в Москве, Ленинграде, Киеве и Ростове-на-Дону. Я подался в Ростов, так как он был совсем близко от Донецка. Перипетии продвижения диссертации к защите хочу опустить, слишком долго пришлось бы описывать их. Скажу только, что при обсуждении диссертации на кафедре философии Ростовского университета, а затем и на ученом совете она встретила серьезную оппозицию, но была всё же принята к защите при небольшом перевесе тех, кто ее поддерживал.

К ним принадлежал заведующий кафедрой философии профессор Михаил Михайлович Карпов. Он занимался вопросами методологии науки, моя работа ему нравилась, и это было единственное обстоятельство, которое побуждало его решительно защищать меня от нападков многочисленных ортодоксов (довольно редкий случай!). Большую помощь оказал мне и профессор Всеволод Евгеньевич Давидович – отчасти из убеждения, что диссертация, несомненно, заслуживает поддержки, а отчасти из-за личных симпатий ко мне (мы с ним подружились). Ну и, конечно, важнейшим условием того, что диссертацию согласились принять для рассмотрения, решили обсудить на кафедре и затем, пусть со скрипом, но приняли к защите, послужило то, что журнал «Вопросы философии» напечатал ряд моих статей. Тогда публикация в «Вопросах философии» считалась в философской среде высшим пилотажем, автор ее причислялся к числу «избранных». Этим не могли похвастать даже многие доктора и профессора (их число в конце шестидесятых было невелико, докторов философских наук можно было пересчитать по пальцам). Защиту наметили примерно на ноябрь-декабрь.

Всё это произошло еще до выхода моей дискуссионной статьи в «Вопросах философии». К счастью! Статья вызвала ажиотаж среди

ортодоксов, особенно среди сторонников Э.В. Ильенкова, которых в Ростове было немало. Ректор Ростовского университета Юрий Жданов (бывший муж дочери Сталина Светланы Алилуевой, сын того Жданова, который при Сталине являлся главным идеологом) являлся приятелем и активным сторонником Ильенкова. В такой атмосфере мою диссертацию наверняка бы не допустили к защите.

Между тем в журнале «Вопросы философии» развернулась дискуссия. Такой дискуссии – по резкости, заинтересованности, эмоциональному накалу, числу вовлеченных в нее – у нас в послевоенный период (вплоть до времен перестройки) еще не было. Друзья называли меня самоубийцей: какой же идиот в преддверии защиты станет публиковать такую статью? Я понял это слишком поздно.

За две недели до защиты вышла ответная статья Э.В. Ильенкова, в которой он «громил» меня, широко используя идеологические аргументы, обвиняя в отступлении от марксизма, в позитивизме, биологизаторстве и т.п. («Вопросы философии», 1968, № 11). Для защиты это было смерти подобно. В дискуссии выступали и мои сторонники, и противники (большинство поддерживало мои позиции). Журнал дал мне возможность ответить Э.В. Ильенкову, но эта статья вышла уже после защиты («Вопросы философии», 1969, № 3).

Геннадий Гургенидзе сознавал нависшие надо мной угрозы и всячески старался помочь. Он организовал положительные отзывы на автореферат диссертации академиков Кедрова и Анохина, крупнейших в то время авторитетов, соответственно, в философии и физиологии. Прислали положительные отзывы академик Парин, ряд видных философов, медиков, физиологов. Геннадий многим звонил, увещевал, просил. Официальными оппонентами назначили известных философов Александра Георгиевича Спиркина и Бориса Владимировича Бирюкова, а от физиологов – видного ученого, заведующего кафедрой высшей нервной деятельности Ростовского университета Александра Борисовича Когана, которого в Ростове весьма почитали (в том числе и Жданов), и он, поддерживая меня, в какой-то степени амортизировал пыл местных противников.

Наступил день защиты (10 декабря). Стоял непривычный для Ростова сильный мороз, бушевала вьюга. Худшей погоды не придумаешь. Но это не помешало стечению народа, пришло около двухсот человек. В большом зале не хватало мест. Помещение

университета плохо отапливалось, многие сидели в пальто и даже в шапках. Но скоро в зале стало жарко. Кипели страсти, эмоциональная ростовская аудитория бурно реагировала на слова как моих противников, так и сторонников (надо сказать, что последних было немало). Председатель совета, Михаил Михайлович Карпов, временами не мог утихомирить аудиторию. Защита продолжалась около восьми часов. Она заслуживает подробного описания, так как подобной защиты в нашей философской епархии за последние пятьдесят лет наверняка не было. Но я боюсь утомить своих внуков и близких.

И вот, наконец, долгожданный результат голосования. Я прошел двумя голосами, что подтвердило прогноз расклада голосов «за» и «против», произведенный Всеволодом Давидовичем. Меня официально поздравили с присуждением ученой степени доктора философских наук. Несмотря на позднее время, в ресторане «Ростов» ждал банкет на пятьдесят персон – таков был тогда неписанный закон (вспоминается анекдот – профессор подает заявление: «Прошу вывести меня из состава членов ученого совета, так как я страдаю язвой желудка»).

На банкет пришли и многие противники: почему бы не выпить и не закусить после столь долгого сидения и всех баталий. Произносили, как водится, тосты. Поднимали бокалы за мои успехи явные и скрытые противники. В речах одного-двух из них слышалось странное, насторожившее меня удивление, с едва различимым, тончайшим оттенком злорадства. Это насторожило. Впрочем, с самого начала после того, как объявили результаты голосования, я не чувствовал себя победителем, на сердце что-то скребло. Даже выпив на банкете, я не испытал облегчения, приятной расслабленности.

На следующий день, рано утром, я проводил Спиркина в аэропорт, он торопился в Москву. Вернулся в гостиничный номер и сразу – звонок: меня срочно требовали в университет. Вот дела! Тебя накаутировали, а ты еще ходишь, ничего не знаешь. Оказываются, вчера мои противники-лишневковцы, прикидывая расклад голосов (ведь были и «серые лошади») и сознавая вероятность того, что я могу проскочить, решили меня окоротить чисто по-ростовски. Кто-то из них бросил в урну для голосования лишний бюллетень. В заседании совета и голосовании приняло участие двадцать один член ученого совета, а в урне оказалось двадцать

два бюллетеня. Перебор! Это считалось грубым нарушением Инструкций ВАКа. В таких случаях следовало объявить об этом совете и переголосовать.

В составе счетной комиссии – три человека: один мой сторонник, один противник и один якобы нейтрал (а на самом деле злобный противник). И эти двое уговорили моего сторонника скрыть факт лишнего бюллетеня: восемь часов отсидели, надо сидеть еще час, пока перепечатают бюллетени, пока снова проголосуют, а какой смысл, он всё равно ведь проходит по большинству голосов, ничего не меняется. Так зачем? Всё разыграли, как по нотам. Назавтра, в девять часов утра, когда я вез Спиркина в аэропорт, в обкоме партии уже лежало письмо, в котором говорилось о сокрытии факта неправильного голосования, грубом нарушении инструкций ВАКа, об идеологической ущербности диссертации и необходимости принять меры.

В одиннадцать часов утра (по указанию из обкома) в университете уже опять собрался совет. Когда я пришел, за закрытыми дверями шло бурное обсуждение. Меня долго не приглашали, точнее, не впускали на заседание. На нем отсутствовали два моих сторонника, которые вчера активно участвовали в защите, но зато присутствовал один старикан, который вчера на защите не был, его притащили сегодня чуть ли не на носилках. Таким образом, соотношение голосов изменили, снова проголосовали и провалили меня одним решающим голосом. С этим, не солоно хлебавши, я и уехал в Донецк. Пикантность ситуации состояла в том, что меня провалили после банкета в честь успешной защиты.

Дальше события разворачивались следующим образом. Второе заседание совета с переголосованием представляло еще более вопиющее нарушение инструкций ВАКа. Недели через две устроили третье заседание совета, и на нем оба голосования признали недействительными, а, значит, защиту несостоявшейся. Уже легче! Одно дело, когда тебя провалили, другое, когда защита не состоялась, ты чистенький, можешь начинать снова.

История с моей защитой имела широкий резонанс, дошла и до ЦК. Дискуссия в журнале «Вопросы философии» продолжалась. Всем было ясно, что произошло и почему. Реноме Ростовского университета и лично товарища Жданова оказалось задетым. Философская братия рассказывала эту историю как анекдот: избрали, попиروвали, а потом провалили. Геннадий Гургендидзе сильно воз-

мушался и переживал, звонил мне десятки раз, поддерживал советом, пытался влиять на сильных мира сего. Да, друзья познаются в беде. Хотя, честно говоря, я не чувствовал большой беды. Прошли первые потрясения, я внушал себе: ничего страшного, пробуюсь, не в этом году, так в следующем. Мои силы питали чувства истинности и справедливости, то, что столько хороших людей искренне поддерживали меня в трудные минуты.

Вскоре после третьего заседания совета меня вызвал в Ростов Юрий Жданов. Короткая стрижка, жесткий взгляд, маленького роста (в сравнении с ним даже я чувствовал себя статным мужчиной), барственный манера речи, эдакий наполеончик. Он сразу взял быка за рога: «Видите, каково отношение к вам? Вас провалят. Зачем вам это? Забирайте диссертацию и езжайте защищаться в Москву, там вас поддерживают».

Я подумал: но ведь тогда надо будет заново проходить все процедуры приема диссертации к защите, рецензий, обсуждений, утверждения оппонентов, заново печатать реферат, ждать своей очереди минимум год, ездить то и дело в Москву (а на какие шиши? И так сию в долгах по уши). А главное, с чего это я должен поджимать хвост перед этим наполеончиком, перед всей этой сворой, видал я их всех «в белых тапочках». После всего, что произошло, мне уже ничего не страшно. Послушай Жданова, значит признай свое поражение. И я прямо ему сказал: «С какой стати я должен забирать свою диссертацию. Это – наука, а не торговля. Я защищаю свои научные выводы. Провалит – так провалит. Вот тогда и забери». Жданов надулся и жестко, с некоторым вызовом, сказал: «Как знаете». Отвернулся, взял телефонную трубку, разговор окончен.

Фортуна опять стала постепенно поворачиваться ко мне светлым ликом. В начале 1969 года совет, в котором я защищался, перестроили. Человек пять из него вывели и столько же ввели новых. Соотношение явных сторонников и противников для меня несколько улучшилось. Председателем совета остался Карпов. И он поставил защиту моей злополучной диссертации на ближайшее заседание совета в феврале.

До новой защиты оставался месяц, сторонники и противники вели напряженную работу – дело шло на принцип. Время работало на меня. Среди противников были и весьма приличные люди, которые, конечно, не читали диссертации, а руководствовались в ос-

новном приятельскими соображениями и некоторыми привычными клише, которые, по их мнению, я пытался ниспровергнуть, а это вызывало раздражение, способствовавшее охотному зачислению меня в разряд сциентистов и позитивистов (стремящихся свести философию к ее высокому пьедесталу к обычной науке) или в рубрику «биологизаторов» (которые на первое место ставят генетические факторы развития человека, его природную основу).

Мои противники принадлежали к числу тех, кто занимался общими принципами марксизма, его социально-историческими конструкциями и диалектической логикой, которая почиталась «душой марксизма» и образцом истинной философии. Для них психофизиологическая проблема и связанные с ней методологические вопросы соотношения духовного и телесного выглядели чем-то недостойным истинной философии. Э.В. Ильенков как раз и олицетворял такое понимание «истинной философии», а меня считал позитивистом, что отчасти соответствовало действительности, ибо я старался держаться как можно дальше от насквозь идеологизированной и политизированной тематики исторического материализма и от диалектической логики, которая представляла собой марксистскую отрывку гегельянства, упрощенного и приспособленного для текущих идеологических нужд.

К диалектической логике в ее отечественном исполнении у меня давно возникла стойкая идосинкразия. Эта игра категориями, «переливающимися» друг в друга, вырождавшаяся в сухую схоластику, но с неременной претензией на особую глубину мысли. Бессчетное число работ по диалектической логике нагнетало муть неопределенности и релятивизма; используя принцип противоречия, «единство и борьбу противоположностей», можно создать видимость «обоснования» чего угодно. В те времена ходил анекдот о диалектической логике, который рассказывали, правда, только близким и проверенным людям, иначе могли выгнать из партии и с работы.

Приходит бабушка в обком партии к инструктору и говорит: «Вот ты мне, сыночек, объясни, что такое диалектическая логика». «Трудный, бабка, вопрос. Как тебе это... Ну, давай на примерах. Значит, приехали в город чистый и грязный. Кто пойдет в баню?». «Грязный, сыночек». «Нет, бабка, чистый пойдет в баню. Грязный потому и грязный, что не ходит в баню, а чистый ходит. Поняла?». «Поняла». «Так, кто пойдет в баню?». «Чистый, сыночек». «Извини, бабка, грязный пойдет в баню. Потому что грязному надо,

а чистому не надо. Поняла, бабка?». «Поняла». «Так, кто пойдет в баню?». «Грязный, сыночек». «Опять извини, бабка, оба пойдут в баню. Потому что грязному надо, а чистый потому и чистый, что ходит в баню. Поняла?». «Вроде поняла». «Так, кто пойдет в баню?». «Оба, сыночек». «Эх, бабка, бабка, никто не пойдет в баню. Потому что... Вот это диалектическая логика».

Разумеется, проблемы исследования логических процессов представляют большой интерес, как и вопросы обоснования, вопросы развития концепций формальной логики и т.п. Но наши главные специалисты по диалектической логике смотрели в другую сторону, блюли «душу марксизма».

Э.В. Ильенков слыл корифеем диалектической логики, а значит, фамильярно вел себя с «душой марксизма», постоянно толкуя и перетолкуывая Маркса. И это однажды вызвало резкое несогласие со стороны самых крайних ортодоксов, примитивных дуболомов (таких было хоть пруд пруди!). Его слегка проработали в одной-двух статьях, которые понравились кому-то из начальства. Однако, ничего плохого не произошло: он продолжал спокойно служить в Институте философии, приобрел ореол страдальца за правду, знаменосца прогрессивной мысли. А тут какой-то Дубровский резко критикует Ильенкова, значит он против прогрессивной мысли, заодно с врагами Ильенкова и его надо «завалить».

Действительно, будучи одаренным человеком, Э.В. Ильенков выделялся на фоне серой массы и являлся противником крайних ортодоксов. Но для меня он, в свою очередь, оставался ортодоксом, замкнутым в марксистско-гегельянскую ментальность, яростно отменявшим всё, что нельзя втиснуть в эти рамки, всё в западной и восточной философии, что являло собой «чуждые» идеи и мировоззренческие мотивы (аналитической философии, методологии науки, экзистенциализма и других плодотворных направлений западной антропологической мысли).

Он знал только Маркса, Гегеля и еще, пожалуй, Спинозу. Остального не существовало, в том числе и влияние на философию новейших достижений науки (в кибернетике, генетике, космологии и др.). К этому надо добавить невероятную амбициозность. Сколько высокомерия, язвительности, презрения в его словах по адресу инкомыслящих! Натужное вхождение в роль пророка, только его устами глаголет истина. Нет Бога, кроме Маркса, и Ильенков про-рог его.

248

Не думаю, что он участвовал в кознях своих сторонников-ростовчан, но, конечно, и не жаждал моей успешной защиты. Геннадий Гургенидзе пользовался большим влиянием среди ряда философов, близких к Ильенкову, да и с ним самим у него были хорошие отношения. И он проводил настойчивую «разъяснительную работу». Во всяком случае, один из моих противников на второй защите уж точно проголосовал за меня.

Вторая защита состоялась 18 февраля 1969 года. Она, как и первая, собрала много народа, длилась около шести часов, но отличалась весьма резким тоном дискуссии. Если на первой защите я соблюдал ритуалы академической вежливости, то теперь говорил без всякой дипломатии. На обеих защитах главным «забойщиком», самым страстным противником был профессор Минасян Артавазд Михайлович. Он яростно клеймил меня как позитивиста и отступника от марксизма. Я отвечал ему прямо: «Внимательно прослушав ваше выступление, я прихожу к выводу, что вы совершенно некомпетентны в вопросах моей диссертации. Те положения, которые вы критикуете сочинены вами. Так что вы критикуете не меня, а себя. Из-за вашей некомпетентности вам остается одно: навешивание ярлыка отступника от марксизма. Это вы умеете, натренировались. Но методы ваши примитивны, всё шито белыми нитками. Кто вам поверит? Я берусь более убедительно показать, что в вашей книге по диалектической логике такие «отступления от марксизма» на каждой странице. Вот ваша книга, я специально ее приготовил. Если позволит председатель... (председатель меня, конечно, перебивает). Так что, Артавазд Михайлович, мне ответить вам нечего. А время для ваших приемов прошло».

В аудитории было много молодежи (студенты, аспиранты), мои сторонники бурно аплодировали, противники негодовали – выкрикивали с места и даже топтали ногами. Председатель пытался унять страсти. Из-за моих откровенных ответов критикам я наверно лишился одного-двух голосов «за». Надо сказать, что ученый совет, представлял собой «сборную солянку»: из двадцати четырех его членов только восемь были философы (а из них четверо лишь кандидаты наук, а не доктора), остальные – историки партии и юристы. Он назывался «Объединенный Совет по присуждению ученых степеней по общественным наукам» и принимал к защите диссертации по трем указанным специальностям. Поэтому многое в решениях ряда его членов определялось не столько пониманием сути

249

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

научного вопроса, сколько различными факторами иного рода; да и кандидатам наук не так уж радостно голосовать за присуждение кому-то докторской степени.

Но на этот раз всё завершилось благополучно. Опять банкет на пятьдесят персон в ресторане «Ростов» (святая обязанность диссертанта!). Я изрядно выпил, расслабился и почувствовал, что вот теперь дело сделано. Однако, ошибся!

Мои недруги достали меня в ВАКе. Пользуясь связями, они добились, чтобы диссертацию послали на рецензию моему ярому противнику. Тот помуржижил ее пару месяцев и дал разгромный отзыв на двадцати двух страницах. Потом диссертацию послали другому рецензенту, который дал положительный отзыв на пяти страницах. В результате, меня вызвали на защиту в экспертную комиссию ВАКа. Помню небольшой полутемный и душный предбанник, в котором вместе со мной томился человек десять страдальцев. Все напряженно ждут своей очереди. Вдруг, освещая предбанник, открывается дверь, выходит растерзанного вида высокий мужчина: «Провалили!». Минут через двадцать – другой: «На дополнительный отзыв!». Я присидел там часа три. И вот тут мой боевой дух совершенно испарился, я почувствовал себя маленьким и жалким, сердце заглодело тяжелым комом, зудит одна мысль: «Неужели, сволочи, провалят? После всего».

Дело мое, однако, уже решили. Войдя, я сразу почувствовал доброжелательное отношение членов комиссии. Мне не дали долго говорить. Несколько вопросов. Всё ясно. Обождите немного. Через минуту вызывают: «Поздравляем с присуждением ученой степени доктору философских наук». Так закончилась, наконец, эпопея с диссертацией.

Геннадий, конечно, приложил руку к этому делу. Он с нетерпением ждал меня в редакции «Вопросов философии». Мы поехали к нему домой, где нас уже ожидал накрытый стол. А на столе сияла бутылка золотистого вина. Геннадий налил бокалы, произнес непривычно длинный тост, и – о, чудо! – впервые за столько лет нашего, знакомства сделал пару глотков.

Это был настоящий друг – верный, надежный, бескорыстный. Он помогал многим начинающим философам. Когда мы говорим о чем-либо вкладе в науку, то часто забываем, какую огромную роль играют в этом люди, наделенные особым даром: способностью интуитивно определить ценность выдвигаемой идеи, акту-

альность новой постановки вопроса, оригинальность разработки темы, и всё это в сочетании с умением поддержать автора, помочь ему пробить стену косности и равнодушия, довести его труд до публикации в авторитетном издании.

Чтобы ни говорили о советской философии, но в 60-70 годах она имела определенные достижения. Разумеется, это относилось к тем разделам философского знания, которые были наименее идеологизированы: к логике и теории познания, методологии науки, философским проблемам естествознания, теоретическим и методологическим вопросам психологии. Именно этой тематикой занимался отдел журнала «Вопросы философии», которым руководил Гургенидзе. Он сыграл, по моему глубокому убеждению, исключительно важную роль в развитии названных направлений философских исследований.

За более чем тридцатилетний период работы в журнале его благотворное влияние испытали многие ведущие специалисты в этих областях знания, в особенности психологи и естествоиспытатели, часто выступавшие на страницах журнала по философско-методологическим проблемам. Эрудиция, творческий ум, чрезвычайная добросовестность Гургенидзе помогли авторам добиваться более основательного анализа поставленного вопроса, значительно улучшить качество публикуемого материала. В ряде сложных случаев, которые требовали длительной работы с автором, многократных дискуссий с ним, Гургенидзе проявлял необыкновенное терпение, исключительную доброжелательность, щедро делился своими мыслями, опытом и даже имевшимися в его распоряжении материалами, так что вполне мог бы претендовать на роль соавтора.

Благодаря его настойчивости и труду именно в журнале «Вопросы философии» стали обсуждаться теоретические и методологические проблемы кибернетики, генетики, новейших направлений психологии, над которыми долго нависала тень идеологической неблагонадежности. Геннадий Гургенидзе добился публикации программных статей выдающегося физиолога Николая Александровича Бернштейна, которого после злополучной павловской сессии Академии наук 1950 года изгнали из МГУ. Другие ученые каялись в своих антипавловских грехах и получили работу (академик Анохин, например, напечатал в «Журнале высшей нервной деятельности» статью «О принципиальной сущности моих ошибок»).

Николай Александрович заявил, что не торгует своими научными убеждениями, и долгие годы зарабатывал на жизнь переводами. Он был создателем нового направления в науке – физиологии движений, одним из основоположников концепции обратной связи и самоорганизации, а тем самым идей кибернетики. Гургенидзе стал для Бернштейна близким человеком, постоянно общался с ним вплоть до кончины последнего, написал для «Философской энциклопедии» статью о Н. А. Бернштейне и его новаторских теоретических взглядах. Сколько труда, мужества, душевных сил, времени стоило Геннадию Гургенидзе публикация статей Бернштейна по физиологии и биологии активности! Но вскоре после их появления в журнале они получили в мировой литературе высокий индекс цитирования как новейшее достижение советской науки.

Другой значительной публикацией, увидевшей свет только благодаря авторитету и исключительной настойчивости Гургенидзе, была статья выдающегося генетика, борца против лысенковщины Владимира Павловича Эфроимсона, которому после выхода в «Новом мире» (1971, № 10) его знаменитой статьи «Родословная альтруизма», после неоднократных вставок в мировой литературе высокий индекс цитирования как новейшее достижение советской науки.

Геннадий Гургенидзе долгие годы был единственным из сотрудников редакции, кто мог решительно выступить против ортодоксального мнения академика, не согласиться с позицией главного редактора, проявить удивительную по тем временам принципиальность, последовательность в обосновании своей точки зрения и, в конце концов, добиться опубликования статьи. В то время, когда табель о рангах неукоснительно действовал, это представляло собой уникальное явление. Тем более, что Гургенидзе не был ни кандидатом, ни доктором наук (хотя легко мог стать и тем и другим). Но для него степени и звания не имели существенного значения, главное – человек, его профессиональный уровень, талант. Когда в редакцию поступала интересная, хорошо написанная статья неизвестного автора, он искренне радовался и делал всё, чтобы эта статья увидела свет. Геннадий Гургенидзе дал, как и мне, путевку в философскую жизнь десяткам авторов из провинциальных городов.

252

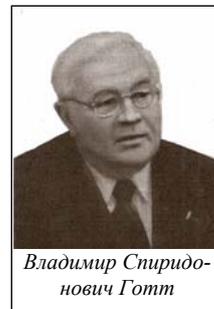
Когда я жил и работал в Москве, мы с Геннадием тесно сотрудничали, постоянно общались. Последние годы жизни он болел, превозмогая сердечную боль, ездил в редакцию. Он умер от инфаркта летом 1983 года в возрасте шестидесяти семи лет. Меня не было в Москве. Я увидел только его могилу, на которой еще не до конца увяли груды цветов.

Я часто вспоминаю наши душевные беседы и споры, как он всегда волочил большой портфель, набитый рукописями, его шутивное «генашале», когда он обращался ко мне в хорошем расположении духа, его теплую, светлую, как у ребенка, улыбку, и самое основное – непреклонную, непоколебимую порядочность всегда и во всем, ту душевную силу, которой он так щедро делился со мной и друзьями. Светлая память тебе, дорогой Геннадий! Какая удача, какое счастье, что у меня был такой друг!

## 2. Владимир Спиридонович Готт

С ним связаны почти двадцать лет моей жизни в Москве. Из них шестнадцать лет я проработал с ним бок о бок, под его руководством в журнале «Философские науки». Лучшего начальника я не встречал всю свою жизнь. Однако, прежде надо рассказать, как я переместился из столицы Донбасса в столицу СССР.

Только стал я доктором философских наук, первым и единственным в Донецке, и над моей головой начали сгущаться тучи. Я сразу понял, откуда ветер дует. Трофиму Ивановичу моя докторская степень – бельмо в глазу. Возраст у него преклонный, а тут рядом молодой доктор. Хоть и еврей, а того и гляди, вдруг предложат уступить ему кафедру. И Трофим (так мы называли его между собой) приступил к военным действиям. Почву он готовил давно. Время от времени доходили слухи, что он «капает» на меня в обкоме, в парткоме, ректорате. Формировал мнение начальства. В этом деле он был гроссмейстером. За многие годы совместной работы я его довольно хорошо изучил. Сколько палок в колеса по-



Владимир Спиридонович Готт

253

наставлял он во время работы над докторской диссертацией и особенно при подготовке к защите! Медоточивые речи и похвалы в мой адрес, отеческая заботливость, лучистый, до нежности, взор означали: жди пакости.

Трофим объявил, что в обкоме сейчас придают большое значение идейному уровню лекций по философии, и этот вопрос ему поручили обсудить на заседании кафедры. Для вида он посетил лекцию одного нашего преподавателя, а потом пожаловал ко мне. Через несколько дней – заседание кафедры, в повестке дня один вопрос: о повышении идейного уровня лекций по марксистско-ленинской философии. На заседание пришел сам ректор института Кондратенко, недавно назначенный на эту должность (когда он еще пребывал простым заведующим кафедрой микробиологии, его любимым коньком служила тема воспитания высокой идейности советского медика; на всех собраниях он, театрально жестикулируя, с пафосом говорил об этом). Да, Трофим подготовился к бою, подтянул артиллерию.

Долго и нудно, как всегда, он говорил общие фразы, что нужно повышать, усиливать, укреплять... Когда же дойдет до главного? И вот, наконец, несколько замечаний о недостатках в лекциях отдельных преподавателей, а потом о моей персоне: не уделяет должного внимания произведениям классиков марксизма, уходит в сторону от социально-политических вопросов, а причина в том, что устранился от чтения курса исторического материализма, в чем, конечно, есть доля вины кафедры и лично заведующего. Этот серьезный недостаток надо исправить.

Действительно, последние десять лет я читал только курс диалектического материализма. Это давало возможность держаться в стороне от идеологической трескотни, связывать изложение философских вопросов с развитием науки, с медицинской теорией и практикой. Я на дух не переносил исторический материализм, этот курс вели другие преподаватели. Трофим нацелился в самое чувствительное место.

Кондратенко поддержал его: нельзя разрывать единое марксистско-ленинское учение, каждый преподаватель марксистско-ленинской философии обязан читать лекции как по диалектическому, так и по историческому материализму. Я отвечал, что развитие философии требует специализации, что в крупных университетах существуют отдельные кафедры диалектического и кафедры

исторического материализма. Но эти аргументы никого не интересовали. Кафедра постановила: обязать доцента Дубровского приступить к чтению лекций по историческому материализму в текущем семестре, т. е., буквально на следующую неделю. Трофим здорово придумал, ничего не скажешь. Для меня это была вещь совершенно невозможная. Я решительно отказался.

Ситуация становилась мрачной, чреватой партийными выводами. Меня обвинили в зазнайстве: думает, если доктор философских наук, то ему всё позволено. Нет, брат, теперь ты у нас попляшешь.

Я понял: здесь спокойно жить не дадут. Мне не светит получить звание профессора (ставший доктором наук почти автоматически получал это звание примерно через год). А светит «схлопотать строгача» (получить строгий выговор) и надолго оказаться в униженном положении грешника, отмаливающего свои грехи. Я твердо решил уехать из Донецка в Москву.

Один из моих оппонентов по докторской диссертации, профессор Спиркин, с которым мы подружились, должен был вскоре стать директором нового Института психологии Академии наук СССР (его организация завершалась). В крайнем случае, говорил он, ему обеспечена должность заместителя директора. Он обещал сразу взять меня старшим научным сотрудником – заниматься разработкой психофизиологической проблемы. О лучшем невозможно было и мечтать.

Я подал заявление Кондратенко об увольнении с работы по собственному желанию. Это ставило его и Трофима в сложное положение. Чтобы первый в Донецке доктор философских наук уехал из города? Как на это посмотрит высокое начальство? Может сказать: не создали условий доктору наук. А может, наоборот, скажет: с чего этот еврей нос задирает.

Меня вызвали в обком, «на ковер», как тогда говорили. Завотделом к счастью, был в отпуске. Проработкой занялся его заместитель – пожилой, невзрачного вида функционер. Сразу видно, этот сам решений не принимает, ждет указаний. Он увещевал меня: неплохо получается, вырастили первого доктора философских наук, а он уезжает. Со временем и профессора получите, и даже кафедру вам подберем.

Я стоял на своем, говорил вежливо, что меня приглашают на работу по теме моей диссертации в Институт психологии. Хочу заниматься только научной работой, тут я принесу больше пользы.

А заведование кафедрой меня несколько не привлекает (и это была истинная правда!).

Партийное начальство всё больше серчал и перешло к угрозам. Вы – номенклатура обкома, и мы сами решим, где от вас будет больше пользы. Вынесем строгий выговор. Исключим из партии, грузчиком будете работать. Я сказал: воля ваша. С тем мы и расстались.

Наступила предгрозовая тишина. Что решит партийное начальство? К тому времени Белокопос давно ушел из обкома в Министерство иностранных дел, работал послом где-то в Африке. На его месте сидел совершенно неизвестный субъект, который тоже был в отпуске (бархатный сезон!). Трофим отчески журил меня, зачем, мол, ехать в Москву, он готов уступить мне кафедру, пожалуйста. Говорил он так мягко, доверительно. Сколько раз в прошлом я попадался на крючок этого иудушки! Но я почувствовал, что Трофиму невыгодно, чтобы мне закрепили кафедру, шум ему ни к чему, он хочет только одного: чтобы я поскорее убрался и по своей воле (человек, мол, способный, хочет наукой заниматься, как его удержишь!).

Трофим искусно обрабатывал партийное начальство. Оно размышляло. Кто знает, какие там у него связи в Москве? Регулярно печатают в «Вопросах философии». Какую дискуссии заварил! После провала защиты выгнали все-таки, и теперь зовут в Москву. Значит, кто-то сильный стоит за спиной. А кто у нас «сильный»? Кто-то из ЦК, наверное. Закатать строгача, значит оставить в институте. Будет писать, жаловаться. Хлопот не оберешься. И решили: а пусть катится к такой матери! Дали команду Кондратенко.

Ровно через две недели после подачи заявления (как положено по трудовому кодексу) меня уволили на все четыре стороны.

А на третий день пополудни я был уже в Москве. Здравствуй столица! Где прикажешь ночевать? У Геннадия, я знал, гостили родственники, поэтому решил ему не звонить. У меня был запасной вариант – мой донецкий приятель Грицай, который уже около года обитал в Москве. Он окончил филологический факультет, работал в газете «Комсомолец Донбасс», его уволили оттуда якобы за анакомыслие, после чего он стал литсотрудником нашей институтской многотиражки. Грицай – знаток всех литературных новостей, горячий поклонник Твардовского, Синявского и Даниэля.

Это был милейший человек, sentimentalный, с оттенком слащавости во взоре, каждый его собеседник чувствовал, что его нежно любят.

И вот дней за десять до моего отъезда, когда начальство еще не решило мою судьбу, в Донецке появился Грицай. Он обрадовался, что я хочу переехать в столицу и от всей души предложил пожить первое время у него, дал свой адрес (он снимает две комнаты в хорошем доме, места много, он будет рад, очень рад, правда, надо ехать электричкой, а потом еще немного автобусом, но это недалеко...).

Я сдал чемодан в камеру хранения и решил поехать к Грицаю, чтобы решить вопрос с ночлегом и проживанием в первые дни. Благо, электричка отправлялась с Курского вокзала, на который я прибыл. Забыл уже название станции, ехал туда около двух часов. Потом очень долго ждал автобус. Трясая на нем более получаса. Какое-то селение. Что-то среднее между колхозным селом и рабочим поселком. Пришлось поискать местожительство моего добрейшего приятеля – адрес указан неточно. Наконец, нашел. Старый, чуть покосившийся дом с палисадником. На террасе с выбитыми местами стеклами сидит хмурый, бородатый мужик в затасканной ватной телогрейке. Я спросил Грицаю. «Какого тебе Грицай...? А, который с усиками? Да он месяца два, как не живёт». Такой сюрприз устроила мне сразу столица. Однако, каков Грицай! Ну и черт с ним, переночую на вокзале. Не в первый раз... Вернулся я в Москву уже вечером. Еще не поздно, можно позвонить моему редактору.

В то время в издательстве «Наука», наконец, пошла в работу моя книга «Психические явления и мозг» (в основном текст докторской диссертации). Она была рекомендована к печати Научным советом по кибернетике при Президиуме Академии наук СССР, председателем которого был академик Аксель Иванович Берг – легендарная личность: командир одной из первых российских подводных лодок, храбрый морской офицер, адмирал, крупнейший ученый в области военно-морской техники, прикладной математики, ряда других отраслей науки, заместитель Министра обороны, Вице-президент Академии наук СССР. Он был главной фигурой в деле «реабилитации» и развития у нас кибернетики, которую воинствующие ортодоксы объявили «буржуазной наукой». Возглавляемый им Научный совет по кибернетике уделял первостепенное

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

внимание разработке теоретико-философских и методологических вопросов этого нового и чрезвычайно плодотворного направления науки, ознаменовавшего начало эпохи постиндустриального, информационного общества.

Ближайшими помощниками А.И. Берга по совету были философы Б.В. Бирюков (согласившийся стать одним из официальных оппонентов по моей докторской диссертации, оказавший мне неоценимую поддержку) и Е.С. Геллер, который вел организационную и издательскую деятельность совета (благодаря его отзывчивости и вниманию рукопись моей книги была принята на рассмотрение Совета). Они энергично и бескорыстно содействовали продвижению моей рукописи, исходя из идейных убеждений. Поддержка А.И. Берга имела решающее значение. Ему я обязан многим. Благодаря его письму в Моссовет, мне позволили обмен донецкой квартиры и дали разрешение на московскую прописку. Получить такую прописку тогда было делом чудовищно трудным, да еще человеку, не устроившемуся пока на работу. И в этом мне помог не только Аксель Иванович Берг.

Здесь я должен сделать еще одно отступление, обязан хотя бы коротко рассказать о Светлане и Юре Пашинских, с которыми меня свела защита диссертации в Ростове-на-Дону. Светлана – коренная ростовчанка, высокая полноватая женщина, почти на голову выше меня, защитила недавно кандидатскую диссертацию по философским вопросам медицины, знала чуть ли не наизусть мои основные публикации, страстно поддерживала меня на первой и на второй защите. Редко я встречал у женщин столь большой интерес к моим научным проблемам и такую твердую веру в мое призвание. Она взяла мой донецкий адрес, писала письма. В одном из них сообщила, что переехала с мужем в Москву, что они получили квартиру, если буду в Москве, очень просят зайти в гости.

Как-то, после первых трех недель московской жизни, я вспомнил об этом приглашении и приехал к ним. Света обрадовалась, как дитя. Ее муж Юра, высокий, стройный красавец-бронет, сразу принял меня за своего. Это был человек практического склада, натура полная энергии, внутренней решительности, с неким оттенком романтизма, напоминавшая моих друзей по туристским походам в горах. Он извлек из холодильника бутылку водки, мы ужидали, курили и незаметно перешли с ним на «ты» (а Света еще долго говорила мне «вы»). На душе у меня было так легко и радо-

стно, что я надолго запомнил тот вечер.

Через неделю, наверное, я снова пошел вечером к ним в гости. Помню, бушевала метель, порывы ветра обжигали лицо, заставляли пригибаться, чтобы преодолевать его напор. Замерз, пока дошел от трамвайной остановки до подъезда. Еще в прихожей Света сказала, что Юра болен, сильная ангина, температура 39. «Заходи, заходи!» – громко произнес из комнаты Юра. – Я не заразный». Посидев немного для приличия, я хотел было уйти, но меня не пустили, расспрашивали во всех подробностях о моих делах. Я рассказал, что академик Берг направил в Моссовет письмо. Света возбужденно сказала: «Это замечательно! Юра, надо позвонить Коле, он может помочь». «Обязательно!» – ответил Юра.

Меня заставили поужинать. Выждав некоторое время, я твердо собрался уходить: человек болен, ему надо отдыхать. И тут Юра поднялся с кровати, сел и сказал: «Пойдем вместе. Коле надо позвонить безотлагательно, пока бумага от Берга не пошла по инстанциям». Я бурно возражал. Света молчала, знала, если Юра что-то решил, ему лучше не перечить. У них еще не было телефона, дом новый, не подведен кабель. Чтобы позвонить, надо идти до ближайшего телефонного автомата метров триста.

И вот, больной Юра идет со мной в такую погоду звонить своему другу Коле – крупному чиновнику Моссовета. Автомат не работает, глотает душки. Юра идет еще метров пятьдесят к другому. С десятой попытки, наконец, дозванивается. Коля дома. Юра ему объясняет задачу, связывает с ним меня. Я хочу проводить Юру домой, но он прощается, поворачивает меня лицом к трамвайной остановке, она рядом.

В результате, Коля помог. Не знаю, была ли эта помощь решающей, но она наверняка сильно ускорила ход дела. Через две недели я получил выписку из постановления Моссовета, в которой давалось разрешение на обмен и прописку.

Света и Юра были искренними, добрыми, бескорыстными друзьями. А образ Юры у меня всегда ассоциировался с человеком, который надежен до конца, с которым можно смело идти в разведку. Он говорил, что состоит на дипломатической службе, специализируется по Африке. Вскоре они надолго уехали из страны. Света писала письма, присылала диковинные открытки с африканскими видами, никогда не забывала поздравить с днем рождения. Я посылал ей книги по философии. Во время коротких приездов

мы обязательно виделись.

Мать Светы жила в Москве, от нее пришло страшное известие. Юра и Света погибли. Это произошло летом 1977 года. Они возвращались ночью на машине после приема у английского посла в Камеруне, и прямо в лоб их ударил на большой скорости грузовик. В действительности Юра являлся подполковником КГБ, служил во внешней разведке. Это было преднамеренное убийство, связанное с его служебной деятельностью. Так завершилась короткая жизнь моих дорогих друзей – Светланы и Юры Пашинских. Им было по 37 лет.

Теперь надо вернуться к долгой истории издания моей первой книги. Ее рукопись была рекомендована к публикации советом по кибернетике еще в начале 1968 года и официально передана в издательство «Наука». Но там играли в свои игры. Рукопись лежала на полке более двух лет. Никакого движения. На мои письменные запросы, звонки и во время личных визитов я получал стандартные, ни к чему не обязывающие ответы (портфель редакции перегружен, постараемся включить в план изданий следующего года и т.п.).

Так продолжалось до тех пор, пока в философскую редакцию не пришел новый сотрудник – Я.А. Мильнер-Иринин. По должности – рядовой редактор, однако, человек, пользовавшийся огромным авторитетом из-за своей биографии и личных качеств (о чем я расскажу чуть позже). Он пересмотрел годами томившиеся на полках рукописи, мою, как потом рассказывал, начал читать и увлекся. Она ему очень понравилась, и он стал горячо ее отстаивать перед заведующим редакцией Кондаковым, человеком крайне осторожным, боязливым («как бы чего не вышло?»). В книге, действительно, было немало такого, что могло понравиться прогрессивному мыслящему человеку и такого, что пугало чиновников типа Кондакова (резкая критика противников кибернетики и особенно ортодоксальных представителей павловского учения, забравших всю власть в физиологической епархии, сильно поднаторевших в навешивании инакомыслящим всевозможных идеологических ярлыков, «воинствующих стражей догматизма», как я их именовал). Мильнер-Иринин добился включения книги в план издания на 1971 год. Я уже не очень-то надеялся, что книга выйдет. Но незадолго до отъезда из Донецка, как раз в разгар описанных выше баталлий, я получил от него письмо, в котором он сообщал, что на-

значен редактором моей рукописи и просил приехать для совместной работы и снятия вопросов.

Итак, после столь занимательного поиска Грицая, я вернулся на Курский вокзал, посмотрел зал ожидания, в котором собрался переночевать. Там висел телефонный автомат, и я позвонил Мильнеру-Иринину. Он жестким тоном сказал: «Если можете, приезжайте прямо сейчас. Будем работать!». Жил он в Чертанове – тогда это был район новостроек, – в трехкомнатной квартире с женой и дочерью.

Яков Абрамович Мильнер-Иринин самодично открыл мне дверь, строго поглядел поверх очков. Длинная, свисающая чуть ли не до плеч седая шевелюра, резкий отрывистый голос, никаких сантиментов, пауз для знакомства. «Надя, ужин готов?». «Готов» – ответили из кухни. «Мойте руки, вот полотенце». И, не обращая внимания на мой лепет «спасибо, не голоден» и т.п., усадил меня за стол. В противоположность Якову Абрамовичу жена его, типично русская женщина, лет пятидесяти, с голубыми глазами, добрейшей улыбкой, пыталась расспросить меня о жизни в Донецке, о моих личных делах. Яков Абрамович перебивал ее и поворачивал разговор на деловую тему: об издании книги, ее достоинствах и недостатках. Сразу после ужина мы перешли в его кабинет и приступили к работе. Медленно, занудно, как мне казалось, он продвигался по каждой странице, мог страстно спорить по поводу пятой, нередко предлагал стилистические правки, которые я в большинстве случаев отвергал. Мы сидели допоздна, и он приказным тоном оставил меня ночевать. Я сполна испытал его внутренний напор, жесткость, бескомпромиссность в принципиальных вопросах. Его дочь-биолог находилась в командировке и мне выделили ее комнату. Так, я неожиданно обрел ночлег.

Первые дни в Москве запомнились напряженной работой с Мильнером-Ирининым и чаепитиями с участием его милейшей супруги. Узнав, что я еще не устроен, он еще трижды оставлял меня ночевать и помог через знакомых снять комнату в центре.

Яков Абрамович был высококвалифицированным специалистом в области философии. Еще до войны он стал кандидатом философских наук и выпустил монографию о Спинозе, преподавал в институте. Крайне удивительно, как это ему, с его характером и родом деятельности, удалось выжить в сталинской мясорубке тридцатых годов. Его исключали из партии, он сидел, был выпущен, восстановлен в партии, снова исключен, несколько лет был

без работы. В хрущевские времена его реабилитировали, дали работу, затем снова изгнали и опять года три он не имел работы. Его близко знали самые высокопоставленные идеологические бонзы – академики Юдин, Митин, Федосеев, Константинов. С одними из них он в молодости вместе учился, другие в разные периоды использовали его невероятную работоспособность. За полгода до нашей встречи начальство снова смилостивилось и его приняли на должность рядового редактора в философскую редакцию издательства «Наука».

Как философ, Мильнер-Иринин занимался проблемами этики. Он, вопреки всему, фанатически верил в коммунизм – светлое будущее, в котором все люди обретут подлинно человеческий облик и высокий смысл жизни, станут честными, справедливыми, благородными. Больше десятилетия он писал свой фундаментальный труд «Этика или принципы истинной человечности» (35 печатных листов). В нем глубоко раскрывались общечеловеческие нормы нравственности, и центральное место занимал принцип совести. Разделы книги так и назывались: «Принцип совести», «Принцип свободы», «Принцип самосовершенствования», «Принцип благородства», «Принцип благодарности». Эти «принципы истинной человечности» с непреклонным убеждением, страстно, афористично, часто в форме императива выражены автором. «Совесть – это свет разуму». «Повинуясь велениям совести, ты повинешься самому себе, своей осознанной сокровеннейшей и возвышенной сущности человека». «Совесть – это самоконтроль разуму...» (стр. 32–33). «Высокое достоинство человека – да будет для тебя священо». «Человек без чести... есть человек без совести, ибо честь есть не что иное, как внешнее выражение того внутреннего чувства, которое называется совестью» (стр. 48–49). «Пройдут годы... И принцип совести, как безусловного субъективного (идеального) начала нравственного существования делается безраздельно господствующим в человечестве» (стр. 49). «Пройдут годы... И принцип благородства как неотъемлемое свойство совести, ее безусловное повеление делается безраздельно господствующим в человечестве» (стр. 391).

Вот еще несколько цитат, дающих представление о Мильнере-Иринине и его книге. «Борись за добро, – всем существом своим, каждым биением своего сердца, каждым дыханием своим; всеми соками своих нервов борись за истину, борись за правду, борись за

красоту – как в великом, так и в малом, во всем и вся, во всем решительно. В этом одном – верховный смысл существования человека на земле, его наивысшее внутреннее удовлетворение, полная реализация его творческой сущности, его истинное счастье» (стр. 149–150).

Такой непреклонный идеализм и максимализм, безусловно, выржал определённый тип характера, воплощавшийся и в образе большевистского комиссара, беззаветного революционера или известных нам из истории борцов за научную истину, за правду и справедливость, разного рода великомучеников, готовых во имя идеи вынести любые пытки и принять смерть. Чтобы там ни говорили и как бы ни умничали по этому поводу, для меня такие характеры служат несомненным доказательством реальности высших ценностей, победы высшего духовного начала над телесным удовольствием и страданием, выгодой, хитростью, будничным благополучием, скукой бытия. И я всегда тайно или явно завидовал таким характерам (см. небольшое эссе «Величие Эпихариды» – о женщине, жившей во времена Нерона, – в моей книге «Обман. Философско-психологический анализ». М., 1994).

Не забудьте, то, что я процитировал было написано Мильнером-Ирининым в пятидесятых годах. Но у него есть и такие места: «Всякое посягательство, на свободу мысли есть непосредственное посягательство на внутреннюю, духовную, или нравственную, свободу человека. Подавление свободы мысли есть не что иное, как методическое и систематическое разрушение человеческой природы» (стр. 375). А вот насчет того, как не надо строить коммунизм: «Никто не может поручиться за то, что несомненный вред, наносимый человечеству и его моральному сознанию недозволенными средствами борьбы, будет хотя когда-нибудь возмещен осуществлением какой бы то ни было высокой цели, тем более сомнительной цели, сомнительной потому, что не могут низкие средства привести к осуществлению истинно высокой цели. Вред же, наносимый человечеству этими средствами, абсолютно несомненен, и не только для настоящего, современного человечества, принудительно препятствуя ему в его свободной реализации своей человеческой природы, но и для будущего, которое не может не зависеть от настоящего» (стр. 390).

Естественно, что рукопись этой книги вызвала резкий отпор,

автора обвиняли в игнорировании классового подхода, в «абстрактном гуманизме», который чужд марксизму и «летит воду на мельницу буржуазной идеологии» и т.п. Но Яков Абрамович не останавливался ни перед какими угрозами и репрессиями, он бил, бил головой в эту каменную стену. И случилось настоящее чудо. На излете хрущевской оттепели, не знаю уж каким способом, но ему удалось опубликовать свой труд тиражом 60 экземпляров по специальному постановлению Секретариата ЦК КПСС. Все 60 экземпляров были пронумерованы и разосланы высшим партийным чиновникам. Автор получил два экземпляра. Потом он добыл еще несколько, и у меня в качестве реликвий хранится один из них – бесценный подарок автора (Я.А. Мильнер-Иринин. Этика или принципы истинной человечности. (На правах рукописи). М., «Наука», 1963. Приведенные цитаты взяты из этой уникальной книги с указанием страниц. Я специально уделил ей столько внимания, ибо удивительный факт издания этой книги и сам ее замечательный автор забыты. Как будто этого вовсе и не было!

Вот такой мне попался редактор! Работа с ним, как я уже отмечал, нередко носила изнурительный характер. Медленно, страница за страницей, споря до хрипоты, мы продвигались вперед. Полтора месяца я, как на работу, ездил к своему редактору домой и просиживал с ним по шесть-восемь часов. Но это была для меня великодушная школа русского языка, редакторской принципиальности и высочайшей добросовестности (в книге нет мелочей! – повторял мой редактор). И я должен прямо сказать: лишь благодаря самоотверженности Якова Абрамовича моя первая книга увидела свет. Уже на стадии верстки из книги хотели снять главу, посвященную критике павловского учения. Но Яков Абрамович сражался как лев, и дело ограничилось несколькими купюрами.

И тут надо вспомнить о понятии совести. С нею у меня в отношении Якова Абрамовича не всё в порядке. После выхода книги я редко бывал у него, всё реже и реже звонил ему. Он же не звонил мне ни разу. Трудный он был человек в общении. Но разве это может служить оправданием? До сих пор, вспоминая о нем, я испытываю угрызения совести.

Все полтора месяца кропотливого труда с моим редактором я занимался, конечно, и поиском работы. Еще в первые дни я поехал к Спиркину на станцию «Отдых». Там он постоянно жил на своей даче по соседству с дачей академика Константинова. Под его на-

чалством Спиркин создавал первую советскую «Философскую энциклопедию» (Константинов числился главным редактором, а он его замом).

Дело с Институтом психологии затягивалось. К тому же у Спиркина появился сильный конкурент – Ломов, который вначале претендовал лишь на должность заместителя директора. Ломов тоже ездил к Спиркину, однажды мы даже вместе с ним возвращались в Москву, прижатые друг к другу в переполненной электричке. Ломов, однако, имел перед Спиркиным два решающих преимущества: служил заведующим отделом Министерства образования и у него был дружок-собутыльник – заведующий сектором ЦК КПСС, в ведение которого входила психология (т.е., прежде всего, кадровые вопросы в учреждениях, связанных с этой наукой). Скоро я понял, что Саше Спиркину с его высокой дозой простудуши не светит быть не только директором, но и заместителем директора. Надо искать другую работу! Прогноз подтвердился: директором стал Ломов, а в заместители он взял Шорохову – сурового вида пятидесятилетнюю даму из Института философии, известную своей идеологической бдительностью. При таком начальстве меня не подпустили бы к Институту психологии и на пушечный выстрел.

Постепенно, по мере роста числа неудачных попыток, я умерял свои претензии и готов был пойти в любой вуз даже на должность доцента. В двух-трех институтах «обешали», но всё откладывали («через месяц», «через полтора» – знакомые песни). Геннадий Гургенидзе пытался помочь, но ему это не удавалось. Перед отъездом в Москву я занял у армянского приятеля 1000 рублей (большие деньги по тем временам) в надежде отдать из гонорара за книгу. Прошло три месяца, средства иссякли. Правда, удалось поменять квартиру и прописаться. Я рыскал по Москве в поисках работы, подумывая уже о том, чтобы подзаработывать грузчиком. Впрочем, я не падал духом, не терял веры в себя.

В это время в Киеве издавался сборник по философским вопросам медицины, в котором была и моя статья. Организатором и главным редактором сборника являлся мой давний знакомый и доброжелатель Сократ Семенович Гурвич. Он заведовал кафедрой философии в Киевском пединституте и являлся одним из первых в нашей стране энтузиастов философского осмысления проблем медицины.

Почти двухметрового роста, тучный и совершенно лысый, в

пенсе, с маленькими губами на широком круглом лице и тонким мягким голосом, несоразмерным с его мощной статью, Сократ Семенович удивлял своей бескорыстной доброжелательностью и отзывчивостью. Он принимал живое участие в моих проблемах в Киеве еще при попытках организовать защиту кандидатской диссертации, помогал с публикациями. На самом деле его отчество было не Семёнович, а Соломонович. Произведённую замену он объяснял: «Как-то неудобно, чтобы сразу подряд два мудреца». Гурвич оставался одним из немногих евреев, кто еще до войны попал в номенклатурную обойму заведующих кафедрами общественных наук и удержался до сих пор. Со всеми умел он ладить, всем сочувствовал, старался помочь, к тому же имел лошадиную работоспособность, блестящие деловые качества. Это в какой-то мере компенсировало ему отсутствие божьей искры теоретика.

Знакомство и общение с Сократом Семеновичем Гурвичем стало существенным и в ряде отношений интригующим звеном моей биографии. Выше, описывая жизнь в Мелитополе, я рассказывал о Клавдии Филипповне Руденко – секретаре горкома комсомола. Наши пути снова пересеклись в Киевском университете, где Клава, защитив кандидатскую диссертацию, выступала уже в качестве доцента философского факультета и члена университетского парткома. У нее были все данные для высокого партийного полета. И вскоре она, действительно, взлетела на самую вершину – стала заведующим сектором ЦК Компартии Украины. Но ненадолго. Поработав в этой должности месяца два, она вернулась в университет к своим прежним обязанностям доцента. Факультет бурлил слухами и домыслами. Клава стойчески переносила свое униженное положение. Но мне со временем стала доподлинно известна суть дела.

Оказывается (кто бы мог поверить?!), Клава – карьеристка до мозга костей – сама оборвала свой высокий полет. Она, вопреки настояниям своих высочайших покровителей, взяла и вышла замуж. И за кого вы думаете? За Сократа Семеновича Гурвича! Занимать столь высокую должность в ЦК и быть женой еврея для 1951 года суть вещи вопиюще несовместные.

Какие кренделя закручивает жизнь! Во времена, когда Клава командовала мной по комсомольской линии, Сократ Семенович состоял заведующим кафедрой марксизма-ленинизма Мелитопольского педагогического института (тогда я его не знал и не слышал

о нем). С тех пор они фактически и были мужем и женой. Сократ вывел ее на кандидатский путь, они перебрались в Киев и жили вместе в просторной квартире на Крещатике. Настал момент, и Клава предъявила ультиматум. Надо делать мучительный выбор. И она его сделала в пользу Сократа. Спустя десятилетие, будучи уже преподавателем Донецкого медицинского института, я встретился с ней и Сократом Семеновичем у них дома. Она не утратила какой-то доли своей надменности, но относилась ко мне уважительно, даже подносила чай, несмотря на то, что в доме жила прислуга. С Гурвичем я сотрудничал долгие годы, он вникал во все подробности моих баталлий, искренне стремился помочь.

Я позвонил ему по поводу верстки моей статьи в упомянутом сборнике. Он расспрашивал, как продвигается устройство на работу. Я обрисовал ситуацию. И он сказал: «А позвоните Владимиру Спиридоновичу Готту! Он хороший человек и может помочь». Дал мне его телефоны, включая домашний, и добавил: «Я тоже позвоню ему насчет вас».

Готт был тогда главным редактором журнала «Философские науки» и заведовал кафедрой философии в Московском городском педагогическом институте (МГПИ), «Втором университете», как его называли, ибо в нем насчитывалось более 10000 студентов. Кафедра Готта состояла почти из пятидесяти человек и при ней исправно функционировали два ученых совета (один по защите кандидатских, другой по защите докторских диссертаций) – настоящий философский инкубатор.

Готт любезно принял меня в редакции журнала и сразу – это удивило! – предложил работу. Вначале, сказал он, поработайте месяц-полтора рядовым редактором, но скоро появится вакансия: заместитель главного редактора Оруджев уходит, на его место назначается профессор Коршунова, а вас возьмем на его должность члена редколлегии и заведующего отделом диалектического материализма, логики и философских вопросов естествознания. Это ставка профессора философского факультета МГУ, будете работать на факультете и в редакции. А пока я устрою вас по совместительству читать лекции в нашем институте, так как зарплата редактора невелика. Я с радостью согласился.

И на следующий день уже сидел за выделенным мне столом в огромной комнате старого особняка по улице Герцена, где тогда помещалась редакция «Философских наук». Из этой очень боль-

шой комнаты, в которой трудилось около десятка сотрудников, дверь вела в маленькую – кабинет главного редактора. Коллектив редакции дружный и жизнерадостный. Недаром говорят: каков поп, таков и приход. Владимир Спиридонович излучал энергию и доброжелательность. Он был выше среднего роста, ширококостный, полный, подвижный, седые до белизны короткие волосы, и на круглом румяном, без единой морщины, лице, черные, живые, пронизательные глаза. Он был на пороге своего шестидесятилетия.

В редакции царил демократический дух. По разным поводам (сдача очередного номера в печать и т.п.) Готт приносил бутылку коньяка, женщины накрывали длинный старинный стол, за которым обычно заседала редколлегия, кому-то поручали сбежать в магазин за дополнительной парой бутылок вина, и все, от уборщицы до главного редактора, свойски общались, шутили, обсуждали редакционные дела, слушали байки Готта – он был прекрасным рассказчиком.

Работа мне понравилась. Готт давал на рецензию статьи, просил подготовить к печати то одну, то другую. Мое самолюбие несколько не ущемляла моя должность простого редактора, которую занимали у нас и молодые женщины без ученой степени. Я сблизился и подружился с Анатолием Михайловичем Коршуновым. Он заведовал не только отделом журнала, но и кафедрой философии гуманитарных факультетов МГУ, а ко всему еще был настоящим профессионалом – «порожистом», т.е. мастером по прохождению порогов на байдарке (основные маршруты – притоки Печоры и Оби). Летом 1972 года он вовлек меня в это занятие. (Мы с ним вдвоем, вопреки всем правилам безопасности, прошли знаменитый у «порожистов» маршрут Подчерем – Щугор, обе реки – притоки Печоры).

По Подчерему мы тянули байдарку вверх более двухсот километров, тянули ее «корабликом», на длинном канате, привязанном к носу и корме, потом, собрав байдарку, перетащили ее и грузы через двадцатикилометровый перевал и вышли в верховье Щугора, и, наконец, по этой мощной, порожиистой реке прошли вниз до Печоры более четырехсот километров. Для меня этот поход оказался, пожалуй, самым трудным. Как пел Высоцкий, «там поймешь, кто такой!». Толя Коршунов показал себя надежным товарищем, «же-

лезным командором», как позже мы его прозвали.

Я работал редактором два месяца. Готт был мной явно доволен. Стало известно, что профессор Оруджев уже подал заявление об уходе, вот-вот его место освободится. Коршунов и я ждали перемены в своем положении.

Через несколько дней Готт пришел в редакцию мрачный, как туча. Он позвал меня в кабинет и удрученно сказал: «Я виноват перед вами. К сожалению, переоценил свои возможности. Был уверен, но ничего не вышло». Я, конечно, сильно расстроился, но не подавал вида и ответил ему, что ничуть не сомневался в том, что он искренне хотел взять меня и за это благодарен. Не вышло, так не вышло, что поделаешь, рано или поздно найду подходящую работу.

Этим и занимался последующие дни, ездил по институтам, в которых «обещали», но с теми же результатами. Я жил в *своей* комнате (двенадцать квадратных метров) по улице Болотниковской. Моими соседями по трехкомнатной квартире были старушка Филипповна, служившая всю жизнь на заводе уборщицей, заработавшая под конец жизни свой угол, и горький пьяница Вася, неудавшийся художник, мужик смиренный. Он ставил жарить потроха, часто засыпал, и из кухни неслась страшная вонь, два дня потом проветривали квартиру, запах обугленных потрохов долго преследовал меня.

Прошло две недели. Как-то, после очередного «объезда» перспективных институтов, я вернулся домой в середине дня, и Филипповна сказала, что звонил какой-то не то Год, не то Ход, просил меня ему позвонить. Я сделал это немедленно и услышал: «Мне удалось решить ваш вопрос. Если можете, приезжайте в редакцию». Я полетел туда, как на крыльях.

Готт был в замечательном расположении духа: «Завтра можете ехать в МГУ оформляться. Команду туда уже дали», и хитровато так с радостным задором посмотрел на меня. Должность моя вошла в номенклатуру ЦК КПСС, требовала многоступенчатого согласования. На нее были виды для своих людей у заместителя Министра высшего образования и крупного партийного чиновника из отдела науки ЦК. Они и сделали подножку Готту. Но он тряхнул старинной и перебил их карту козырным тузом – пошел на самый верх, к секретарю ЦК и члену Политбюро Пономареву, а тот не мог ему отказать, дал добро. Ну и понятно, все сразу стали по-

стойке «смирно!».

Тут пришло время рассказать, кто такой Готт и почему он так легко мог попасть к члену Политбюро, да и до самого Брежнева запросто мог бы добраться.

Родом он был из обрусевших немцев, которые осели в южных областях Украины при Екатерине. Мать его, правда, была украинка. Отец – старый большевик, еще до революции машинистом водил поезд, на Гражданской войне был награжден Орденом Красного знамени. Сын его получил высшее образование и стал работать в Харьковском институте физических проблем, которым руководил Ландау. Готт был его учеником и, не достигнув еще двадцати пяти лет, получил ученую степень кандидата физико-математических наук. Этот успех совпал, на беду, с арестом отца (начало 1938 года).

Готта, который уже несколько лет состоял членом партии и являлся секретарем комитета комсомола Института, вызвали в НКВД. Следователь приказал: «Пиши о враждебной деятельности своего отца». «Товарищ следователь, мой отец честный коммунист. Я убежден, это ошибка». «Ну, подумай!». и следователь вызвал охранника, а тот отвел Готта в камеру, вручив ему лист бумаги, ручку и чернильницу. Он провел в одиночной камере остаток дня и всю ночь. Наутро звякнул засов, вошел следователь. «Что? Ничего не написал? Ну, иди на работу. А в восемь вечера явиться ко мне». В назначенный час Готт опять в кабинете следователя. «Пиши, собака, о вражеской деятельности своего отца, хуже будет». «Товарищ следователь, но мой отец...». «Ну, подумай еще», и опять его заперли на ночь в камеру. Утром на работу. Вечером снова в НКВД, в камеру. И так подряд каждый день в течение месяца. Тридцать раз!

В последний вызов его привели к самому начальнику харьковского НКВД. «Смотри, а ты интересный мужик! Все пишешь, а ты не пишешь. Может, и правда – честный. Пойдешь к нам работать в НКВД». «Товарищ начальник, я же физик...». «А нам грамотные люди нужны. Чтоб завтра был на бюро обкома в три часа. На утверждение». Готт понял, если начнет отказываться, ему – крышка.

На следующий день он долго ждал в приемной своей очереди. Наконец, каким-то тридцать пятым вопросом за минуту решили его судьбу. «Есть предложение утвердить товарища Готта на рабо-

ту в НКВД». Коротко изложили его «объективку»: член партии с такого-то года, украинец, работает там-то, является секретарем комитета комсомола... И тут первый секретарь обкома говорит начальнику НКВД: «Э, нет, я тебе его не отдам. Какая у нас картина? Первого секретаря Ленинского райкома комсомола ты посадил, первого секретаря горкома комсомола посадил. А это ж готовый комсомольский работник. Есть предложение утвердить товарища Готта первым секретарем Ленинского райкома комсомола». «Кто за?». «Кто против?». «Единоголосно». (Эту историю Владимир Спиридонович рассказывал мне лично, но гораздо более красочно и с большим числом подробностей).

Так Готт вынужденно переквалифицировался из физика в комсомольского работника. Через месяц он стал первым секретарем Харьковского горкома комсомола, еще месяца через четыре – третьим секретарем Харьковского горкома партии, и пошло... Старых партработников сажали пачками, вакансий полно. В начале сорок первого года Готт был уже одним из секретарей Харьковского обкома партии, а в самом начале войны стал заведующим лекторской группой ЦК Компартии Украины, летал к партизанам поднимать их боевой дух. В сорок третьем его бросили на укрепление в Узбекистан – первым секретарем Наманганского обкома партии, потом успел поработать секретарем Одесского обкома партии, после чего стал заведующим отделом науки и культуры ЦК Компартии Украины. Накануне этого назначения он защитил кандидатскую диссертацию по философии. Нет ни малейших сомнений, что он от начала до конца писал ее сам, диссертация посвящена философским проблемам физики. Теперь он был дважды кандидатом наук.

Естественно, что многие из нынешних партийных «первачей» не просто знали его, а в разные времена работали под его началом или были от него в чем-то зависимы. И со всеми он сохранял добрые отношения. Вот особый талант! Причем не только с начальством, но и с подчиненными, даже стоящими на самой низкой ступени, даже с теми, кому отказывал. Этому способствовала его манера общения, точнее особая энергетика, делавшая общение с ним желанным, легким, приятным. Конечно, он был великодушным актером, но тонкая игра исходила, тем не менее, из доброго начала его натуры.

Решающее значение для него имели конкретные человеческие

отношения, а вовсе не идейные принципы. Он принадлежал к той не столь уж часто встречающейся породе людей, которые, делая другому что-то хорошее, сами получают от этого удовольствие или, по крайней мере, удовлетворение. Отсюда его блестящая способность находить компромиссы, которая сильно раздражала меня первое время, пока я не понял, что для него важно прежде всего не обидеть человека, не навредить ему. И не потому, что он боится нажать себе врага, а из внутренней потребности. Ведь он не раз, я видел это, тратил массу времени, терпеливо беседовал, искал и находил компромиссы с людьми совершенно ничтожными, по моему убеждению, пустыми и ничтожными в научном отношении.

Однажды Готт преподнес мне хороший урок. Многие месяцы пороги редакции оббивала Бася Наумовна Хайкина, очень маленького роста сухощавая старушка, совершенно седая с ясными, как у ребенка, серо-голубыми глазами. Крайне бедно одетая, опираясь на палку, она робко входила в редакцию, доставала из старой базарной сумки свою статью «О системном подходе» (тогда этот вопрос был в моде). Тема относилась к моему отделу. Я прочел статью, которая в основном состояла из общих мест и призывов. Написано грамотным языком, но ни одной интересной мысли.

Формально все статьи обсуждались и принимались к печати или отвергались на заседании отдела, в который входила примерно половина членов редколлегии (специализировавшихся по проблематике отдела). Но в большинстве случаев, конечно, вопрос решался мной или кем-либо из влиятельных членов редколлегии. Понятно, Хайкиной мы отказали в публикации. Она пришла ко мне на прием, соглашалась с моими доводами, но не уходила и снова и снова выспрашивала, что же надо сделать, чтобы доработать статью. Я ей что-то советовал, желая одного: поскорее от нее отвяжаться, много работы.

Через месяц примерно она принесла новый вариант статьи. Результат тот же. Так повторялось наверное раз пять. Я старался ее избегать. Как только она входила в первую комнату, кто-то из редакторов проскальзывал ко мне и шептал: «К вам опять Бася». Я просил сказать, что меня нет. Она уходила, но на другой день появлялась снова. В последний раз, «поймав» меня и выслушав очередной отказ, она сидела как будто в ступоре, по лицу ее текли слезы, губы едва слышно произносили: «Я столько работала, столько работала... У меня же нет ничего другого, я хочу быть по-

лезной...». Она встала и, опираясь на палку, поплелась к двери. Мне стало ее очень жалко. Но что поделаешь?

После этого она обратилась к Готту, который дважды с ней долго и подчеркнуто уважительно беседовал. Прошло, может быть, недели две-три. Готт вызвал меня и особенно мягко сказал: «У меня к вам большая личная просьба. Я прочел последний вариант статьи Хайкиной. Очень прошу вас, из нее надо сделать небольшой материал для раздела «Сообщения, заметки, письма» (в журнале была такая постоянная рубрика). Я отметил места, которые вполне можно использовать. Ей скоро семьдесят лет. Человек живет этим. То, что я отметил можно легко скомпоновать. Сделайте это, пожалуйста, и прямо в номер». Я сделал из тридцати страниц рукописи шесть. Вскоре вышел очередной номер журнала с заметкой Хайкиной. Она пришла в редакцию, ее ясные, как у ребенка, серо-голубые глаза светились такой радостью... Она повторяла: «Товарищ Дубровский, спасибо вам, большое спасибо вам за то, что вы...». А я испытывал сильное угрызение совести. За что спасибо? Это Готту надо говорить спасибо.

Она его уже благодарила, но он, хитрец, сказал ей, что статья вышла только благодаря мне и тем самым как бы направил ее ко мне для изъявления незаслуженных мной благодарностей.

Готт никогда не приказывал своим сотрудникам, никогда не повышал тона, даже когда принимал жесткие решения. Мы твердо знали, что «своих» он не выдаст, прикроет, не даст в обиду и уверенно чувствовали себя за его широкой спиной. Меня он несколько раз ловко выводил из-под удара. Об одном таком случае хочется рассказать.

Вскоре после того, как я стал членом редколлегии, заведующим отделом и профессором философского факультета МГУ, я чуть не вылетел с работы. В журнале было два главных отдела: мой и отдел исторического материализма, которым заведовал Владимир Николаевич Шевченко, лет на десять моложе меня, кандидат наук, занимавший ставку заместителя главного редактора. С ним у меня установились хорошие, деловые отношения. Был еще и небольшой третий отдел – истории философии. В редакции сложилась такая система: как я уже говорил, поступившие материалы обсуждались на заседании отделов, из числа одобренных к публикации заведующие отделами предлагали в очередной номер те или иные статьи, заметки, рецензии, потом созывалась редколлегия и утвер-

ждала примерное содержание очередного номера. Вели номера попеременно я и Шевченко. Ведущий номер внимательно читал и правил все материалы, добивался соразмерности его структуры и тематики, мог снять один материал и поставить другой, выдерживая давление заинтересованных членов редколлегии, визировал все материалы, подписывал номер в печать и нес за все полную ответственность. Готт читал и правил только верстку. Разумеется, много помогала нам ответственный секретарь журнала Аврора Пружинина, с которой мы дружно работали. Она была добрым, справедливым, веселым и общительным человеком.

В августе 1971 года всё начальство журнала разъехалось в отпуск, на «хозяйстве» оставили меня одного. Я вел шестой номер журнала (выполнял обязанности «ведущего номера» лишь во второй раз). В нем шла большая рецензия Игитханяна на книгу З.М. Какабадзе «Человек как философская проблема» (Тбилиси, 1970). Рецензия носила разгромный характер, автор обвинялся в антимарксизме и т.п. Таких оголтелых нападок в нашем журнале не было. Я прочитал небольшую книгу Какабадзе. Впервые так широко ставятся экзистенциальные проблемы (свободы, смысла жизни, самополагания и др.). Очень интересно, искренне написано. Стало ясно, что рецензия направлена против первых попыток разработки проблем философской антропологии в Институте философии Грузии. Я позвонил Геннадию Гургенидзе. Он сказал: «Этого нельзя допустить. Это удар по Институту философии, по Нико Чавчавадзе (его директору). А Зураб Какабадзе – честнейший, замечательный человек. Я знаю – это дело Иовчука, а Игитханяна его подручный, это последний поддонок».

Я снял рецензию из номера. Это сразу стало известно, кто-то из сотрудников сообщил кому надо. Буквально через час звонит влиятельный член редколлегии Михаил Николаевич Руткевич, член-корреспондент Академии наук СССР, в прошлом крупный партийный функционер, с большими связями в ЦК: «Почему сняли рецензию? Вы не имели права этого делать, она принята редколлегией». Я ему отвечал, что рецензия затрагивает политику в национальном вопросе, что я не могу взять на себя такой ответственности, придет Владимир Спиридонович, он решит. «Подумайте, – сказал Руткевич, – вы поступаете неправильно».

Через минуту раздается еще один звонок, раздраженный грубый голос, срывающийся на крик: «Это Дубровский? Кто вы такой? Что вы себе позволяете? Немедленно восстановите рецензию

в номере!». «Простите, кто это говорит?». «Иовчук! Какое вы имели право? Вы за это ответите». Я пытаюсь вежливо объяснить, сказать то, что говорил Руткевичу, но стоит сплошной ор, ругань, и он хлопает трубкой. Да, дело принимает худой оборот. Михаил Трифонович Иовчук тоже член редколлегии, до Готта был главным редактором журнала. Он член ЦК КПСС, ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС. Фигура! Запросто могу вылететь с работы. Но дело сделано. Номер сдан в печать, обратного хода нет.

Приехал, наконец, Готт. Я всё ему рассказал, он получил уже информацию и из других источников. Он сказал: «Честно говоря, я этой рецензии не читал. Меня просил напечатать ее Иовчук. Думаю, прочту ее в верстке. Теперь я ее прочел. Вы правильно сделали, что сняли. Нам это не надо! Тем более, что армянин поносит грузина. Мы сделаем так: устроим широкое обсуждение книги Какабадзе в Тбилиси, проведем там выездное заседание редакции. Но вы не поедете. Пригласим всех желающих и обязательно Игитханяна. Одно дело его личное мнение, другое – многих специалистов. И вместо рецензии опубликуем обзор выступлений».

Так и сделали. В следующем номере вышел обзор обсуждения книги Какабадзе. В его адрес было немало критических замечаний, но большинство отмечало достоинства книги, актуальность тематики, поднят автором. И для Института философии Грузии всё обошлось лучшим образом, в Тбилиси продолжали выходить книги по философской антропологии. А от Иовчука Готт меня загордил своей широкой спиной, оставаясь с ним по-прежнему в хороших отношениях. Благодаря этой широкой, пружинистой спине, мне многое сходило с рук: и то, что мой родной брат уехал в во-семьдесят первом году в Америку, и разгромная критика моих работ в том же году в органе ЦК КПСС журнале «Коммунист», и многое другое.

Готт настойчиво демонстрировал нам, что такое умная тактика и политика. Надо уметь достигать желаемую цель. Будешь ломиться напрямую, лоб себе расшибешь, ничего не добьешься, и еще хороших людей подставишь.

Да, работая столько лет в партийном аппарате, он поднатерел в таком искусстве. А что оставалось? Кругом ведь люди с их интересами, запутанной психологией, у каждого свои «примочки». Начальник, не начальник – всё те же хомо сапиенсы! Уж он повидал на своем веку всяких. Лет пять работал бок о бок с Хрущевым

в Киеве, рассказывал про него интереснейшие истории. Их надо было бы записать. Вот одна из них.

Сразу после окончания войны Хрущев, оказывается, был инкогнито в Австрии. Там он высмотрел и привез всякие новые для нас технические штучки: магнитофон, электробритву и др. Он вызвал директора киевского радиоизвода и приказал ему в течение двух месяцев сделать магнитофон и чтобы тот был еще лучше, чем австрийский. Каждый день директор являлся к Никите и докладывал, как движется дело, а он вникал во все детали. Ровно через два месяца новый магнитофон стоял в его кабинете. Хрущев звонит Сталину и докладывает, что первый советский магнитофон готов. Сталин говорит: «Запишите Гмырю...» (известный певец, которого он любил), запишите еще кого-то и привозите. В перерыве заседания Политбюро Никита включает магнитофон, Гмыря поет, Сталин с удовольствием слушает. Вдруг: у-у-у – что-то заело. Никита подсакивает к магнитофону с отверткой: «Не беспокоитесь, Иосиф Виссарионович, я сейчас...». Что-то подкрутил, подладил, включил – снова Гмыря поет, всё идет гладко. Якобы Сталин сказал: «Вот таварыщи, как надо знать дэло».

Готт рассказывал, что у Хрущева был излюбленный способ наказания нерадивых министров и крупных партийных чиновников. Он брал их на охоту! Никита, несмотря на свою комплекцию, был неутомимый ходок, мог пройти с ружьем километров пятнадцать-двадцать по грязи, по болотцам, по оврагам-косогорам. Приглашенный обязан был поспевать за ним. А у него брюхо свисает, одышка. Некоторые падали, теряли сознание, а те, кому удавалось не отстать, долго помнили охоту с Хрущевым.

Рассказывал Владимир Спиридонович и о Брежневе. Когда Готт работал секретарем обкома в Одессе, Брежнев восседал первым секретарем в соседней Молдавии. От Кишинева до Одессы недалеко, чуть больше ста километров, им выпадало часто видеться. У Брежнева возникла семейная проблема. Его дочь, совсем еще девчонка – ей только исполнилось шестнадцать – спуталась с сылчом из одесского цирка, здоровенным тридцатилетним мужиком, по много дней жила у него. Брежнев прислал свою охрану и ее силой увозили. Но она снова удирает к нему. Тогда Брежнев обратился со слезной просьбой к Епишеву (первому секретарю) и Готту, чтобы убрали этот цирк из Одессы. Епишев поручил дело Готту. Тот звонил в Москву и Киев, мотивируя тем, что народу на-

доело смотреть одно и то же, пора поменять цирк. И он добился, что одесский цирк перевели в Днепропетровск, а днепропетровский – в Одессу. Но не помогло. Дочка вскоре сбежала в Днепропетровск.

Как я уже говорил, после Одессы Готт занял должность заведующего отделом науки и культуры ЦК компартии Украины. Он очень любил Киев, однако ему пришлось переехать в Москву. Когда Молотова назначили Председателем Совета министров, Готт стал его помощником по науке и культуре. Тогда это означало, что он руководил всей системой науки и культуры в стране по линии Совета министров.

На этом его партийно-государственная карьера завершилась. Молотова сняли, что-то в высших сферах для Готта не заладилось, он вернулся в Киев и решил заняться научной работой, стал заместителем директора Института философии, защитил докторскую диссертацию «Категории симметрии и асимметрии в физике». Философские вопросы физики на многие годы стали областью его главных научных интересов. У него не сложились отношения с директором института Остряниным (я знал его: мелкий и отвратный тип). Острянин видел в Готте конкурента, пытался помешать защите его докторской диссертации, постоянно плел интриги, и Готт счел за лучшее снова уехать в Москву, где ему предложили завести кафедру философии МПШ и возглавить журнал «Философские науки».

В первые годы работы в Москве судьба преподнесла Владимиру Спиридоновичу еще один сюрприз. У него появилась скромная аспирантка Рая, внимательная, усидчивая, добросовестно выполнявшая свой научный план. До аспирантуры она работала преподавателем на кафедре марксизма-ленинизма Ставропольского сельскохозяйственного института. А муж ее был никому тогда неизвестным вторым или третьим секретарем Ставропольского горкома партии. Вот такой оборот!

Горбачев знал о прошлом Готта и ему было весьма интересно с ним общаться. Провинциальный партработник любопытствовал, как там шла жизнь в наивысших сферах. Когда Горбачев стал первым секретарем Ставропольского обкома, Готт побывал у него в гостях. Прибыв в Москву, Горбачев не забыл Готта, звонил ему, поздравлял с днем рождения и с праздниками. А Раиса Максимовна сделала его своим первым советником, появлялась с ним под

ручку на философских конференциях, которые она активно посещала. Это производило понятный эффект на чиновников всех рангов.

Однако, ни при старой власти, ни при новой Готт никогда ничего не выпрашивал для себя лично, жил в скромной квартире панельного дома во втором Мосфильмовском переулке и не пользовался никакими благами, тащился домой на метро, а потом на автобусе со своим раздутым от рукописей портфелем. С годами это ему давалось всё тяжелее.

Наступили времена перестройки. Нельзя сказать, чтобы Готт был противником перемен, но и не относился к числу горячих сторонников, как я. Пытался сдерживать мою прыть. И тут я сполна оценил его «антропологический подход» к жизни: всё делается людьми, всё зависит от конкретных личностей. Одно дело их намерения, декларации, другое – их природа, характер, страстишки, привычки, предрассудки, их «я», которое не является хозяином в собственном доме, того и глади выкинет чего-то такое, что ни в какие ворота не лезет. Я с энтузиазмом, а он со скепсисом смотрел на горластых ребят-демократов, видел их реальную цену, которую я осознал лишь пару лет спустя. До демократии нужно дорасти. А так, всё больше – ералаш, базар, торжество энергичной и бессовестной посредственности. Он мудро и снисходительно взирал на человеческую природу в ее «рассейском» исполнении, не спешил с выводами и решениями, знал, как часто оправдывается в нашем земном мире древнеримская пословица: «Знаю лучшее и одобряю, но следую худшему».

Владимир Спиридонович, однако, был чрезвычайно далек от мизантропии, любил людей из своего окружения со всеми их слабостями, отличался верностью друзьям, помнил добро, умел ценить хорошего работника. Это был человек жизнерадостный, жизнелюбивый, обладавший большим запасом душевной энергии.

Ему было свойственно еще одно редкое качество: он умел терпеть инакомыслие, а бывало и поощрял его, перебарывая свои амбиции. Я и Шевченко часто спорили с ним по поводу редакционных дел, оценки тех или иных материалов, в том числе и на заседаниях редколлегии. Иногда споры носили довольно резкий характер. Члены редколлегии видели в этом знак испорченных отношений, недоумевали, когда через час мы с Готтом чуть ли не лобызались. Иногда ползли слухи: «Ну всё! Дубровского выгоняют

из «Философских наук». Вчера вдрызг разругался с Готтом». А это был обычный для нас спор. Готт иногда легко, а иногда с трудом отказывался от собственного мнения, если ты приводил убедительные аргументы. Он умел внимательно слушать других, вникать в их доводы, обладал даром сопереживания, поэтому с ним так охотно общались.

Готт очень любил ездить в zahraniчные командировки. Обязательно привозил всем, включая уборщицу, диковинные сувенирчики. В редакции стало обычаем, что по его возвращению женщины накрывали стол. Редактор Валя Овинникова – добрейшая душа – приносила из дому свои знаменитые пирожки, упакованные в целлофан и еще совсем теплые. Готт выставлял две бутылки коньяка и подробно, красочно рассказывал о заморских достопримечательностях, которые ему довелось увидеть.

При всем моем антураже (профессор МГУ, зав. отделом и т.д.) путь за границу для меня оказался закрытым. Я был «невъездной» (почти официальный термин того времени). Столкнулся с этим впервые в 1975 году, когда представил доклад на Международный философский конгресс в Дюссельдорфе. В его программе значилось пять секций, одна из них прямо по моей части – «Сознание и мозг». Мой доклад, переведенный на английский язык, назывался «Информационный подход к проблеме «Сознание и мозг». В нем я излагал свою, весьма четко разработанную концепцию связи явлений субъективной реальности с мозговой нейродинамикой, рассматривал теоретические вопросы расшифровки мозговых нейродинамических кодов психических явлений. Тогда я был, пожалуй, единственным у нас из философов, кто серьезно, в течение многих лет занимался этой проблемой. А поскольку на секцию «Сознание и мозг» никто, кроме меня, доклада не представил, то вначале меня включили в состав советской делегации на конгресс (это означало, что я еду за счет государства).

Начался долгий процесс оформления выездных документов. Надо было получить характеристику факультетского парткома, потом парткома МГУ, пройдя собеседования в так называемой «выездной комиссии», заполнить личный листок по учету кадров, написать подробную биографию, обоснование необходимости поездки, выправить и заверить кучу других бумаг (среди них шесть экземпляров отпечатанной по строгим правилам «объективки», т. е. краткого изложения всего твоего жизненного и трудового пу-

ти). Наконец, эпопея с оформлением выездных документов завершилась. Оставалось меньше месяца до отъезда, и я вдруг узнаю, что вычеркнут из состава делегации. Освободили место для крупного научного чиновника. А меня перевели в группу научных туристов – там надо заплатить тысячу рублей. Черт с ним, поднату-жусь и заплачу.

Примерно дней за пять до отъезда – я уже собрался – приходит в редакцию Готт и по его лицу вижу, что у нас неприятности. Он сказал: «Я только что из ЦК, смотрел списки, там нет вашей фамилии. Понятно, кто вас изъял (имея в виду КГБ). Тут ничего не попишешь. Постарайтесь сильно не расстраиваться».

Как же тут не расстраиваться, столько времени, сил потрачено, столько беготни, столько радужных надежд, а тебе вдруг – кукиш. Ладно, как-нибудь переживем. Я понял, что теперь не стоит мечтать о подобных поездках, «коварный зарубеж» не про меня.

Два года спустя я получил крайне лестное приглашение от оргкомитета очередного международного философского конгресса выступить на пленарном заседании с тридцатиминутным докладом по моей тематике, причем с полным материальным обеспечением: оплатой проезда, гостиницы, всех расходов. Я ответил, что благодарен за оказанную честь, но в это время буду занят другими важными делами, а потому, к большому сожалению, не смогу принять участие в конгрессе.

И здесь трудно удержаться, чтобы не рассказать еще одну замечательную историю. Мой приятель, вернувшись с конгресса в Дюссельдорфе (в его материалах был опубликован на английском языке мой упомянутый выше доклад), говорил, что меня разыскивал Президент Венгерской Академии наук Сентаготаи. Он выступал на секции «Сознание и мозг», хвалил мой доклад и сожалел, что я не смог приехать. Услышать это мне было очень приятно. Сентаготаи не просто Президент, а крупнейший нейроморфолог и нейропсихолог, лауреат Нобелевской премии, за исследованиями которого я давно следил.

Прошло пару недель, и я получаю длинное письмо от Сентаготаи. Он выражает сожаление, что меня не было на конгрессе, очень заинтересовался моей концепцией, так как она близка его взглядам на проблему, считает, что нам нужно обязательно встретиться и обсудить ее. Приглашает меня в Венгрию и спрашивает, что нужно для того, чтобы мне оформили научную командировку. Он органи-

зует симпозиум, специально посвященный обсуждению моей концепции, пригласит своих коллег из Америки и Англии, мы прекрасно проведем время, поедем на озеро Балатон. Просил подумать и сообщить заранее, когда это удобно будет сделать.

Письмо меня воодушевило. Я немедленно ответил, что надо прислать вызов на адрес философского факультета МГУ и когда вопрос с командировкой будет в принципе решен (у нас эта процедура довольно сложная), я сразу же сообщу, и мы определим время проведения симпозиума. Я советовался с Готтом. Он согласился, что в капиталистические страны меня точно не пустят, а в страны Народной демократии (т.е. в «свои», социалистические) пустят наверняка, ведь в 1973 году я ездил в Болгарию.

Вскоре прибыл вызов, весьма лестный по форме, подчеркивающий значение моих работ. Внизу подпись: Президент Венгерской академии наук Сентаготаи. Опять надо получать характеристики, писать подробное обоснование целесообразности командировки, готовить кучу бумаг. На уровне МГУ всё, наконец, разрешилось, за подписью проректора мне оформили командировку на семь дней. Теперь со всей кипой бумаг надо идти в отдел международных отношений Министерства высшего и среднего специального образования. Там на мой вопрос ответили, что нет никаких проблем, замминистра сейчас в отъезде, скоро придет, подпишет и вперед. Это было в марте. На всякий случай попросил уточнить: вправе ли я сообщить академику Сентаготаи, что он может назначить проведение симпозиума на конец мая. И получил от заместителя заведующего отдела международных отношений ответ: а почему бы нет. (Это был, конечно, кэзбист в довольно высоком чине; все знали, что в таких отделах работали только люди из соответствующего учреждения). Обрадованный, я сообщил об этом Сентаготаи и довольно быстро получил от него письмо: прекрасное время, моих коллег оно устраивает, ждем вас.

Я стал названивать в министерство: подписал ли замминистра? И началось: он еще не приехал, он приехал и уехал, не успел подписать, к сожалению, ушел на две недели в отпуск, позвоните через несколько дней. Готт, которого я информировал, высказался в том смысле, что дело выглядит плохо. Я стал уже не звонить, а ходить в отдел международных отношений. Принимал меня другой человек, он успокаивал, говорил, что нужно немного обождать, вопрос обязательно решится. Но уже конец апреля. Глупейшее по-

ложение! Выждав еще несколько дней, я написал Сентаготаи: прошу прощения, но у меня так неудачно сложились семейные дела, что при всём огромном желании я никак не могу приехать в конце мая, нельзя ли перенести симпозиум на сентябрь. Получаю ответ: жаль, но ничего страшного, уверен, что удастся сориентировать коллег на сентябрь.

Я продолжал оббивать пороги министерства. Вот уже конец мая. Мне обещают. В июне мне сообщают якобы действительную причину задержки, о которой раньше не хотели говорить. Дело якобы в финансовых трудностях, нет денег на командировку. Я сказал, что готов поехать за свой счет. Нет, ответили мне, так не положено, это государственная командировка, а не частная поездка. Тогда разрешите мне частную поездку. И этого не можем сделать, нужно заново оформлять все документы и идти в ОВИР. Когда же будут деньги? Видимо, в сентябре.

Я всё надеялся, но теперь четко осознал, что меня не пускают и не пустят. В конце июля я написал письмо Сентаготаи: очень виноват перед вами, но мои семейные обстоятельства складываются настолько неудачно, что я, к величайшему сожалению, не смогу приехать и в сентябре. Если появится малейшая возможность, сообщу вам. Получаю ответ: очень жаль, уже договорился со своими коллегами на сентябрь, но ничего не поделаешь, хорошо понимаю, что семейные обстоятельства часто играют решающую роль, надеюсь, что скоро все изменится к лучшему и верю, что наша встреча состоится.

Больше я не ходил и не звонил в Министерство, выбросил это из головы. Прошло больше трех месяцев. Как-то утром в начале октября раздается звонок: «Это профессор Дубровский? С вами говорит заместитель начальника отдела международных отношений... Так вы собираетесь ехать в Венгрию?». Я был немало удивлен. Напоминаю ему всю историю. «Но теперь ваши документы в порядке, можете ехать». «Я должен снова договариваться с академиком Сентаготаи». «Ну хорошо, сообщите, на какое время договоритесь?».

Назавтра я пошел в министерство, к этому замначальника. «Могу ли я получить на руки документы?». «Нет, мы выдаем их за неделю до отъезда. Чего вы волнуетесь, вот они лежат, всё в порядке». Я пишу письмо. Дорогой академик Сентаготаи! Наконец-то мои обстоятельства изменились к лучшему, я готов приехать, когда

вам будет удобно, хоть в ближайшие дни. Еще раз прошу прощения за то, что доставил вам столько хлопот.

Ответа долго не было. Я уж подумал, что он порвал со мной отношения. Но вот неожиданно получаю письмо со знакомыми штемпелями. Дорогой профессор Дубровский! Извините, что долго не отвечал, был в Америке, у меня там, как вы наверное знаете, крупная лаборатория. Очень рад, что ваши семейные трудности позади и что мы, наконец, сможем встретиться. Правда на яхте по Балатону покататься уже не придется, но, может быть, это и к лучшему, спокойно посидим и подробно обсудим наши проблемы. Как только договорюсь со своими коллегами, сразу же сообщу.

Примерно через неделю – это было числа двадцатого ноября – раздается звонок, говорит женщина с сильным акцентом: я по поручению профессора Сентаготаи, он просил передать, что симпозиум может быть назначен на 10 декабря, подтвердите, пожалуйста, письмом ваше согласие. Я обрадовался.

Немедленно звоню в министерство. Трубку берет тот же замначальника, уточняю, он ли это. Да, он. Говорю, что симпозиум назначен на 10 декабря, прошу заранее всё подготовить, чтобы не было никаких осечек. В трубке неловкое молчание, потом какие-то несвязные слова. Я напоминаю, что он лично говорил, что документы в полном порядке. Он отвечает, что мне следует обратиться к проректору МГУ по международным связям товарищу Трошину. Я возмущен: как же так, академик Сентаготаи в третий раз назначает симпозиум... Обратитесь к Трошину и повесил трубку. Можно представить, каково было мое состояние.

К Трошину на прием пробиться трудно. Я попал в его кабинет лишь на третий день. В обширной комнате за массивным столом сидел крупный, лохотеный мужчина в очках (мы знали, что он генерал КГБ – МГУ важный объект, много иностранцев). Я коротко изложил причину визита. «А почему это вас направили ко мне? Я подписал вашу характеристику. Мы выдали вам все документы». «Думаю, вам самому удобнее спросить это у них...». «Нет, это не в нашей компетенции, они вышестоящая инстанция...». Я сорвался, начал кричать, что это издевательство, позор... Товарищ Трошин холодно, молча, без тени эмоций смотрел на меня. Я взял себя в руки, сказал: «Всё понятно». И вышел.

В тот же день я отправил Сентаготаи письмо, в котором изложил всё открытым текстом, назвал вещи своими именами. На Новый год он прислал мне поздравление. Я послал ему тоже. На

этом наша переписка оборвалась. Вот такая история, характеризующая то время. Интуиция и опыт не подвели Готта, он с самого начала сказал, что мне надо подготовиться к худшему. В таких случаях он ничем не мог помочь.

Работа в редакции изнуряла. Ведь фактически за одну зарплату я выполнял две работы: нагрузку профессора философского факультета и тащил редакционный воз. К тому же постоянно занимался, конечно, научной работой. Так продолжалось шестнадцать лет. В редакции не расслабишься, никаких просветов: бесконечное чтение материалов, заседания отдела, заседания редколлегии, подготовка номера, верстка, сверка, чистые листы и снова и снова по этому кругу. Я устал, решил уйти. Единственное препятствие – Готт. Как сказать ему об этом?

Моей давней недостижимой мечтой был Институт философии. Какое счастье заниматься только научной работой! С моим «пятым пунктом» путь туда заказан. Между тем горбачевская «перестройка» набирала обороты, постепенно отменяла сталинские запретительные нормы. Открывались новые возможности. Быстро пошел в гору Фролов. Став главным редактором «Правды» и секретарем ЦК КПСС, он безраздельно взял в руки бразды правления в философской епархии, сделал моего друга Славу Степина вначале директором Института истории естествознания и техники, а затем директором Института философии. Осенью 1987 года я перешел в Институт истории естествознания и техники, а весной 1988 года был избран по конкурсу ведущим научным сотрудником Института философии.

Готт крайне болезненно переживал мой уход из журнала. Он хорошо знал мои склонности, понимал, что хотя бы в преддверии шестидесятилетия мне надо обрести условия для нормальной научной работы. Но выходило так, что в тяжелое для журнала время я бросал его. Он обиделся. Мы редко встречались. Последние годы он часто болел. В 1990 году, когда он лежал в больнице, я приехал его навестить. Он обрадовался, я почувствовал прежнюю теплоту общения.

Владимир Спиридонович Готт умер 2 июня 1991 года. Меня не было в Москве и я не участвовал в похоронах.

Прошло уже более десяти лет, как он ушел из жизни. Сколько воды утекло с тех пор! Как изменилась Россия! Вряд ли он смог бы приспособиться к новой жизни. А я, хоть и с большим трудом, на седьмом десятке, все-таки приспособился. И, думаю, во многом потому, что прошел школу Готта. Зацикленный на абстрактных

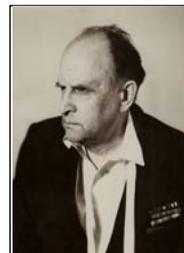
принципах, я постепенно усвоил его «антропологический подход» к людям. Это помогло мне давно избавиться от чувства своей профессорской «высокопоставленности» и войти в непривычные формы коммуникации, продиктованные новым временем. Этому, правда, сильно способствовало и занятие восточными единоборствами – замечательный способ «расширения сознания», перестройки личностной структуры ценностей.

Когда я вспоминаю Владимира Спиридоновича, думаю о нем, часто всплывает клише «светлого образа». Но лучших слов не подберешь. Да, я вспоминаю именно его светлый образ. Это был светлый человек, сделавший так много доброго людям!

### 3. Владимир Павлович Эфроимсон

О нем без малейшего преувеличения можно сказать: выдающийся талант, выдающаяся личность!

Я близко познакомился с ним в 1980 году. Почти за десять лет до этого в «Новом мире» вышла его блестящая статья «Родословная альтруизма», вызвавшая небывалый резонанс в умах ученых, литераторов, всей мыслящей публики. Она имела подзаголовок «Этика с позиций эволюционной генетики человека» и ставила своей целью показать, что «происхождение доброго начала в человеке» связано не только с социальной преемственностью, но имеет глубокие генетические корни. В.П. Эфроимсон решительно выступал против столь любимого тезиса марксистской идеологии о всеилости воспитания, против тех, кто считал, что «воспитание – полный, единственный и безраздельный творец нравственных начал в человеке». Опираясь на успехи генетики, привлекая исторические материалы, он убедительно доказывал, что не только эгоизм, но и альтруизм имеют свои основания в наследственной природе человека, ибо в ней «заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к подвигам, к самоотвержению».



Владимир Павлович Эфроимсон

Это были, по сути, те же проблемы, по которым я вел дискуссию в журнале «Вопросы философии». Статья меня воодушевила, ее оригинальный стиль, глубина содержания, основательность аргументации, страстность, убежденность, с которыми она была написана, делали ее знаменательным событием в нашей духовной жизни. Фактически она положила начало новому направлению в науке – социобиологии, которая спустя несколько лет начала бурно развиваться на Западе

Разумеется, автор сразу попал в разряд антимарксистов, его постоянно прорабатывали в партийной печати, имя его стало символом так называемого «биологизаторства». Основное обвинение, которое ему постоянно предъявляли, состояло в том, что он якобы выводит этику из генетики. Оно, конечно, смехотворно, но таковы тогда были типичные приемы борьбы с инакомыслящими: перекорки, раздувание какой-либо одной черты и доведение позиции автора до абсурда.

Подобная участь ожидала всех (и я это испытал на себе сполна), кто решался подчеркивать существенную роль генетических факторов в формировании личности. Это и понятно. Ведь с точки зрения марксистско-ленинской ортодоксии каждый из нас всецело продукт социальных воздействий и прежде всего воспитательной работы общественных и государственных организаций, партийных органов и партийных руководителей. Если же признавать элементарные факты генетики, согласиться, что каждый человек уже от рождения уникален, что в нем есть нечто неподвластное воле партийного воспитателя, то это крайне опасно для системы. Отсюда нетерпимость ко всякому отклонению от жесткой социологизаторской позиции.

Я перечитал все основные работы Эфроимсона, изучал его фундаментальный труд «Введение в медицинскую генетику», особый интерес для меня представляли книги и статьи, посвященные роли генетики в психиатрии. Несколько раз я встречался с Владимиром Павловичем на каких-то конференциях, мы беседовали, но близости между нами не возникало. В личном плане он бывал довольно замкнут, общение с ним ограничивалось обсуждением научных и философских вопросов.

Эфроимсон являлся учеником патриарха российской генетики Николая Константиновича Кольцова и до конца жизни следовал

высоким нравственным принципам своего учителя. Владимир Павлович принадлежал к тем, кто в самые мрачные времена способен был сохранять веру в разум и справедливость. Имевшие возможность общаться с ним даже краткое время не могли не испытывать особое, сразу покоряющее обаяние подлинности, неуказательной порядочности – столь редкого украшения нашей советской жизни. Это проявлялось в его непримиримости к малейшим отступлениям от научной истины, в жестком, бескомпромиссном отношении к повсеместному этическому релятивизму, той изощренной манере «объяснений» и «оправданий», которая была столь характерна для так называемых застойных времен. Он резко выделялся на фоне конформистской массы, раздражал своей неуступчивостью и незаурядностью.

Кстати, что-то общее было у него с Мильнером-Ирининым: резкость и некая «сузость» в общении, внутренняя сконцентрированность, отвлеченность мысли от бытового праксиса, одержимость идеями истины и справедливости, нравственная решительность, высокое чувство гражданского долга. Но у Эфроимсона – ни малейших иллюзий насчет коммунизма, гораздо более широкий духовный и культурный диапазон, творческая раскованность мысли. Он свободно владел шестью языками, был знатоком и любителем поэзии, поражал эрудицией в области истории, не говоря уже о генетике, медицине, психологии. Это была самая выдающаяся личность, с которой мне когда-либо приходилось состоять в дружеских отношениях. На его высоком лбу, в его сосредоточенном взгляде, одухотворенности облика, мощной энергетике проступала печать гениальности.

Дочь Ира, художница, с которой я однажды пошел в гости к Владимиру Павловичу, увидев его, сразу «сделала стойку» – такое он произвел на нее сильное впечатление. До сих пор она вспоминает о нем в приподнятых тонах.

То, что Владимир Павлович выжил в тридцатые и послевоенные годы, что его не сломали хрущевские и брежневские времена, похоже на чудо. Но для этого, помимо всего прочего, надо было и обладать еще исключительной силой духа. Впрочем, Владимир Павлович сполна заплатил за то, что оставался самим собой, не умел подлаживаться под идеологические догмы, под вкусы начальства, не умел и не желал маскировать свои убеждения, не нау-

чился искусству хитроумных игр, которым владела приспосаблившаяся к советским условиям интеллигенция.

Он был арестован как враг народа еще в 1932 году (на самом первом этапе разгрома советской генетики). Следователь пытался «выбить» у него показания на Кольцова. Любопытно, что его допрашивали чуть ли не в его бывшей квартире. Он родился и прожил первые двенадцать лет своей жизни в знаменитом доме номер 2 на Лубянке, который до революции принадлежал страховому обществу «Россия», сдававшему квартиры наём.

Эфроимсон отсидел около четырех лет в тюрьмах и лагерях. Он уцелел, удивительным образом не попал в начавшуюся вскоре мясорубку 1937 года. Ему удалось устроиться и примерно год поработать в Ташкентском научно-исследовательском институте шелководства, где им за столь короткий срок были сделаны выдающиеся открытия, опередившие на несколько лет результаты, полученные западными генетиками (за что их удостоили Нобелевской премии!). Эфроимсону же не дали опубликовать итоги своих исследований. Началась его травля как единственного в институте последовательного генетика, подготовленная к печати монография уничтожена, а сам он изгнан из института. Лишь в 1939 году ему с трудом удалось снова устроиться на работу – вначале преподавателем немецкого языка в школе, а потом и по специальности во Всеукраинскую станцию шелководства, где он продолжил свои исследования по генетике шелкопряда.

Как только началась война, Владимир Павлович добровольно ушел на фронт. Зная немецкий язык, как русский, он воевал и в разведке, множество раз рисковал жизнью. Вражеские пули попадали ему, и он вернулся после окончания войны со многими боевыми наградами, вернулся к любимой работе. Но тут открылся новый фронт – борьба за генетику, против всеильной лысенковщины.

Еще в 1948 году Эфроимсон провел тщательный анализ всех основных публикаций и опытов Лысенко, результатом чего явился обширный труд в почти 300 машинописных страниц, переплетенных на манер диссертации. Его заглавие недвусмысленно выражало цель автора: «О преступной деятельности Т.Д. Лысенко». В этом труде (Владимир Павлович давал мне его почитать в 1983 году) разоблачались подтасовки фактов, ложные обобщения, фальсифи-

кации Лысенко и его «школы». Опираясь на эти материалы, Эфроимсон пытался подать в суд на Лысенко, инкриминируя ему фальсификацию, наносящую невосполнимый ущерб науке и сельскому хозяйству. И это происходило в 1948 году!

Видимо, его не посадили сразу только потому, что сочли не вполне психически здоровым. Ну кто же из нормальных людей мог настаивать на привлечении к суду самого Президента ВАСХНИЛ, любимца великого корифея науки, товарища Сталина?

Со свойственной ему настойчивостью Владимир Павлович дошел до самых высоких инстанций, он подал заявление в отдел науки ЦК КПСС, приложив к нему упомянутый трехсотстраничный труд (заведовал тогда отделом уже знакомый нам Юрий Жданов). Именно вскоре после этого Эфроимсона вновь арестовали и обвинили в клевете на Советскую Армию (не придумали другого предлога!).

Дело в том, что в его досье в КГБ хранились данные 1945 года о «непатриотичном поведении» на территории Германии, захваченной нашими войсками. Он организовал тушение горящего дома, в котором жила большая немецкая семья, спас берлинскую стенографистку и ее дочь. Эту женщину изнасиловали советские солдаты, и она вскрыла себе и дочери вены (они остались живы лишь благодаря его помощи и человеческому вниманию). Но, главное, в досье лежал рапорт Эфроимсона, поданный командованию, о фактах безнаказанного бесчинства наших солдат, которые насиловали женщин и даже девочек-подростков. С этим рапортом у него тогда были неприятности, но всё обошлось. И вот теперь, в 1949 году, рапорт использовали как повод для ареста.

Эфроимсон объявил в карьере Бутырской тюрьмы пятнадцатидневную голодовку, требуя, чтобы ему предъявили истинное обвинение. Позже он говорил: «следствие имело в своем распоряжении обстоятельный том, разоблачающий Лысенко – тот самый, который я передал в отдел науки ЦК». (Как он из ЦК попал к кзг-бистам? Какова роль Юрия Жданова?). «Весь ход моего следствия, всё, что со мной произошло, убедило меня в том, что органы являются главной опорой лысенковщины».

На этот раз Эфроимсону дали 10 лет. Снова тюремные нары, лагеря, каторжные работы, окружение уголовников. Не знаю, удалось бы ему выжить на этот раз, если бы не смерть Сталина. В

1955 году его освободили. Но не реабилитировали. Он не имел права жить в Москве, снимал угол в Клину. И с места в карьер включился в борьбу против лысенковщины, которая, поддерживаемая Хрущёвым, оставалась ещё в большой силе. Он направляет Генеральному прокурору СССР заявление против Лысенко и приложение к нему – рукопись в 250 страниц машинописи под заглавием «О подрыве сельского хозяйства Советского Союза и международного престижа советской науки». Несмотря ни на что, вопреки всему, Эфроимсон оставался патриотом своей Родины.

Лишь в 1956 году он переехал в Москву, но долго не мог устроиться на работу – две судимости по 58-й статье. Наконец, устроился библиографом в Библиотеку иностранной литературы, только благодаря замечательной женщине, Маргарите Ивановне Рудомо, директору этой библиотеки (которая сейчас носит ее имя).

Через несколько лет его взяли сотрудником отдела информации в Институт вакцин и сывороток им. Мечникова – реферировать литературу по генетике. И лишь в 1964 году Владимир Павлович возглавил в институте лабораторию генетики иммунитета. Он написал первую в СССР монографию по иммуногенетике, проложившую дорогу этому чрезвычайно актуальному направлению исследований.

Эфроимсона остро интересовали вопросы генетики психических заболеваний. В 1967 году он стал руководителем лаборатории генетики психических заболеваний в Московском институте психиатрии, провел ряд пионерских исследований в этой совершенно неразвитой у нас области науки, создал вместе со своими учениками, по сути, новое направление исследований. Но и здесь его плодотворная работа была прервана. Замаскированные лысенковцы, сохранившие за собой руководящие посты и его старый недруг академик Н.П. Дубинин (которого недаром прозвали «Лысенко № 2») добились того, что Эфроимсона, полного сил и жажды трудиться, отправили на пенсию.

Лишенный лаборатории, он занимался теоретической деятельностью, опираясь на полученные им экспериментальные данные и обобщая колоссальную информацию, накопленную в генетике и смежных с нею областях знания. В последние годы жизни он написал три выдающиеся по своему научному значению книги: «Этика и генетика», «Педагогическая генетика» и «Гениальность и

генетика», которые, несмотря на все усилия, он так и не смог опубликовать, ибо они не вписывались в господствующие идеологические догмы. Эти труды изданы лишь после его смерти. Две последние книги изданы мной с помощью замечательного человека Елены Артемовны Кешман (Изыумовой), которая в последние годы жизни Владимира Павловича была его добровольным секретарем и верным другом. Мы под одной обложкой издали не только указанные две книги, но и его статью «Родословная альтруизма», его обширное интервью, взятое у него незадолго до смерти и подготовленное к печати Еленой Артемовной, её биографическую статью о Владимире Павловиче, мою статью о нём и список его научных работ. Об издании этой книги я ещё расскажу позже.

Я написал о подвигнической жизни Владимира Павловича Эфроимсона столь кратко лишь потому, что она довольно подробно освещена в книге в его интервью и в наших статьях (см.: В.П. Эфроимсон. Гениальность и генетика. М., «Русский мир», 1998, 544 с. Приведенные выше цитаты взяты из этой книги).

Мы сблизились и подружились в 1980 году, после появления погромной статьи Н.П. Дубинина в журнале «Коммунист». Этот низкий, бесчестный человек, снискавший все мыслимые советские лавры (академик, Герой соцтруда, лауреат Ленинской премии и т.д. и т.п.), вполне оправдал свою фамилию, исполнял роль идеологической дубины. Он громил своих коллег, ведущих генетиков – академиком Б.Л. Астаурова, Д.К.Беляева и, конечно же, Эфроимсона (не имевшего никаких академических титулов; более того, еще в 1948 году у него отняли докторскую степень и возвратили ее лишь через пятнадцать лет).

В своей одиозной книге «Вечное движение», выпущенной Издательством политической литературы при ЦК КПСС тремя изданиями (каждое тиражом по 200 000 экземпляров), Дубинин предстает беззаветным борцом за идейную чистоту советской генетики, бессовестно переверывая ее историю. Чего стоит, например, такой пассаж: «В.П. Эфроимсон выступил с ошибочными взглядами о якобы генетической обусловленности духовных и социальных черт личности человека. Литератор В.В. Польшин начал пропагандировать старую евгенику. Это грозило уже серьезной идеологической опасностью, возникла почва, способная взрастить жажду некритического возмездия ошибок прошлого этапа. Вновь чуждая

идеология, направленная на подавление личности человека неоправданным биологическим диктатом, старалась проникнуть и отравить чистые источники нашей науки» (Дубинин Н.П. «Вечное движение». М., 1989, изд. 3-е, стр. 419.)

Дубинин тесно сотрудничал с Ильенковым, почти его словами «доказывал» в «Коммунисте», что наследственные факторы не играют никакой существенной роли в формировании личности, «разоблачал» «антимарксистскую сущность» позиции Астаурова, Беляева, Эфроимсона, настаивал их на путь истинный.

Крепко досталось в этой статье Дубинина и мне. Автор обвинял меня не только в «софистических рассуждениях» и «досужих умозрениях», но и в отступлениях от «азбучных истин исторического материализма», усматривал в моих работах «претензии на рекомендацию с совершенно чуждых нам научных и идеологических позиций». Приведя цитату из моей книги «Психические явления и мозг», он с пафосом восклицал: «Тут налицо открытая ревизия марксистско-ленинского понимания природы сознания» (см. Дубинин Н. Наследование биологическое и социальное. «Коммунист», 1980, № 11, стр. 72–73).

Сейчас, наверное, можно даже гордиться, что в брежневские времена никого из философов так не «долбали» в партийной печати, как меня. Тогда все, что писалось в «Коммунисте» – органе ЦК КПСС – почиталось за истину в последней инстанции. Вокруг меня на какое-то время образовалось нечто напоминающее вакуум. Многие коллеги старались избегать контактов, академик Н.П. Бехтерева, с которой я тесно сотрудничал, резко прекратила общение со мной. С такими клеймами «Коммуниста» наверняка выгонят с работы и из партии. На всякий случай, лучше держаться подальше. (Как я уже говорил, меня своей широкой спиной прикрыв Владимир Спиридонович Готт).

Именно в те дни Владимир Павлович позвонил мне и пригласил в гости. Жил он один в трехкомнатной квартире панельного дома, на первом этаже недалеко от метро «Юго-Западная». Все комнаты забиты книгами, рукописями, однако, в квартире чисто. Мы долго беседовали, пили чай. Владимир Павлович рассказывал о Дубинине, «этом талантливом прохвосте», ведь он знал его со студенческих лет.

Главным идейным руководителем и теоретиком «выдающегося эксперимента» был Ильенков. Он выступал в роли духовного отца и наставника четверых слепоглухонемых, демонстрировал их публичке, напечатал статьи в «Вопросах философии» и «Коммунисте», в которых проводил крайнюю социологизаторскую точку зрения по вопросам формирования личности, призывал философов широко использовать результаты этого «эксперимента» в разработке марксистско-ленинской теории личности, в обосновании марксистской идеологии в целом (см. Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента. «Коммунист», 1977, № 2; см. так же: «Вопросы философии», 1975, № 6).

Позицию Ильенкова активно поддерживала знакомая уже нам компания – А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Ф.Т. Михайлов, Н.П. Дубинин, Юрий Жданов, главный редактор «Коммуниста» Р.И. Косолапов и др. «Выдающееся достижение» отметили Государственной премией. По этой теме уже к началу восьмидесятых годов было защищено более десятка философских диссертаций. Вначале мой друг Геннадий Гургенидзе тоже страстно поддерживал Ильенкова – не его теоретические взгляды, а благородную миссию помощи слепоглухим. Как и он, я верил в результаты «эксперимента», одобрял столь гуманные цели, хотя не разделял «теоретических обоснований» Ильенкова, чья концепция «целенаправленного формирования человеческой психики» получала всё большую поддержку не только государственных и партийных органов, но и среди философов. Согласно этой концепции всё зависит от воспитателя, наставника, факторы наследственного порядка и самовоспитания, самосовершенствования не играют никакой существенной роли.

Однажды случайно я оказался на вечеринке у аспирантов в нашем университетском общежитии. Я обратил внимание на молодую, незнакомую женщину, скромно сидевшую в углу. Узнав, что я – Дубровский, она встрепелась и сразу подошла ко мне, сказала, что давно хотела познакомиться со мной, у нее важное дело. Мы вышли в коридор. Оказалось: она сотрудница Института дефектологии, специалист по обучению слепоглухих детей, является вот уже несколько лет учителем знаменитой четвёрки. Ей невозможно видеть, как Ильенков «руководит» её подопечными, как он раздувает «липу».

С тех пор я был частым гостем в его доме, мы постоянно перезванивались, я давал ему читать свои статьи, подготовленные к печати, и он выступал жёстким критиком. В свою очередь, он давал мне читать свои работы. Думаю, я одним из первых прочел рукопись «Гениальности и генетики» и далее был свидетелем ее многотрагической судьбы (это описано в моей статье «Об авторе и его книге»).

Когда вышла статья Дубинина в «Коммунисте», многие, в том числе и я сам, удивлялись: с какой это стати он столько внимания уделил моей особе, процитировал ряд моих работ, выхватив из них, причем так продуманно, наиболее «криминальные» места? Да и по стилю кусок статьи, посвященный мне, отличался от остального текста. Со временем выяснилось, что эта часть была написана близким другом Ильенкова, заместителем главного редактора «Коммуниста» Науменко. (Он пришел в «Коммунист» из философской епархии, являлся доктором наук, числился ведущим специалистом по диалектической логике). Дубинин, понятно, не возражал против такой вставки.

И тут нужно объяснить, почему я стал мишенью для тяжелой артиллерии «Коммуниста», попал в лестную для меня кампанию Эфроимсона, Астаурова и Беляева.

В конце семидесятых годов вся печать трубила о выдающемся, небывалом в мировой практике достижении советской науки. Четверо молодых людей, слепых и глухих от рождения, закончили психологический факультет МГУ. Они были обречены на животное прозябание, но, благодаря новым методам обучения и воспитания, разработанным на основе марксистско-ленинской теории личности, смогли обрести человеческое сознание, обучиться языку и подняться к вершинам культуры. Это – блестящее доказательство истинности и силы марксистско-ленинской теории личности, которая противостоит биологизаторству, ибо в данном случае человеческая психика создана с нуля воспитателем.

Подобные факты достижения слепоглухими высокого уровня культурного развития в общем-то хорошо известны. На Западе это была Елена Келлер, у нас – Ольга Скороходова. Но они утратили зрение и слух в возрасте 3–4 лет, имея уже зрительный и слуховой опыт и сформировавшуюся речь. А тут дело принципиально иное: обучение велось с полного нуля.

«Какую «липу»? – спросил я? «А разве вы не знаете?». «Что именно?». «Ну хотя бы то, что никто из них не был слепоглухим от рождения. Они утратили зрение или слух довольно поздно, у всех у них сформировалась словесная речь. Кроме того у двух из них имеются существенные остатки слуха, а у двух других – зрения».

Я был поражен. «Какие доказательства?». «Сколько угодно – сказала она. – У нас в Институте хранятся их истории болезни, где всё четко записано. Но основные данные можно получить и из книги А.И. Мещерякова «Слепоглухонемые дети», хотя там не указываются фамилии». Она привела еще один факт. Недавно (в 1978 году) в Алма-Ате вышла книга трех авторов: С.А. Сироткина, А.В. Суворов, Э.К. Шакинова «Обретешь друзей». Первые двое – слепоглухие, которые откровенно рассказывают о своем жизненном пути, не скрывают, что могут говорить с друзьями по телефону, общаться между собой с помощью голоса. Третий автор – Эльвира Кипчаковна Шакинова, кандидат философских наук, известная в Казахстане писательница – друг и помощник Сергея Сироткина (позднее ставшая его женой), настоящий подвижник дела социализации слепоглухих детей. (Она тщательно изучила особенности процесса их обучения, их специальный язык, знала реальное положение вещей и, будучи человеком честным, не могла не вступить в конфликт с Ильенковым. Несколько лет спустя, когда мы познакомились, она рассказывала, какой гнев вызвала у Ильенкова книга «Обретешь друзей», как он называл авторов «предателями» и какие меры распространения книги. Обо всем этом можно, кстати, прочесть в докладе и статье С.А. Сироткина и Э.К. Шакиновой в книге «Слепоглухонемота: исторические и методологические аспекты. Мифы и реальность». М. 1989).

Узнав такие сногшибательные факты, я решил во что бы то ни стало познакомиться с историями болезни. Сделать это открыто невозможно. Я просил свою новую знакомую помочь. Она охотно согласилась. Но как это сделать? Надо, чтобы никто из сотрудников института меня не видел. У входа же днем и ночью сидит сторож.

Далее следует детективная история. В двенадцатом часу ночи в темном углу двора я подкрался к отворенному для меня окну второго этажа. Не без труда влез в него и попал чуть ли не в

объятия моей сообщницы. Она провела меня в крошечной темноте по длинному коридору в комнату, где на столе уже лежали четыре пухлые папки историй болезни. Я просидел над ними больше часа, сделал необходимые выписки и тем же путем покинул здание. Она же, разбудив сторожа, вышла, не вызвав подозрений («работала над диссертацией»). Я поймал такси и отвез ее домой.

Тщательно проработав книги «Слепogлухонемые дети» и «Обретение друзей», все публикации Ильенкова, материалы философов и психологов на эту тему, специальные труды дефектологов, я стал в своих лекциях разоблачать «липу». А тогда я читал регулярно лекции не только для студентов и аспирантов МГУ, но и в Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук при МГУ, в котором стажировались философы со всех концов страны. Приглашали меня прочесть лекцию по теме «Сознание и мозг» даже для слушателей Академии общественных наук при ЦК КПСС. Всюду, по малейшему поводу, я излагал результаты моих изысканий о слепоглухонемых. Это, конечно, вызывало у аудитории сильные эмоции.

Прошел примерно месяц (это было в начале 1980 года). Меня вызвали в партком МГУ. Невысокого ранга чиновник, кажется инструктор отдела пропаганды, протянул мне лист уборщицы машинописи и сказал: «Прочтите внимательно и напишите, пожалуйста, объяснение». Я стал читать: Дубровский и его последователи (именно так – «последователи») пытаются опорочить выдающиеся достижения советской науки, злобно клеветуют на замечательных советских ученых и четверых выпускников МГУ, обливают грязью светлые образы Ильенкова и Леонтьева (они оба недавно умерли) и т.д. и т.п.

Подписи нет – анонимка. Я спросил, кто авторы? «Это в данном случае не имеет значения». Я возмутился: «С какой стати отвечать анониму?». «Нет, вы должны написать ответ». В сердцах я сказал: «На анонимки отвечать не буду. Сами отвечайте!». И, протягивая ему письмо, вдруг заметил, что под ним есть еще один лист. Я открыл его и увидел: на бланке журнала «Коммунист» напечатан следующий текст (помню его дословно): «В партком МГУ. Направляем вам письмо о деятельности профессора Дубровского. Просим его внимательно рассмотреть и принять меры, оно дает повод для серьезных раздумий и выводов. Зав. отделом науки и

культуры Г. Волков» (тоже доктор философских наук, друг Ильенкова, Науменко, Косолапова).

Я совсем уж разволновался: «Раз так, я отвечаю!». Взял лист бумаги и написал: да, действительно, я неоднократно выступал с критикой «выдающегося достижения», располагаю для этого всеми необходимыми данными и документами. Советская наука не нуждается в подтасовке и приписках. Считаю своим долгом разоблачать эту фальсификацию и буду это делать везде и всюду, где представится возможность. Подписался и отдал чиновнику, у которого стал растерянный вид.

И вот после этого ребята из «Коммуниста» решили дать по мне залп из орудий главного калибра. Разумеется, ответить в печати на статью Дубинина, т.е. фактически «Коммунисту», было немислимо. Я делал это лишь устно, в лекциях для студентов; в других местах долгое время мне лекций читать не давали. Лишь с началом перестройки привычные запреты стали ослабевать и появились возможности для нормальной дискуссии. В конце восьмидесятых годов мы на заседании секции «Психорегуляция, самосовершенствование и резервные возможности человека», которой я продолжал руководить, организовали комплексное обсуждение проблемы слепоглухонемоты. В нём приняли участие ряд ведущих философов, психологов оба директора двух наших Институтов психологии и все крупные специалисты в области дефектологии и тифло-сурдопедагогике. Материалы этого обсуждения были изданы в виде отдельной книги, вышедшей в 1989 году (ее название и выходные данные упоминаю выше). Хотя и с опозданием, но правда, наконец, восторжествовала.

В отличие от моих коллег Владимир Павлович Эфроимсон с самого начала скептически относился к «выдающемуся достижению советской науки»: «очередной блеф», «спекуляция на альтруизме» – не раз заявлял это во всеуслышание. Он просмотрел обширную западную литературу по вопросам воспитания и обучения слепоглухонемых детей и объяснял мне сугубо медицинские вопросы. Я удивлялся, как быстро ему удавалось находить в каталогах нужную литературу, молниеносно оценивать важное, отбрасывать несущественное.

В Центральной библиотеке им. Ленина («ленинке», как тогда ее называли) он чувствовал себя, как дома. У него там было свое по-

стоянное место – отдельный стол (с горой заранее заказанных книг). Служители библиотеки относились к нему, как своему человеку, и обожали его, свидетелем чего я бывал неоднократно. Работая над последними своими тремя книгами, Владимир Павлович почти ежедневно приходил в библиотеку к десяти часам утра и уходил в десять вечера. Тот объем работы, который он выполнил в последние годы, выглядел для меня фантастикой. Только для написания книги «Гениальность и генетика» ему пришлось прочесть, прореферировать, просмотреть около десяти тысяч источников на шести языках. Гигантский объем информации сконцентрирован в книге в описаниях патографий более ста пятидесяти гениев – первой сводке такого рода в мировой литературе.

Мы часто встречались с Владимиром Павловичем в «ленинке». Там он во время перерывов часто прогуливался с таким же завсегдатаем читального зала № 1 (для докторов наук и профессоров), своим другом Иосифом Абрамовичем Рапопортом, с которым меня и познакомил. Об этом удивительном человеке я чувствую себя обязанным, хотя бы кратко рассказать.

Маленького роста, полноватый, подвижный, с черной повязкой нанкось лба, прикрывающей левый глаз, как у Кутузова, Рапопорт большей частью спорил с Эфроимсоном о каких-то сложных генетических материях. Он тоже был учеником Кольцова, но в отличие от Эфроимсона, которому после отсидки по 58-й статье, запретили жить в Москве, Рапопорт работал перед войной несколько лет в знаменитом Институте экспериментальной биологии под непосредственным руководством Кольцова. Институту долго удавалось выдерживать оголтелый напор Лысенко и его подручных. Но в конце концов Кольцова сняли с поста директора, в 1940 году арестовали Николая Ивановича Вавилова, великого русского ученого (умершего в тюрьме), в декабре того года, не выдержав преследований, внезапно скончался Николай Константинович Кольцов. Однако, в начале 1941 года Рапопорту удалось опубликовать свою статью, обобщавшую результаты его исследований по химическому мутагенезу. Впервые в мировой науке был открыт химический механизм мутаций, создано новое направление фундаментальных исследований в генетике. Честь этого открытия безусловно принадлежала Рапопорту. Лишь через несколько лет ис-

следования в этом направлении начались в Англии Шарлоттой Ауэрбах.

В первые дни войны Рапопорт добровольно ушел на фронт, хотя имел «бронь» как кандидат наук. Он прошел всю войну – от первого месяца до последнего, показал себя в полном смысле слова героической личностью, отважным и умным командиром. Он командовал взводом и ротой, лично вел бойцов в атаку, выводил их из окружения. Иосиф Рапопорт стал командиром десантного батальона, руководил рядом дерзких успешных операций. Отборные ребята десантного батальона беззаветно любили своего командира, готовы были идти за ним в огонь и воду.

Эфроимсон рассказывал, как батальон Рапопорта в конце сорок четвертого захватил большой мост через приток Дуная, подготовленный немцами к взрыву, и с ходу в жестоком ночном бою выбил из венгерского городка немецкую моторизованную дивизию, конечно, изрядно потрепанную в боях, но дивизию! У немцев был закон: если командир без приказа сдал город, он должен взять его обратно во что бы то ни стало. Зная это, Рапопорт приказал поднять всё мужское население городка и строить баррикады на танкоопасных направлениях. Как только рассвело, немцы начали атаки. Батальон держал город до часу дня, пока не подоспели силы корпуса. Почти половина состава батальона полегла в этом бою, Рапопорт был дважды ранен – в руку и в плечо, но остался в строю. Ранения оказались сравнительно легкими и его лечили в боевой обстановке.

На следующий день Рапопорту приказали взять сильно укрепленный населенный пункт, атаковать его в лоб, без артиллерии и танков. Сильно поредевший батальон, измотанные до крайности бойцы нуждались в отдыхе, не хватало боеприпасов. Он заявил: «Сам пойду. А ребят класть не дам!». За невыполнение приказа его арестовали. Узнав об этом, бойцы горой встали за своего командира, начали шуметь. Опасная штука. Как посмотрит вышестоящее начальство? А тут немцы поднажали, надо держать оборону. Рапопорта освободили и вернули в батальон. Но зато отменили представление его к званию Героя Советского Союза. Об этих фактах я позже прочел в мемуарах какого-то военачальника (забыл его фамилию, помню только, что во время войны он командовал корпусом).

Иосифа Абрамовича Рапопорта четырежды представляли к званию Героя Советского Союза (в его батальоне их было около десятка). Но это звание он так и не получил. Подводила прямота характера, строптивость, неумение подлаживаться к начальству. Правда, разных орденов и наград у него было много – полный иконостас.

Вот уж кто родился в сорочке! Пройти всю войну и остаться в живых! Как фронтовик, я хорошо представляю, что значит быть командиром взвода, роты, а особенно командиром десантного батальона. Это значит постоянно быть под пулями, под обстрелом, попадать со своими бойцами в немыслимые переплеты, на каждом шагу рисковать жизнью. Долго не провоюешь! А если ты хороший, совестливый командир, то тем более – во многих ситуациях надо быть впереди, показывать пример.

Рапопорт был несколько раз ранен, три раза – тяжело. После каждого тяжелого ранения, вопреки заключениям врачей, возвращался на передовую. Будучи командиром десантного батальона, он получил тяжелейшее ранение и чудом выжил. Пуля попала ему прямо в глаз и пробила голову навывлет. Редчайший случай – выжить. Но и после этого ранения он вернулся в свой батальон и прошел с ним до конца войны. В самые последние ее дни, он, рискуя жизнью, спас от расстрела с воздуха колонну плененных немцев, захваченных его батальоном.

Сразу после окончания войны майор Рапопорт демобилизовался и продолжил свои исследования в области химического мутагенеза. До 1948 года он успел опубликовать полученные им результаты, имевшие фундаментальное значение. Именно успел, так как в дальнейшем у него отняли возможность заниматься любимой генетикой.

В августе 1948 года состоялась печальной памяти сессия ВАСХНИЛ, на которой доклад, одобренный Сталиным, зачитал народный академик Лысенко. Его оппоненты боялись выступить против, знали, чем это им грозит. Лишь несколько человек решились возражать Лысенко, и лишь один выступил резко, бескомпромиссно, называя вещи своими именами и прямо обвиняя Лысенко в обскурантизме. Это был Иосиф Абрамович Рапопорт. С черной повязкой через глаз, в военном мундире, увешанном множеством боевых наград, он пробился к трибуне и гневно за-

клеивал Лысенко и его камарилью. Удивительно, что это выступление было полностью напечатано в томе материалов августовской сессии ВАСХНИЛ, каждый может его прочесть. Чтобы решиться тогда так выступить, надо было иметь больше храбрости, чем у командира десантного батальона в бою.

Что последовало дальше – ясно. Его, доктора наук, выгнали с работы, исключили из партии, запретили занимать какие-либо должности в научных учреждениях. Более десяти лет он был оторван от любимого дела, работал сторожем, рыл землю в геологических партиях, под чужим именем готовил рефераты зарубежных работ в Институте информации (как много общего с Эфроимсоном!). Лишь благодаря настойчивости и смелости академика Семёнова ему удалось вернуться к научной работе. Прошло более сорока лет после того, как Иосиф Абрамович Рапопорт опубликовал свои пионерские работы по химическому мутагенезу, имевшие помимо чисто научного, огромное народно-хозяйственное значение. Наконец-то власть смилиостивилась. Его избрали членом-корреспондентом Академии наук, он стал лауреатом ленинской премии и даже, если не ошибаюсь, Героем социалистического труда. Все эти почести давно уже ему были ни к чему. Я хорошо помню, как мы однажды втроем пили чай в столовой «Ленинки», и Рапопорт похабно иронизировал по поводу своих последних регалий.

Иосиф Абрамович Рапопорт, которого так щадили пули и снаряды, погиб в 1990 году, сбитый на пешеходном переходе машиной (слева не видел!). Он пережил Эфроимсона на один год.

Думаю, мой краткий рассказ дает некоторое представление о силе духа, таланте, самоотверженности этого человека. Недавно мне было приятно увидеть, что его помнят в нашей клиповидной жизни. «Независимая газета» напечатала большую статью с фотографиями «Отец химического мутагенеза: как Рапопорт свою Нобелевскую премию не получил» (19 июля 2000 г.). Особенно интересно было смотреть на его фотографии: одна 1941 года, где он, совсем молодой, в форме младшего лейтенанта, вторая 1945 года, на которой Рапопорт в погонах майора, с повязкой, прикрывающей левый глаз, со многими орденами на груди, стоит рядом с тремя офицерами.

Владимир Павлович умер в июле 1989 года. Я находился в Китае. Поэтому не мог принять участия в похоронах. Его похоронили на кладбище Донского монастыря рядом с родителями.

Так уж вышло, что я не участвовал в похоронах ни одного из трех самых дорогих мне людей. И в этом, быть может, есть некое знамение. Множество раз я видел, как «отдают последний долг». Видел, как это трудно, утомительно для людей, не раз остро улавливал в лицах, выражении глаз фальшь «глубокой скорби», желание поскорее закончить эту тягостную процедуру. Реальная человеческая память, чувства любви, благодарности живут только в душах людей, поэтому мне лично не нужны похороны. Я оставил Ире завещание: никаких похорон, кладбищ, памятников! После моей смерти труп кремировать, пепел развеять – где угодно, хоть бы и в парке напротив моих окон.

Примерно за год до своей смерти Владимир Павлович отдал мне один из последних вариантов рукописи «Гениальности и генетики». Он постоянно ее дорабатывал в надежде на скорое издание, которой, к великому сожалению, не дано было сбыться. Я – свидетель его многолетних хождений по мукам. Мои попытки помочь ему с публикацией книги ни к чему не приводили.

Наступили новые времена, но Владимира Павловича уже не было в живых. Появились частные издательские фирмы. Одна из них охотно взялась опубликовать книгу Эфроимсона, надеясь на значительную прибыль. Я написал к ней предисловие и отдал рукопись. Потянулись долгие месяцы. Всякий раз, когда я справлялся о продвижении дела, меня бодрым голосом заверяли, что вот-вот будет верстка, что надо еще немного подождать. Так прошло месяцев десять. Случайно я узнал, что фирма обанкротилась, и мне с огромным трудом удалось забрать рукопись, моё предисловие они утерли. Через два года история повторилась, но с худшим результатом: издательство внезапно исчезло, а вместе с ним и рукопись. К тому времени я стал зарабатывать деньги и получил возможность издать книгу за свой счёт. Однако, я не смог этого сделать, как уже говорил, без помощи Елены Артёмовны Кешман, которая переехала в Израиль. У нее хранились последние два варианта рукописи многострадальной книги. Я поехал к ней и лишь благодаря ее глубокой заинтересованности и бескорыстному труду книга была подготовлена к печати. Я постарался издать ее в лучшем виде.

Когда речь идёт о новом времени, имеются в виду не столько годы так называемой «перестройки», сколько период, последовавший за августовским путчем. Сегодня 19 августа 2000 года. Ровно девять лет назад мы услышали странное выражение «ГКЧП», узнали, что Горбачёву нездоровится, а президентские обязанности исполняет товарищ Янаев и могли весь день наслаждаться по телевизору «Лебединым озером».

С самого начала путч приобрел налет фарса. Это выразилось в манере сообщений по телевидению, в дряблости лиц, поведении, интонациях речи руководителей ГКЧП во время их пресс-конференции. Такие ничтожества явно не способны на резкие, решительные действия. Помню, у меня с самого начала возникла уверенность, что ничего страшного не произойдет.

Вечером я поехал в центр. На Манежной площади стояла пара танков, на которых сидели юные, улыбочивые солдатики, охотно общавшиеся с народом. А окружающего танки народа было человек двадцать, половина из них – мальчишки. По площади разгуливали, как ни в чем не бывало, не более сотни человек. Я направился по улице Горького (теперь она «Тверская») к Центральному телеграфу. Ее перекрыли для транспортёра и по ней тоже спокойно разгуливали небольшие группы людей, в их глазах ни малейшей тревоги, одно любопытство, ожидание «интересного». Центральный телеграф закрыт, у входа – рослые симпатичные солдаты с гвардейскими значками. Я спросил: «Неужели будете стрелять в народ, если прикажут?» Один из них, улыбаясь, ответил: «Не бойтесь, мы все понимаем!»

Я спустился снова на Манежную площадь. У обращенного к ней фасада гостиницы «Москва» стояла импровизированная трибуна (сделанная, если не изменяет память, из ряда обычных канцелярских столов). С нее в мегафон по очереди вещали двое речистых парней. Они чуть ли не матом крестили путчистов. «Эта мразь, засевшая в Кремле...». «Эти выродки... Видели, как у этого алкаша тряслись от страха руки?...» (о Янаеве во время пресс-конференции по телевидению).

Ребята с мегафонами сообщали последние новости, подбадривали народ, призывали идти на защиту Белого Дома (здание правительства РСФСР на Краснопресненской набережной, где забаррикадировались сторонники Ельцина), указывали лучшие маршру-

ты движения к нему, много раз повторяли наиболее выразительные места из Указа Ельцина, в котором путчисты именовались преступниками.

Рядом спокойно прохаживалось несколько милиционеров. Выступавших с мегафонами слушало человек двести, не более, слушали сочувственно, однако, без особых эмоций. Во многих местах на улице и в метро расклеен Указ Ельцина, отпечатанный не типографским способом, а обыкновенной машинописью и во множестве ксерокопированный. Текст умещался на одном небольшом листке, его трудно было читать. Около него стояли кучки людей – голова к голове, иногда кто-то читал остальным вслух. Народ в массе своей поддерживал Ельцина, осуждал путчистов, но нигде я не видел накала страстей, все вокруг спокойно: кто разглагольствует и газетует вокруг, а кто торопится по своим делам. Побродив еще раз по улице Горького, я скоро поехал домой, получив подтверждение своего первоначального чувства несерьезности путча.

Весь следующий день я провёл дома. По телевидению десятки раз повторяли сообщение ГКЧП (сочетание-то букв какое!) и без конца транслировали классическую музыку в исполнении лучших артистов, выступали какие-то народные ансамбли. В общем было «весело». Я слушал радио «Эхо Москвы», клеймившее путчистов. Ближе к вечеру оно стало нагнетать тревогу: готовится штурм Белого Дома, в Москву подтягиваются войска. «Все – на защиту Белого Дома!» Мне не верилось, что, действительно, дело принимает грозный оборот, но радио уж слишком настойчиво, почти истерично, звало меня на защиту демократии. Чем чёрт не шутит, а вдруг и правда? Было восемь часов вечера, и я решил идти.

Вокруг Белого Дома – огромная толпа, говорили, к вечеру собралось тысяч пятьдесят. Начался дождь. С лицевой стороны Белого Дома и той, которая ближе к Калининскому проспекту, стояла цепь защитников. Среди них много бывших афганцев и военных, преобладали молодежь. Но в цепи я видел капитана первого ранга моих лет при полном параде, других пожилых людей. Недалеко стоял еще один капитан первого ранга, довольно молодой, высокий, державший раскрытый зонт над головой женщины, видимо его жены, которую он обнимал одной рукой. Выделялась группа хорошо экипированных против дождя ребят (в целлофановых

вых накидках с капюшоном, в сапогах). Они следили за порядком в цепи.

С лицевой стороны Белого Дома возведено подобие баррикады: груды какого-то металлолома, несколько перевернутых грузовиков, троллейбусы, перегораживавшие дорогу, в них полно людей, на крыше тоже группки со знаменами России. Рядом – несколько танков, на которых окруженные всеобщей любовью танкисты в шлемах (говорили, что у них отсутствовали боевые заряды). Танки окружала цепь решительного вида парней.

Да, баррикады – фиговые, и вся защита – тоже. Не надо быть солдатом с боевым опытом, как у меня, чтобы понять: тут нужна пара-тройка танков, пяток бронетранспортеров и все будет сметено, раздолбано и раздавлено. Единственная надежда, что не решатся стрелять в безоружных людей, давить «живое кольцо» (как позже назвали защиту Белого Дома). Будучи захвачен общим подъемом, неким праздничным настроением от причастности к общему правому делу, я какое-то время сдерживал себя от потребности трезвой оценки «обороны», обходя вокруг Белого Дома. А если действительно пойдут на штурм? Что тогда делать? Есть ли у защитников оружие? Кто организатор, кто продумал наши возможные действия? Но постепенно эти мрачные мысли отступили – что толку сейчас думать об этом? И опять возобладала уверенность, что все обойдется.

Я бродил в толпе, всматриваясь в лица. В большинстве своем это были люди интеллигентного вида, часто встречался знакомый мне типаж по турпоходам. Они жгли под дождем костер, распевали под гитару песни, укрывшись зонтами и пленкой. Давно я не видел такого обилия приятных и значительных лиц, давно не испытывал такого острого чувства родства, единения с массой. Женщины в белых фартуках разносили бесплатно вкуснейшие бутерброды с колбасой и горячий кофе, который наливали в бумажные стаканчики (один я сохранил на память). Дождь лил, не переставая. У меня был зонт и фотоаппарат, я делал снимки из под зонта, придерживая его одной рукой (несколько снимков получилось: компания у костра, юноша с одухотворенным взглядом, поднявший сжатый кулак).

До двенадцати ночи я стоял в плотной толпе под дождем с тыльной стороны Белого Дома, где расположен длинный балкон, с которого выступали ораторы. Я взял под зонт пожилого, совер-

шенно лысого человека, стоявшего рядом, из-за чего у меня совершенно вымок левый бок и стало холодно. Надо двигаться. Я выбрался из толпы митингующих, стал обходить Дом, направляясь к его фасаду. И тут возник первый за все время момент напряженности. К баррикаде у начала Калининского проспекта, чуть выше СЭВ а (теперь здание Московской мэрии), подходили бронетранспортеры. Они остановились, но ревели моторами, мигали огнями и, казалось, были готовы ринуться вперед. Однако, дальше они не пошли и, точно уж не помню, то ли заглушили моторы, то ли отправились восвояси.

Вскоре народ опять напрягся: несколько раз вдалеке раздавались автоматные очереди. Потом кто-то пугал, пуская ракеты: бабах! – все вздрагивали, и над толпой взмывала ракета. Очередная напряженность возникла около четырех утра, прошел слух, что по Минскому шоссе движется танковая колонна и моторизованная пехота. Минуту больше часа, тишина, дождь перестал, тучи стали рассеиваться, вставало солнце. Поняв, что «дела не будет», я отправился домой, весь вымокший и оочевенный. До Раменок не близко, быстрым шагом больше часа. Скоро от меня шел пар. Я пришел домой в приподнятом настроении. Теперь ясно: этим ребятам из ГКЧП приходит конец, и, судя по передаче «Эхо Москвы», можно спокойно идти спать.

В тот же день я записал свои впечатления о ночи, проведенной у Белого Дома, которые выше воспроизвел в основных чертах. В конце у меня было написано: «Надо наградить путчистов последними орденами Ленина за выдающийся вклад в ускорение социальных преобразований в России». Я опускаю несколько фраз, в которых выражался мой чрезмерный оптимизм. Действительно развитие более хитроумно, противоречиво, чем этого хотелось бы. Однако, несомненно, что после путча, развала СССР, вместе с правительством Гайдара и единодержавием Ельцина, мы вступили в новый исторический этап.

Новые времена дали интеллигенции столь долгожданную свободу, но ввергли в нищету. Я работал ведущим научным сотрудником Института философии в секторе философской антропологии, которым заведовала Людмила Пантелеевна Буева, сохранявшая во все времена и при любой погоде порядочность и доброе отношение к людям. Платили всем нам гроши. Испытав

острейшие унижения нищетою, я постепенно многое переосмыслил. В самом деле, с какой стати мне кто-то что-то *должен!* Подумаешь, доктор, профессор, интеллигент! Да ты обычный человек! Всей этой массе окружающих наплевать на твои «чинь», профессорские амбиции. Такой ты им не нужен, не нужен ты и государству, не нужен новым кланам, стоящим у руля политических партий, средств массовой информации, бизнеса (сколько раз я писал публицистические статьи, заметки, критические эссе, отклики о деятельности политиков, о наших телевизионных звездах, – и смею думать, весьма интересные по содержанию и форме, посылал их в газеты и журналы, но меня не печатали, даже не отвечали; однажды лишь «Неделя» опубликовала маленькую критическую заметку о вездущем НТВ Евгении Киселеве).

Теоретически, абстрактно, наверное, такие люди, как я, все-таки нужны обществу и государству. Но реально я остаюсь нужным лишь самому себе и своим близким. Такое время. Ну, что ж, «у нас в запасе вечность». «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!». Не хочешь быть нищим, не хочешь ходить с протянутой рукой, просить, чтобы издали твою статью, книгу, – сам зарабатывай деньги.

Вначале я издавал журнал по восточным единоборствам «Черный пояс», потом газету «Кумитэ», но скоро потерпел поражение – нет опыта, мало денег, много иллюзий, обман со стороны партнеров, неудачные стечения обстоятельств. Я потерпел еще добрый десяток поражений, пока не добился определённого успеха (создал с партнером небольшое, но эффективное производство). Это позволило обрести материальную независимость, обеспечить дочь и внуков, издавать в благотворительных целях книги.

Мне пришлось погрязнуть с головой в мутную среду дельцов разного калибра, алчных чиновников, аферистов, полубандитов, наглых, самодовольных нуворишей, всевозможных отморожков, стремящихся любой ценой урвать свой куш. Боже, с какими только проявлениями человеческой низости, пошлости, бессовестности мне не приходилось сталкиваться за последние шесть-семь лет! Привычный камуфляж отброшен, во всей красе обнажились инстинктивные начала. Свобода!

Деньги, деньги и еще раз деньги – всеподавляющая страсть и главный способ самоутверждения, утоления тщеславия, жажды

власти и удовольствий. Скучный балаган разгула низменных страстей, базарной перебранки, окровавленных трупов, насилия и обмана, торжества посредников и посредственности. Время жестокого отбора на элементарную порядочность. Меня много раз обманывали люди, которым я целиком доверял. Мой близкий приятель, можно сказать друг (я знал его как интеллигентного и порядочного человека в течение почти двадцати лет), вымолил у меня в долг большие деньги и нагло обманул.

Это было время тяжелых испытаний и самопознаний для меня самого, испытаний веры в себя и людей. Время обнажения личностного ничтожества, замаскированного ранее научными титулами, высоким социальным положением и благополучием. Слишком ярко выступил контраст между интеллектуальными способностями, философским многознанием, с одной стороны, и личностным ничтожеством, с другой, т.е. ничтожеством характера и воли. Какой жалкий вид обрели многие мои прежние друзья-приятели в новых условиях! И я все чаще думаю, что нищета, упадок личностного достоинства есть выражение нищеты духа и воли. Дай человеку свободу, и ты увидишь, каков он на самом деле, на что способен. Слишком многие представители так называемой творческой интеллигенции, почитавшие себя солью земли, в нынешние переломные времена выказывают лишь непомерный критицизм, старческое брюзжание против власти, свою обиду, душевную и духовную мелкотравчатость. Производители виртуальных миров, нагромождающие абсурд и уныние, вместо укрепления жизнестойкости.

Да, эта жизнь далека от совершенства, то и дело окунает тебя в грязь, мерзость, надо отмываться, отдуваться, собираться с силами, трудиться до изнеможения, надеяться и верить, напрягать мысль, перебарывать соблазн улизнуть в болезнь, в дешевый самообман, в умиротворяющий скептицизм. И не дай бог впасть в мизантропию, перестать видеть в людях лучшие качества, разучиться радоваться им. У меня есть друзья, проверенные новым временем, с которыми готов «идти в разведку», я уверен в их честности и порядочности, как в самом себе (например, мой ученик в каратэ и бывший деловой партнер Сергей Кавицкий). Нельзя, чтобы негативные черты характера человека, его слабости закрывали то лучшее, что есть в нем. Да и сам ты ведь не ангел с крылышками!

308

Нигде люди не достигают таких высот творчества, как в области самообмана и самооправданий. Здесь их игры с самими собой приобретают необыкновенную утонченность, обеспечивая чувство собственной правоты, чувство вины другого человека и т.п., а в конечном итоге желаемый «выигрыш». Хотя таким способом мы поддерживаем нашу психическую целостность, это не может целиком устранить предательское чувство умаления собственного достоинства. И нам ничего не остается для подлинного самоутверждения, кроме благоверных действий. Как в известной детской игре «Сделай сам!» Добейся поставленной цели, сделай своими руками, умом что-то подлинно ценное, важное, значимое для людей. Чтобы кто-то поблагодарил тебя! В благодарности заключен простейший и вместе с тем фундаментальный человеческий *смысл*. Вот, что я хотел бы сказать в заключение своим внукам.

Я благодарен судьбе за то, что, пройдя войну, не был убит, как миллионы моих соотечественников, и еще прожил более пятидесяти пяти лет, что стал свидетелем и участником исторических перемен в России, что до сих пор сохраняю бодрость духа и тела, способен работать по шестнадцать часов в сутки, чувствую себя полноценным человеком. И таким останусь до последнего часа! Ибо для меня утрата полноценности и есть конец жизни.

Последние лет десять сильно способствовали моему философскому просвещению, погруженность в практическую жизнь создала стимулы для новых по своим векторам размышлений о природе человека и смыслах нашего существования, путях земной цивилизации. Я бы мог многое сказать об этом своим потомкам, было бы, конечно, интересно, чтобы они лет через пятьдесят сопоставили мои соображения с действительностью. Но здесь не место для философских штудий. Может быть мне еще удастся закончить работу, которую я начал но из-за крайней слабости стимулов к писанию всё откладываю. Для кого и зачем писать? Кому интересны мои соображения? Столько написано уже и пишется, пишется! В последнее время, однако, я стал испытывать некоторое оживление стимулов. Писать надо для своих внуков и их детей, им это наверное будет интересно, они обязательно прочтут, подумают. А там, глядишь, может быть прочтет еще кто-нибудь. Но я все же

309

до конца не уверен, будет ли в этом сколько-нибудь существенный смысл.

Обилие новоявленных пророков, их жалкие потуги способны вызвать лишь усмешку. Нет пророков не только в своем отечестве, но и во всех других отечествах. Есть лишь вероятно-прогнозирующий ответственный аналитический ум, способный помочь, предостеречь, воодушевить. Не более! Одной из необходимых опор прогнозирующей способности является исторический опыт. То, что происходит сейчас в России, не слишком оригинально. Бывало во сто крат хуже. Я верю, что Россия станет цивилизованной страной. Не столь ясны перспективы нашей земной цивилизации в третьем тысячелетии. Но мы обязаны верить в творческие возможности решения глобальных проблем. Верить в добрые начала человека, верить в себя, верить в будущее. Всемерно поддерживать, крепить силу духа! Иначе будет хуже.

А мне пора собираться в вечный путь. Я давно, спокойно готовлюсь к роковому часу и твердо намерен до последней минуты сохранить свое достоинство. У философа в этом отношении все же есть ряд преимуществ. Я хочу, чтобы после меня жизнь продолжалась и радовала людей, мою дочь, внуков, их потомков.

310

## ОЛЯ И САША

До того, как мы стали жить с Олей вместе, я знал ее семь лет, и с первого же знакомства проникся к ней особым чувством. Его трудно выразить. В нем было и уважение, и удивление ее непохожестью на окружающих женщин – какое-то особое благородство речи, естественности поведения, что-то далекое, тургеневское. Когда я увидел ее впервые, у нее была большая светло-русовая коса, как у девушек довоенного времени. В последние пятнадцать-двадцать лет такое уже трудно было встретить в больших городах. Но дело, конечно, не в этом; и даже не в миловидном лице, привлекательной фигуре, пластичности движений. Я почувствовал в ней что-то значительное, некое достоинство, ненавязчивое, тихое, не проявляющееся как будто ни в разговоре, ни в манере поведения, но сразу дающее знать о себе.

Это произошло в Твери на кафедре философии и психологии Технического университета, которой заведовала Елена Евстифеева. С ней у меня были давние дружеские отношения. Я помог ей с защитой кандидатской диссертации, а потом и с докторской. Она стала доктором философских наук, профессором и получила кафедру. Я часто приезжал в Тверь, читал лекции, участвовал в кафедральных мероприятиях, в том числе и в застольях по поводу защит и праздников, знал в подробностях членов кафедры. На эту кафедру и пришла работать Оля после того как окончила исторический факультет Тверского университета. У нее проявились склонности к философии и психологии, она поступила в философскую аспирантуру и, благодаря своему научному руководителю Борису Губману (хорошо знакомому мне, заведующему кафедрой Тверского университета), стала ассистентом у Лены Евстифеевой. Олю сразу же нагрузили читать лекции по психологии и вести семинары в двадцати шести (!) группах – каждый день по восемь-десять часов занятий. Хорошая попала «рабочая лошадка!» Молчаливая, смиренная, тянущая воз с энтузиазмом. Весь первый год ей было не до аспирантуры. Но она все же написала и защитила диссертацию, стала кандидатом философских наук, доцентом кафедры. И так уж почему-то вышло, что её и дальше, нагружали больше, чем остальных.

311

Приезжая в Тверь, я всегда стремился увидеть Олю, поговорить с ней. Я питал к ней искренние добрые чувства. Даже недолгое общение на кафедре оставляло, светлое воспоминание, потребность в новых встречах. И я охотно принимал приглашения на всякие кафедральные «мероприятия» с застольем и танцами, предвкушая общение с Олей, остальное меня мало привлекало. Правда, танцы были моей слабостью. При хорошей музыке и подходящих партнершах, я «отрывался по полной программе», это была для меня самая замечательная разрядка – быстрые танцы. Мои многолетние занятия каратэ давали мне, несмотря на возраст, большие динамические возможности для самовыражения. Все это знали, и я не сомневался, что танцевальная часть будет обеспечена. Правда, Оля танцевала со мной как-то скованно, мои попытки расслабить ее, ближе привлечь к себе в медленном танце, оказывались не слишком успешными. Она проявляла ко мне доброе, заинтересованное отношение, но не более. Несколько раз я пытался, очень осторожно, приглашать ее в Москву, чтобы пообщаться с ней более близко, но не находил заметного отклика. Сказывалась огромная разница в возрасте и положении. Когда мы были уже вместе, Оля говорила, что совершенно не догадывалась о смысле моих приглашений, о том, что она очень нравится мне. Вместе с Леной Евстифеевой она два-три раза бывала у меня дома. После таких случаев я опять робко пытался приглашать ее в гости, но с тем же результатом. Так продолжалось несколько лет. И мои надежды и желания то угасали, то снова возрождались.

Но здесь надо сказать и о другом. Более трех лет у меня была подруга – Марина Григорьева, с которой я познакомился на психологической конференции в сентябре 2000 г. На этой конференции, длившейся два дня в загородном пансионате, главную роль играли парапсихологи. Я тогда еще продолжал руководить секцией психорегуляции и резервных возможностей человека, которая объединяла крупных психологов, физиологов, психиатров, философов. Наряду с научным осмыслением уникальных феноменов, мы стремились противодействовать шарлатанству, невероятно расплодившемуся в этой сфере. Организатор конференции, подвизавшийся одно время в нашей секции, настойчиво приглашал меня посмотреть на действия собранных им экстрасенсов. Я несколько раз отказывался, а потом решил, что это может быть полезно для дела, и

согласился. Но при одном условии: что буду присутствовать на конференции инкогнито.

Я приехал туда на своей машине часам к двенадцати, зашел наугад в небольшой зал, где проводился мастер-класс по какой-то восточной практике. Было лишь одно свободное место. Я тихо занял его. Рядом сидела молодая женщина, походившая на японку. Моё присутствие явно начало её беспокоить. Она как-то напрягалась, отвлекалась от канвы проводимого занятия. Я тоже почувствовал себя неловко. Во время обеда в огромном зале человек на триста, администратор показал мне мое место. Надо же! Прямо напротив за столом сидела эта девушка: анфас она выглядела молодой, чем в профиль. Тут мы, конечно, познакомились. Марина приехала из Казани. Будучи экономистом, она решила получить второе, психологическое образование, интересуется экстрасенсорикой и психологией бизнеса. Я играл привычную роль учителя физкультуры в средней школе, говорил, что тоже интересуюсь психологией и восточными практиками. Марине недавно исполнилось 26 лет, она выглядела, я бы сказал, слишком броско: яркая крашенная блондинка, черные брови, черные сверкающие глаза на бледном лице, чувственные губы в темно-красной помаде, глаза заметно раскосые, как у японки или китайки, обаятельная улыбка, обнажавшая добротню сделанные зубы. И одета модно, со вкусом. В общем, кадр, привлекающий повышенное внимание не только мужчин, но и женщин. К ней то и дело подкатывались молодые парни и даже некоторые мэтры, она скромно, с легкой улыбкой отстранявала их. Во время вечерних тусовок я старался держаться в стороне, но Марина находила меня и завязывала разговор. Это, не скрою, мне льстило. И удивляло. В последний вечер она прямо сказала, в лоб: чего это вы куда-то пропадаете, я хочу быть с вами, пойдемте, посидим в кафе или погуляем в парке. Ну, мы, конечно, посидели в кафе, потом погуляли в парке. Утром я уехал, оставив ей телефон. Марина так и не узнала, кто я на самом деле. Меня, правда, на второй день разоблачили. Приехал один философ, у которого я был оппонентом на защите диссертации, потом – знакомый психолог. Но разоблачили тихо. Для Марины я так и остался скромным преподавателем физкультуры. А о ней я знал уже многое. Она, оказывается, занимается бизнесом, владелица кафе и двух магазинов в Казани, и еще какие-то у нее дела. Была замужем, разошлась, своя квартира, машина, дача и т.п. Независимый человек!

«Хорошо знает этих мужиков». Меня привлекало в ней искреннее стремление постигнуть некие «высшие материи»: в чем же «смысл жизни», есть Бог или нет, есть ли судьба, тогда как быть со свободной воли. Не вешают ли нам лапшу на уши экстрасенсы? Хотя в человеке ведь есть нечто такое... необыкновенное, она знает это по своему опыту. Короче, эта бизнесвумен оказалась большим оригиналом.

Она повидалась со своей тетей в Зеленограде, переночевала у нее и утром позвонила мне, приехала в гости и осталась на три дня. Так началась наша дружба с Мариной. Она приезжала ко мне из Казани почти каждую неделю. Вечером в пятницу садится в поезд, в девять утра – звонок в дверь. В воскресенье вечером я ее провожаю. Раз в два-три месяца я приезжал к ней в Казань, иногда оставался почти на неделю. Видел, как она с самого раннего утра до поздней ночи «вкалывает» (другое слово не подходит). Не просто, оказывается, содержать два продуктовых магазина и кафе – туча ежедневных проблем. Бывало и так, что я, не желая сидеть в её уютной квартире, ждать, когда вернется, целый день ездил с ней по делам. Веселая жизнь: санинспекция, налоговая инспекция, банк, администрация, милиция, пожарники, поставщики, кассирша украли деньги, ночью какой-то умелец стащил с крыши антенну – в кафе не работают телевизоры, главная повариха заболела, а тут, как назло, еще отключили электричество и «наехали» бандиты – конкуренты уже существующей «крыши». Марина быстро отображает, быстро – без ахов и охов! – решает задачи, жестко отбирает бандитов, жестко ставит на место поставщика, желавшего ей всучить не тот товар, звонит по телефону одному, другому, третьему и т.д., гоняет на машине из одного конца Казани в другой, в 11 ночи заезжает на закрытие кафе и, наконец, – домой.

Кафе называлось «Удача». Очень уютное, вкусно кормят, вечерами – полно народу. Но ведь изрядно выпивают, случаются разборки. Прикормленная милиция через десять минут на месте, наводит порядок, вытравливает хулиганов, веселье продолжается. В большом зале кафе устраиваются свадьбы, поминки, всяческие юбилеи, надо накрывать столы на 50–60 человек – выгодное дело. После ремонта я помогал Марине оформлять кафе, «работал» у нее дизайнером. А поваров учил готовить украинский борщ (мой фирменный конек!) и вкусную тушеную капусту. В общем, стал в кафе своим человеком, желанным гостем и, можно сказать, приобрел новую квалификацию.

Марина оказалась большим оригиналом и по своей родословной. Дедушка ее был грузин, а бабушка – ламутка, отец же – русский. Но кто такие ламуты? Вы, наверное, впервые слышите это слово. Я тоже впервые его услышал от Марины. Оказывается ламуты – маленькая народность, насчитывающая примерно две тысячи человек; живут они в северной части Магаданского края вплоть до Ледовитого океана. Дедушка из солнечной Грузии был сослан в эти места и там нашел себе жену. Марина родилась в поселке Черский, стоящем у самого Ледовитого океана в устье реки Кольмы, отсюда ее родители переехали в Казань. Она много рассказывала о своей жизни в Черском. Я заинтересовался историей ламутов, раскопал литературу и, в свою очередь, многое рассказал Марине о её предках такого, чего она не знала. Более того, скопировал из разных источников (и перепел для нее в виде книги) основные исторические сведения о ламутах, описания их натуральной жизни, обычаев, верований. Ламуты имели, как ни странно, маньчжурские корни, хотя обитали в бассейне реки Тунгуска (притоке Енисея). Оттуда они, по-видимому, еще в конце XVIII века перекочевали за тысячи километров в магаданские края. Отличительной чертой ламутов было то, что они умели ездить верхом на оленях и научили этому другие северные народности. Марина никогда не общалась с представителями общины ламутов, которые в наше время вели уже по большей части оседлый образ жизни, но по-прежнему занимались оленеводством и рыболовством.

Марина была хорошим человеком, добрым, прямым, искренним. Я желал ей счастливой судьбы, остро понимал, что наши отношения для нее бесперспективны. Примерно через год я стал осторожно говорить об этом, намекая, что нам лучше бы расстаться, что ей нужно выйти замуж, родить ребенка, а она терпела время. Она обижалась, плакала. Так повторялось несколько раз. Спустя еще год, я уже прямо и твердо сказал ей, что надо кончать эти бесперспективные отношения: подумай, сколько мне лет и сколько тебе, ты молодая, красивая, состоятельная женщина, пора устраивать личную жизнь, и мне уже тоже тяжело с тобой. Она рыдала, бросала мне обидные слова. Однажды вдруг быстро собралась и уехала, несмотря на позднюю ночь; я не мог ее удержать. Но через неделю позвонила и вскоре приехала без предупреждения. Опять какое-то время все шло по старому. Снова я жестко говорил с ней, снова она уезжала и снова через месяц-полтора приезжала. Нако-

нец, когда она опять приехала, мы с ней изрядно выпили водочки и говорили по душам до утра. И она наконец-то согласилась со мной. Отныне я стал ее консультантом. Она мне звонила, рассказывала о своих поклонниках. Один из них ей нравился, она стала жить с ним, но через месяц выгнала. Потом был второй, и его постигла та же участь. И я точно не помню: то ли это был третий, то ли четвертый, она все же вышла замуж за сорокалетнего бизнесмена, весьма приличного человека, родила сына, которому сейчас примерно столько, сколько и Саше. У нас сохранились дружеские отношения. Мы были с ней всё же слишком разными, и дело не только в возрасте. Я испытывал большое облегчение, что по-хорошему расстался с Мариной и радовался, что у неё сложилась семейная жизнь.

Теперь, когда я стал свободным человеком, мысли об Оле посещали меня гораздо чаще. В конце 2003 года в МГУ проходила конференция по проблеме сознания, на которой я выступал с докладом. На ней оказались Лена Евстифеева и Оля. Я давно не виделся с ними и очень обрадовался. Мы поехали ко мне домой, поужинали, выпили красного вина, долго сидели при свечах. Это был переломный момент, я понял, что Оля мне очень нужна.

Тверская кафедра пригласила меня на встречу Нового года. Я летел туда как на крыльях. Каково же было мое разочарование, когда Оля там не оказалось. Никто не знал, почему она не пришла. Две недели о ней не было никаких известий. На кафедре всполошились: где она, что случилось. Я тоже очень волновался. Наконец, в десятых числах января Оля объявилась. Она сильно заболела, и все это время находилась у мамы в Удомле, а телефон в это время не работал.

Оля родилась в небольшом белорусском городке Речица. Когда ей было всего пол года родители переехали в Удомлю – новый город в 160 километрах от Твери, где строилась атомная электростанция. Здесь она выросла, закончила школу с медалью, отсюда поступила в Тверской университет. Отец умер. Мать жила одна. Оля ее часто навещала, заботилась о ней, хотя мать была вполне успешной, материально обеспеченной женщиной, работала главным бухгалтером в администрации города.

После того, как Оля, оправившись от болезни, приступила к занятиям, я, выяснив все её телефоны, стал ей часто звонить. Она тоже иногда звонила мне. Между нами стала крепнуть связь. И вот,

316

Оля впервые сама приехала в гости, поздравить меня с днем рождения. Она привезла в подарок замечательный китайский чайник и две чашечки. Мы заварили в нем ароматный чай. Я был на вершине блаженства. Она никуда не спешила. Уехала поздним вечером. С тех пор наши отношения определились. Мы регулярно звонили друг другу. В апреле она опять приехала в гости, мы не заметили, как наступил поздний вечер, и я с трудом уговорил ее остаться ночевать. Разумеется, никаких бурных чувств я себе не позволял. Малейшие поползновения с моей стороны были бы неуместными. Но то, что она осталась, еще более сблизило нас.

После этого наши встречи стали частыми. Мы ходили в музей, на выставки, гуляли по старому Арбату и на Воробьевых горах. С конца мая не раз ездили в Василево. И нам стало ясно, что мы должны быть вместе.

В начале августа мы отправились в Турцию. Это был наш медовый месяц. Незабываемые дни! Я научил Олю плавать. Мы катались в аквапарке с горок, играли в теннис, поднимались с катера на парашюте и парили над морем, ездили на экскурсии. Каждое утро рано поднимались, бежали на пляж, и пока он был пуст, занимались каратэ. Оля обнаружила исключительные способности, ей почти сразу удавались сложные фигуры, непривычные действия (такие, как йоко- или маваши-гери, которые новички разучивают довольно долго). При моем тридцатилетнем опыте преподавания каратэ я не помнил случаев, чтобы так легко, изящно и весьма точно воспроизводили мои движения новые ученики.

После возвращения из Турции мы решили жить вместе. Мы утвердились в наших чувствах и уже не могли быть друг без друга. Оля уволилась из своего тверского института и переехала ко мне в Москву. Конечно, у нее были некоторые колебания – сразу так круто изменить привычный образ жизни, остаться без работы, искать её в Москве и т.д. Но мне удалось сравнительно легко развеять её сомнения. В нашей двухкомнатной квартире появился ещё один письменный стол, воцарились чистота и порядок. Каждый день – приготовленный обед, ласковые слова при возвращении с работы. Какое счастье, когда рядом любимый человек, остроумный, светлый, понимающий тебя с полуслова, когда ты чувствуешь, что тебя любят.

Оля довольно быстро нашла работу, благодаря своей подруге, давно перебравшейся в Москву. Она устроилась в частную фирму,

317

которая проводила психологические тренинги (по подбору кадров и т.д.). Ее клиентами являлись крупные предприятия разного профиля. Оля заняла должность руководителя проектов, занималась организационной работой, осваивала новые тренинги. У нее сразу сложились очень хорошие отношения с сотрудниками фирмы (до сих пор она сохраняет с ними дружеские отношения). Оля зарабатывала втрое больше, чем я. Она быстро приспособилась к московской атмосфере. Вначале ей приходилось далеко ездить на работу с пересадками в метро в часы пик, а потом еще трамваем. Но вскоре нам повезло: фирма сняла новый офис в тридцати минутах ходьбы от нашего дома, причем половина пути – через парк. Теперь, когда утром Оля шла на работу, я из окна мог долго следить, как она пересекает парк.

Примерно через месяц, после того, как мы стали жить вместе, Оля забеременела. Это стало еще одним подтверждением, что наш союз не был случайным. Оля терпеливо переносила свое новое состояние, по-прежнему каждый день ездила на работу. Но плохо выглядела, кашляла. И я решил, пока не поздно, оздоровить ее. Мы поехали на две недели в Египет. Было начало декабря. Погода стояла хорошая. Оля много плавала, и это благотворно сказалось на ее состоянии. До восьмого месяца она ходила на работу. И вот наступили ответственные дни. Мы заранее определили роддом, договорились с хорошим специалистом, следившим последние недели за ее состоянием.

В половине шестого утра 5-го июня на свет появился наш сынок Саша. Все прошло более или менее благополучно. Через неделю я привез их домой, и у нас началась новая жизнь. Первые три дня с нами была Олина мама. Потом мы сами справлялись с многочисленными новыми обязанностями. Через два месяца поехали с Сашей в Василево, на свежий воздух, пробыли там недели три.

Но вскоре после возвращения в Москву Саша заболел. Высокая температура, очень бледный, похуевший, жалобно плачет слабым голосом. Мы все время носим его на руках. Врачи поставили дежурный диагноз: вирусная инфекция. Результаты анализов крови весьма плохие. Лечение не помогает. Что делать? Я позвонил в Израиль моему другу Эмилю Любошицу, профессору-педиатру, замечательному знатоку своего дела. Он внимательно выслушал меня и сказал, чтобы я немедленно связался с Виталием Андрищенко, которого я знал еще по работе в Донецком меди-

ституте, но очень давно с ним не общался. Виталий – самый близкий и любимый ученик Эмиля Любошица. Он – детский врач, главный невролог знаменитой Русаковской больницы. Эмиль позвонил Виталию, подробно его проинструктировал. И когда я с ним связался, он сказал, что надо, не теряя времени, привезти Сашу в больницу.

Виталий встретил нас и в своем кабинете долго, очень внимательно осматривал Сашу, пригласил еще одного врача. Они совещались, но не пришли к какому-то определенному решению. Сашу с Олей положили в больницу. Стало немного легче на душе: всё же теперь Саша под профессиональным контролем. На следующий день картина не прояснилась. Разумеется, я просил Виталия говорить со мной начистоту. Он сказал, что Сашу смотрели лучшие врачи больницы, они склоняются к тому же диагнозу – вирусная инфекция, но у него, правда есть одно слабое подозрение (какое, он не сказал). На следующий день он принял непростое, как он потом говорил, решение проверить это подозрение. И сам сделал Саше пункцию спинного мозга. Она однозначно подтвердила подозрение Виталия: у Саши менингит. Такая страшная болезнь у трехмесячного малыша! Надо ли говорить, как мы это восприняли. Но Виталий стремился нас успокоить: эта болезнь по его специализации, через него прошли сотни таких детей. Сейчас менингит успешно лечится на сто процентов. Главное, что теперь ясен диагноз, который трудно было поставить, поскольку заболевание протекало атипично; кроме высокой температуры, нет никаких характерных симптомов. Не нужно паниковать. Он гарантирует, что все будет хорошо. Сашу и Олю сразу перевели в отдельный бокс, имевший прямой выход во двор. Саше назначили специально подобранные Виталием антибиотики и четыре раза в день начали делать уколы. Чтобы облегчить эту процедуру, Саше под наркозом поставили катетер в районе ключицы, через него вводили антибиотики (тяжкое зрелище!). Спустя два дня температура почти нормализовалась, Саша стал лучше выглядеть, улыбаться, весело двигать ручками и ножками. Немного отлегло от сердца.

Я мог свободно входить в бокс со двора и надолго оставаться там. Внимательно наблюдая Сашу, я убеждался, что он идет на поправку. Виталий еще раз сделал ему пункцию спинного мозга – показатели пока оставались плохими, но результаты анализа крови значительно улучшились. Нам разрешили понемногу гулять. Стоя-

ли теплые солнечные дни. Обширный двор больницы – старый парк, высокие тенистые деревья, поляна со скамейками. Рядом – недавно восстановленная церковь. Мы сидели около нее, Саша спал на руках. Глядя на церковные купола, я готов был молиться за его выздоровление.

Еще через пару дней Виталий опять сделал Саше пункцию спинного мозга. На этот раз все показатели были уже в норме, ему сняли катетер, перестали вливать антибиотики. Дело шло на лад. Бедный малыш перенес столько боли, прошел через многочисленные, неприятные исследования, временами в его глазах, как у взрослого, читалась что-то наподобие грустного недоверия к этому миру. Саша стал любимцем всех медсестер и врачей. Он провел в больнице с Олей почти двадцать дней.

Дома потом еще в течение месяца у него несколько раз ухудшалось состояние, повышалась температура, возникали, судя по всему, приступы головной боли, он принимал всякие лекарства. Виталий консультировал нас по телефону и приезжал несколько раз. Он так много сделал для Саши! В отличие от нас Виталий был человеком глубоко и искренне верующим. И он, когда Саша выздоровел, стал его крестным отцом.

Ровно через год, после того как Саша покинул больницу, ему снова пришлось побывать в ней. Он заболел, повидимому, гриппом. Вначале была небольшая температура, он бегал по дому и ничего не предвещало серьезной угрозы. Но после дневного сна у него случился обморок с судорогами, глаза закатились – ужасно! Я еле привел его в чувство, Оля бросилась звонить в скорую помощь. Мы измерили Саше температуру – 40. Я позвонил Виталию, он сказал, что нужно немедленно сбить температуру и привезти Сашу в больницу. Мы стали растирать его холодной водой. Скорая помощь приехала быстро, ему сделали укол и врач согласилась отвезти нас в Русаковку. Виталий и его коллега сразу же осмотрели Сашу и поместили в такой же бокс, в каком он лежал год тому назад. Температуру сбили, и на следующий день Саша уже бегал, как ни в чем ни бывало. Через пять дней его выписали.

В дальнейшем у нас не было серьезных проблем. Саша развивался нормально. К девяти месяцам он прочно стоял, держась за спинку кровати, переступая ножками, передвигался. В десять месяцев стал вышагивать, когда его держали за ручку, а в одиннадцать пошел сам, да еще сразу с желанием бегать. Ринется бежать,

шлёпнется, поднимется и снова – вперед. Он радовал нас своей сообразительностью, веселым нравом, восхищал своей очаровательной улыбкой. Еще в десять месяцев он отчетливо произносил отдельные слова – «мама», «папа», «дядя», «тетя», «баба», «няня» (имея в виду Олину сестру Таню). А в полтора года слова били из него фонтаном и, что интересно, он строил предложения, используя слова в правильных падежах.

Еще я хочу сказать о других событиях нашей жизни. Они, как и те, которые описаны выше, не интересны никому, кроме моих близких. Но ведь именно для них я и пишу эти воспоминания.

Еще в 2005 году тяжело заболел мой брат Рома, живший уже 25 лет в Америке. Туда со временем, после долгих колебаний переехали и его дочь Лариса, и моя сестра Люся со своей дочерью Инной; все они там со временем неплохо устроились. У Ромы обнаружили злокачественную опухоль мочевого пузыря. К несчастью, она имела такую локализацию, что ее можно было удалить только вместе со всем органом. Вначале его лечили химическими методами, и он продолжал в течение полугода ездить на работу в Университет Нью-Джерси, в котором более двадцати лет состоял профессором и заведовал технической лабораторией. Однако необходимость в радикальной операции неотступно назревала. Ко всему у него неожиданно объявилась коронарная недостаточность и ему срочно сделали операцию на сердце. Она прошла успешно. Через месяц Рома был готов ко второй операции. Её, как и первую, провели специалисты высокого класса, и она тоже прошла успешно. Но после такой операции положение человека резко меняется. Он нуждается теперь исключительно в домашнем режиме и постоянном уходе. Вначале Рома лежал у себя в квартире в Нью-Йорке и с ним находилась Лариса, приехавшая к нему из Вашингтона, где она жила с семьей. Потом ее на месяц сменила моя дочь Ира, прилетевшая из Берлина. После этого Лариса перевезла Рому к себе в Вашингтон. Его состояние ухудшалось. У него все же проявились метастазы, которые во время операции не были обнаружены. Становилось ясно, что нет никаких надежд. Рома отдавал себе в этом полный отчет, вел себя как настоящий мужчина.

В марте 2006 года мы решили поехать в Америку. Рома просил нас об этом. Он хотел увидеть Олю и Сашу. Мы стали собираться. Надо было оформить заграничные паспорта (и у меня, и у Оли они

оказались просроченными), а так же вписать в них Сашу. Долгая процедура. В апреле мы завершили ее, потратили неделю на оформление виз, уплатили 10 тысяч рублей и подали документы в Посольство США, в том числе официальные вызовы Ромы и Люси, заверенные нотариусом, справки о тяжелой болезни Ромы, документы о том, где я работаю и т.д. Далее я хочу рассказать об эпопее с получением визы, ибо она может служить яркой иллюстрацией американского толкования достоинства человека и прав человека.

Довольно быстро, дней через десять, нас вызвали на собеседование в Посольство. Мы часа два ждали на улице в длинной очереди. Было холодно, Саша, бедняга, замерз. Наконец, вошли в помещение. После долгого ожидания нас вызвали к окошку и сняли отпечатки пальцев, потом к другому окошку, за которым сидело лицо, напоминающее робот. Несколько формальных вопросов и сразу вердикт: «Мы не можем выдать вам визу». Я просил выслушать меня, ведь родной брат умирает, он гражданин США, мы хотим... Он обрывает: «Все! До свидания!». И закрывает окошко. Мы были шокированы таким бессердечием. И сильно расстроены, как и все родственники в Америке, особенно Рома.

Что делать? Бывалые люди подсказали: надо подавать на визу одному, трех не пустили, а одного пустят, они боятся, что вы всей семьей останетесь в Америке. Не откладывая, я снова начал собирать документы, много раз звонил в Америку, советовался, мне опять прислали вызовы, справки от врача и из госпиталя, где находился Рома (ибо его состояние резко ухудшилось); в справках прямо говорилось, что брат страдает онкологическим заболеванием и находится в терминальном состоянии. Опять я (как меня научили) выправил все мыслимые справки к моему служебному положению, о всех научных регалиях, в том числе приложил копию моей биографии, опубликованной в энциклопедии «Кто есть кто в мире», издаваемой в США, справки о том, чем я владею в России (квартира, дача, машина) и о том, что в России остаются жена и сын, т.е. доказательства того, что единственная цель поездки в США – свидание с братом и что у меня нет ни малейших оснований оставаться там. Опять я заполнил длинные анкеты, уплатил за визу и подал документы.

На этот раз вызова в Посольство пришлось ждать почти месяц. Я верил, что теперь получу визу: как можно не разрешить проща-

ние с родным братом. И вот знакомое окошко – отпечатки пальцев, потом второе – чрезвычайно полная дама, листающая молча мои документы. Я для нее как бы не существую. Немая минута. Она поднимает голову, никаких вопросов: «вы можете идти, вам сообщать». Я начинаю горячо говорить, что не могу ждать, что должен успеть попрощаться с братом... Она меня жестко перебивает: «Нам нужно кое-что проверить. Вам сообщат. До свидания». Я ушел в надежде, что все будет хорошо. Что проверять? Всё ведь и так ясно. Ну, пошлют запрос в госпиталь...

Через неделю получая, как и в первый раз, дежурную бумажку: мне отказано, поскольку я не представил убедительных доказательств, что не останусь в США и вернусь в Россию. Я был глубоко потрясен и возмущен. Сгоряча написал Послу резкое письмо, но, конечно, не получил ответа. Эмоции – в сторону, надо думать, любой ценой добиться визы, времени осталось мало. Лариса забрала Рому из госпиталя, его дни сочтены. Просто подавать еще раз на визу – бессмысленно, нужны какие-то новые пути. Лариса, её муж Игорь, их знакомые стали решительно действовать. На имя Посла пришло несколько писем с требованием выдать мне визу. Наши сенатора, который послал запрос Послу. Мне с оказией передали копию этого запроса и новые справки из вашингтонского госпиталя со всеми медицинскими выписками и заключением, что срок жизни моего брата исчисляется двумя-тремя неделями. Я снова собрал все документы, сделал фотографии, заполнил анкеты, заплатил за визу и подал заявление, в котором перечислил все события, приложил к нему запрос сенатора и все справки из госпиталя. На собеседование в Посольство меня вызвали через неделю. Снова многочасовая очередь, снова – первое окошко, отпечатки пальцев, потом второе – в нем уже другой персонаж с каменным лицом. Несколько формальных вопросов, «глубокомысленная» пауза и затем знакомые слова «Идите, о нашем решении мы вам сообщим». Легко представить, что я испытал. Но сдержался, чтобы не навредить.

Через три дня я получил паспорт с визой. Это было 2 августа. Я бросился в кассу за билетом. На ближайшие дни нет мест ни в Вашингтон, ни в Нью-Йорк. На рейс в Вашингтон есть места только через неделю, а в Нью-Йорк только на 7-е августа. Любезная кассирша подсказала выход – лететь до Праги, а там через три часа пересадка в Нью-Йорк.

Из Праги до Нью-Йорка я летел 11 часов. Меня встретил Саша (муж Инны), привез к Люсе, которую я не видел несколько лет. Там меня ждала Маша – дочь Ларисы, и через тридцать минут она уже везла меня на своей машине в Вашингтон.

Приехали мы в час ночи. Рома ждал меня. Трудно описывать нашу встречу. Рома лежал в просторной комнате, сильно похудевший с заострившимися чертами лица. Мы обнялись, поцеловались, я с трудом сдерживал слёзы. Рома долго держал мою руку в своей руке, нам не нужно было слов. В последующие дни мы много общались, вспоминали прошлое. Рома вел себя в высшей степени достойно, непременно брился каждый день, деловито обсуждал с Ларисой вопросы наследства, спокойно говорил о скорой смерти. Он подробно расспрашивал меня о Саше и Оле, удовлетворенно рассматривал их фотографии. Ежедневно его навещала патронажная сестра, симпатичная полная негритянка, она мыла его, меняла белье, давала лекарство, с улыбкой, шутками, и Рома старался отвечать тоже шутливо. Так принято у американцев: поддерживать настроение, делать вид, что всё окей. Несколько раз в день у Ромы возникали приступы: лицо его краснело, он напрягался, уходил в себя. Лариса давала ему какое-то лекарство, и он засыпал. В американской медицине все отлажено так, чтобы не испытывать боли и страдания, предусмотрены соответствующие лекарства и мероприятия. Рома лежал на специальной медицинской кровати. Нажатием кнопки можно регулировать высоту изголовья, удобное для больного положение.

Рома таял на глазах, все чаще впадал в забытие, много спал. Ночью с ним оставалась Лариса, рядом на диване. Она говорила, что Рома не испытывает боли, и это было видно по его поведению. Днем я почти все время был около него. Когда он чувствовал себя сносно, мы с ним обсуждали разные вопросы, вплоть до положения дел в России, вместе смотрели телевизор.

Срок визы подходил к концу, 12 августа я должен был вылететь обратно. А 11-го у Люси – день рождения, круглая дата, 65 лет. Мне надо было обязательно побыть с ней хоть немного, ведь столько лет не виделись и неизвестно, увидимся ли еще. Последние два дня Рома почти все время был в забытии, как будто спал. На некоторое время приходил в себя, но ему трудно было разговаривать. Он настаивал, чтобы я провел день рождения Люси с ней.

324

10-го вечером мы попрощались, он находился в ясном сознании и сказал, что ему осталось 5-6 дней. Поздно ночью Маша привезла меня в Нью Йорк к Люсе. Её день рождения мы провели вместе.

Здесь я позволю себе небольшое отступление. Впервые я посетил Америку в 1989 году. Ещё тогда меня удивил высокий жизненный уровень, несопоставимый с нашим российским. Разумеется, я не общался с миллионерами и прочими сливками общества, а лишь с простыми людьми – рядовыми служащими фирм, рабочими, преподавателями университетов, пенсионерами, научными сотрудниками невысокого ранга. И меня не покидало чувство, что их потребительские аппетиты чрезмерны. Человеку ведь не нужно столько разнообразных вещей, продуктов питания, столько одежды, такой гигантской массы материальных соблазнов. И, главное, достигнув какого-то уровня достатка, даже очень высокого, американец изо всех сил стремится его резко увеличить, не зная меры. Сейчас такое мы видим и у нас. Но нам слишком далеко до американцев. Вот, например, моя племянница Лариса – обычный биохимик в университетской лаборатории, ее муж Игорь служащий государственного предприятия. Они давно живут в трехэтажном доме, в цоколе которого просторный гараж и служебные помещения. В квартире порядка десяти комнат, причем на втором этаже огромная гостиная и большая застекленная терраса, на каждом этаже ванная и туалеты, во дворе бассейн, всё автоматизировано и механизировано; таких холодильников, вмещающих наверное пол тонны продуктов, я никогда не видел. У каждого – Ларисы, Игоря и Маши – своя автомашина, причем довольно новая и «продвинутая». Их дом расположен в ближайшем пригороде Вашингтона, в лесу, из окна видно как белки скачут по деревьям или пробегают по лужайке.

Собственно, у Ларисы не отдельный дом, а трехэтажная квартира, одна из трех секций единого дома. Но от соседей все отделено наглухо, в том числе и двор (он, правда, небольшой). А вот у ближайшей подружки Ларисы Тани и ее мужа Миши – отдельный дом, комнат на двадцать или близко к этому, участок площадью около гектара, по периметру обсаженный высоким кустарником, скрывающим ограду, вся территория – ухоженный газон, много разнообразных цветов, высокие деревья, беседки, полянка для шашлыков со всеми принадлежностями, а, главное, бассейн дли-

325

## Д. И. ДУБРОВСКИЙ

ною в 25 метров. Вокруг лес, до соседей далеко. Я видел, как рядом разгуливали олени. Таня такой же биохимик, как и Лариса, а Миша – их начальник, заведующий лабораторией, он, правда, достиг в науке некоторых существенных результатов. Лариса говорила мне, что тоже очень хочет иметь такой отдельный дом, она с Игорем собирает для этого средства и намеревается взять кредит (сейчас их мечта уже осуществилась). Таковы примеры жизненно-го уровня наших бывших сограждан.

Что касается Люси, то она в американском обществе находится на самом нижнем социальном уровне: получает пенсию в 600 долларов в месяц и еще какие-то небольшие деньги, подрабатывает два-три дня в неделю – ухаживает за весьма состоятельной пожилой женщиной. Она живет в довольно большой двухкомнатной квартире, которую получила практически бесплатно, как пенсионер (у них есть такая социальная программа). Совсем недалеко от неё живет Инна с Сашей и двумя детьми – тоже удобно. Люся довольна своим материальным положением, чувствует себя независимой, помогает Инне, занимается внуками. Мы весь день общались с ней, вечером отметили ее юбилей, а наутро я тем же путем, через Прагу, вылетел в Москву.

Рома умер 16 августа, как и предвидел, на шестой день после моего отъезда. В последние дни он не приходил в сознание. Его похоронили в Нью-Йорке.

Сразу после прилёта в Москву я помчался в Василево к Оле и Саше. Они приехали туда из Удомли с Ниной Петровной. Саша радостно встретил меня, не сходил с рук, всё повторял «папа», «папа». За две недели он многому научился: лазать самостоятельно по лестнице на второй этаж, играть с мячом. По просьбе Оли он стал показывать, каким он станет высоким: поднимался на цыпочки и тянул руку над головой. У него объявилась главная страсть – автомашин. Из всех игрушек на первом месте машины. Все проезжающие мимо машины – в центре внимания. Машина соседа Юры, стоящая у дома, самый интересный объект в округе. Саша постоянно тянет меня в гараж, где стоит наша машина. Я сажаю его на переднее сиденье, подкладывая под спинку подушку, он хватается за руль и начинает дергать его туда-сюда, «рулит», нажимает все кнопки, быстро научился нажимать клавишу сигнала на руле, и бесконечно «бибикает», будоража всю деревню. Эта

страсть сохранилась и по сей день. Во время прогулок мы обязательно должны пройти мимо длиннейшего ряда машин, стоящих вдоль дома. И Саша безошибочно перечисляет их марки и виды (скажем, не просто «Хонда», а «Хонда-Цивик» или «Хонда-Аккорд», не просто «Форд», а со всеми его разновидностями, которые даже мне неизвестны). Он твердо знает почти все марки машин. Если встречает новую, то настоятельно требует, чтобы Оля прочла и рассказала, как она называется. Он прочно запоминает с первого раза и потом учит меня. Прохожие оборачиваются, удивляются, услышав от такой крохи громкие восклицания «Пежо!», «Сузуки!», «Фольксваген-Пассат!». Дома у Саши скопилось около сотни игрушечных машин всех марок. От этого автопарка некуда уже деваться.

В нашей двухкомнатной квартире стало тесно. Малая комната снизу доверху заставлена книгами, компьютером, принтером, телевизором и т.п., трудно пройти к письменному столу. В большой комнате тоже негде развернуться. Сашина кровать перегородивает ее посередине. В одной части его «рабочее» место с кучей игрушек. В другой – кресло и большой спальный диван. Нужна еще одна комната – для малыша. Как решить эту проблему? Цены на квартиры выросли за год вдвое и продолжают расти. Цельный год я собирал деньги продавал всё, что можно. У меня была большая коллекция работ замечательного художника Анатолия Зверева, с которым дружил долгие годы. Я продал ее, включая свой большой портрет. Но денег не хватало. И тогда мой сравнительно недавний приятель, весьма состоятельный человек (не называю его фамилии, так как не убежден, что он одобрил бы это) неожиданно выручил меня. По своей инициативе, без процентов, отказавшись даже взять расписку, он дал мне весьма большую сумму, которой не хватало. Трехкомнатная квартира, подобранная нами, находилась в соседнем доме, недалеко от парка. Она была в очень хорошем состоянии (пару лет тому назад в ней провели основательный евроремонт – полы, стеклопакеты, двери, сантехника в идеальном порядке). Если бы мы промедлили еще несколько дней, эта квартира бы ушла; хозяин больше не мог ждать, у него были другие клиенты; к тому же и покупатель нашей квартиры не хотел больше ждать. В случае же его отказа сделка лопнула бы – начиная всё сначала. Поэтому трудно выразить меру нашей благодарности тому, кто так велико-

326

327

душно выручил нас. Через несколько месяцев мне удалось продать, наконец, картину Шильдера и еще кое-что, и я рассчитался с ним. Вот уже больше года мы живем в новой квартире, Саша бегает по комнатам и даже разезжает по ним на велосипеде. Он и я с Олей очень довольны. Из Америки приехала Луиза, жена Романа, с которой он прожил более двадцати лет. Ей очень понравилась наша квартира. Она привезла уже не в первый раз Саше кучу подарков. Именно по ее инициативе Роман взял курс на Америку. Она переехала туда постепенно и всю свою грузинскую родню. Обладая незаурядным коммуникативным талантом, Луиза быстро освоилась в новой среде, в отличие от всего семейного окружения быстро научилась говорить, причем без малейшего акцента. Ее энергия, общительность, оптимизм и доброжелательность служили опорой всем родственникам, перебивавшимся в Америку, создали ей широкий круг друзей и приятелей.

В июне 2007 года мы три недели отдыхали в Турции. Решили оздоровить Сашу. Он впервые летал на самолете, купался в море, носился по песчаному пляжу. Везти малыша, которому исполнилось два года, так далеко, в непривычные климатические условия, было весьма рискованно. Все, однако, прошло благополучно. Саша загорел, окреп, обогатился массой впечатлений. После Турции мы поехали в Василево. Там у нас свой огород, выращенный стараниями Нины Петровны: огурцы, зелень, картофель, морковь, ягоды. В этом году был неимоверный урожай яблок.

Каждое лето, именно в Василево, мы долго общаемся с Ирой и ее мужем Томом, с моими любимыми внуками Петей и Ваней. Том (его фамилия Купер) – англичанин, вернее, наполовину: отец англичанин, а мать француженка, они оба известные лондонские юристы, и два брата у Тома тоже юристы. Том переводчик, знающий шесть языков. За долгие годы совместной жизни с Ирой он, конечно, выучил и русский. Я очень люблю Тома. Он добрый, искренний, благородный человек, к тому же интеллигент в подлинном смысле этого слова. В нем нет ни капли британской чопорности. Надо видеть его в деревне, когда он чинит крышу, копает землю, общается с местными жителями. Для Иры и Тома деревня самое любимое место для отдыха. Каждое лето они приезжают сюда из Берлина на своей мощной «полицейской» машине (купленной у немецкого полицейского). В двадцати километрах от Василево

в деревне Кресты у них свой дом. Это действительно райское место. Дом стоит на высоком берегу чистойшей в этом месте реки Тверцы (много кувшинок!). Река в ширину метров пятьдесят, на противоположном берегу – стена соснового бора. В Крестах всего шесть домов, окруженных лесом, в котором немудрено заблудиться. В эту деревню фактически нет дороги, последние пару километров после хорошего дождя непроезжие. Добраться можно с трудом только на «полицейской» машине. Воду берут из родника, в лесу нравятся и ягоды. И рыбка в Тверце еще не перевелась. Вот, где, действительно, осталась нетронутая природа и нет «благ» цивилизации. За это и обожают Кресты Ира и Том. Они там хозяйничают. Том стал крупным специалистом по ремонту дома, заготовке дров, другим сельским занятиям.

Саша, как и я, тоже очень любит Тома, часто вспоминает его, помнит, где он сидел у нас на кухне в новой квартире, и уж когда его просят съесть еще одну ложку супа («за Тома»), он ест безотказно, чего не скажешь о других персонах.

Мы хотели осенью отдать Сашу в детский сад, но, посмотрев на условия, воспитательницу и прочее, передумали. Оля водит его дважды в неделю на плавание в детсадовский бассейн. Это ему нравится, не говоря уже о пользе для здоровья. В сентябре 2008 года рассчитываем все же приобщиться к детскому саду (другому, более благополучному). Саше нужен опыт общения с детьми. Он у нас весьма «продвинутый» мужичёк, в два года и девять месяцев умеет считать до тридцати, знает цифры и буквы, читает простые слова, знает множество стишков и песен, исполняет на бис «Солдатушки, добры ребята...», «Ничего на свете лучше нету...» и другие песни, причем с выражением и соблюдая мотив. Он любит это. Каждый день чуть ли не по часу, без антрактов, поет громким голосом одну песню за другой, так что у нас звенит в ушах. У парня явные вокальные способности.

Я по-прежнему много тружусь, силовые цейтноты. Помимо работы в Институте философии, читаю курс лекций по проблеме зонирования на философском факультете Высшей школы экономики и в нашем ГУГНе. (Государственном университете гуманитарных наук) Но особенно много времени и сил отнимает Научный Совет РАН по методологии искусственного интеллекта, Председателем которого я являюсь вот уже более трех лет. Председатель Совета,

известный математик, академик Валерий Леонидович Макаров, человек чрезвычайно занятый, он – Академик-Секретарь отделения общественных наук РАН, член Президиума Академии, директор Центрального экономико-математического института РАН, член Совета по науке и технологии при Президенте РФ и т.д. Поэтому вся организационная работа (и не только!) лежит на мне. Второй Сопредседатель Совета – мой приятель (с тридцатипятилетним стажем) академик Владислав Александрович Лекторский тоже очень занят: главный редактор журнала «Вопросы философии», зав. отделом Института философии и еще у него пол десятка разных должностей, ко всему – возраст: перевалило за 75. Мое преимущество в том, что у меня, слава богу, только одна должность – главный научный сотрудник Института философии. Она не обременительна, оставляет широкий простор для научных занятий. Если бы только, конечно, не всякие нагрузки, большинство которых, в общем-то, мы сами взваливаем на себя. Вот уже год, как меня избрали Председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны (это, как говорится, святое дело). У меня два докторанта, всякие консультации и доклады в разных местах, я член Совета по защите диссертаций. Более пяти лет мы с Ильей Георгиевичем Касиным руководим институтским постоянно действующим семинаром «Проблемы рациональной философии», он оказался востребованным, ежемесячно собирает от 30 до 60 человек, как правило, ведущих специалистов. Мы провели уже 53 (!) заседания этого семинара. Кроме того, я веду в Институте группу каратэ, каждую неделю, по два часа. Так понемногу отовсюду набегает. А, главное, надо заниматься научной работой, много читать, руководить исследовательской программой. И в результате суток становится мало.

Но не менее семидесяти процентов моего времени отнимает Научный Совет РАН по методологии искусственного интеллекта. Он был создан в начале 2005 года после Первой всероссийской конференции «Философия искусственного интеллекта», на которую приехали представители 44 регионов России. Как один из главных организаторов конференции, я не ожидал такой активности; причем большинство участников были отнюдь не философы, а специалисты в области компьютерных наук, психологии, нейрофизиологии, лингвистики. Это подтверждало давно назревшую по-

требность в организованном междисциплинарном диалоге среди тех, кто занимается проблематикой искусственного интеллекта, высокую актуальность разработки теоретических и методологических вопросов в этой области. Мы с Владиславом Лекторским решили создать Научный Совет, обратились к академику В. Л. Макарову с просьбой возглавить его и тот без колебаний согласился.

К этому делу я приложил много стараний, памятуя о том, какую роль играл в свое время Научный Совет Академии наук СССР по кибернетике под председательством академика А.И. Берга, сколь многим я лично обязан этому Совету (ведь благодаря ему еще в 1971 году в издательстве «Наука» была опубликована моя монография «Психические явления и мозг. Философский анализ проблемы в связи с актуальными задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики», объемом в 25 авторских листов; в те годы выпустить такую книгу, да еще в издательстве «Наука» для провинциального доцента было делом совершенно невыполнимым). Совет оказывал тогда подобную поддержку очень многим молодым ученым, что имело решающее значение для их роста. К сожалению, после смерти Акселя Ивановича Берга Совет распался.

Наш Совет мыслился мной как продолжение дела А.И. Берга. В его состав вошли более 40 крупных ученых – философов, психологов, нейрофизиологов, математиков, специалисты в области компьютерных наук, в том числе директора и заместители директоров ряда академических институтов (таких, например, как Институт проблем управления, Институт проблем информатики, Институт системного анализа, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, Институт прикладной математики, Институт психологии и др.). Ежемесячно (в последнюю среду) регулярно проводятся заседания Совета, на которых обсуждаются научно-организационные вопросы его деятельности и столь же систематично проводятся теоретические семинары Совета по актуальной проблематике искусственного интеллекта (проведено 27 таких семинаров, материалы которых неоднократно публиковались; некоторые из них в виде статей были собраны в коллективной монографии «Искусственный интеллект: междисциплинарный подход», вышедшей под редакцией моей и В.А. Лекторского; это большая и интересная книга, объемом 25 авторских листов).

За три года мы провели немало крупных мероприятий – две Всероссийские конференции молодых ученых, ряд других конференций, симпозиумов, круглых столов, издали пять книг, начали выпускать журнал «Вопросы искусственного интеллекта», есть еженедельный дайджест «Интеллектуальные информационные технологии». В составе Совета семь секций, охватывающих основные направления его деятельности, и что особенно важно – 14 Региональных отделений (от Владивостока до Калининграда, включая такие крупные научные центры как Санкт-Петербург, Пермь, Уфа, Самара, Новосибирск, Иркутск и др.).

Несмотря на столь большую и многоплановую деятельность, получившую поддержку в регионах, Академия не финансирует Совет. Вся работа проводится исключительно на общественных началах. У нас нет возможности содержать даже платного технического секретаря. Все наши ресурсы в 2007 году состояли из гранта РГНФ в 150 тыс. рублей, на которые мы умудряемся издавать журнал и поддерживать сайт Совета. Я и мои коллеги верим, что разработка философских, методологических и теоретических проблем искусственного интеллекта, столь интенсивно ведущаяся в Европе и в США, важное условие возникновения прорывных направлений в развитии информационных технологий. Как ни печально, высокое начальство у нас пока не понимает этого. Нет и не предвидится никакой помощи со стороны государства. Слишком сильны бюрократические препоны. Даже академик В.Л. Макаров – член Президиума РАН, Академик-Секретарь и т.д. – ничего не может сделать.

Совет стал, без преувеличения, центром разработки теоретико-методологических вопросов искусственного интеллекта в нашей стране. Это единственная у нас крупная научная структура, которая ведет систематическую работу в данном направлении, организуя ее и во многих научных центрах России. Ясно, что без определенной, пусть небольшой, финансовой поддержки эта работа не может развиваться. Потеряв надежду на такую поддержку со стороны государства, мы решили сами зарабатывать необходимые средства, создали юридическое лицо в качестве рабочего органа Совета, имеющее право заключать контракты, выполнять платные работы в нашей области. Но дело это весьма сложное, требующее специалистов-менеджеров. Кустарные методы тут не помогут. И пока мы за три месяца не добились каких-либо результатов.

332

Последние пол года дела Совета отнимают у меня почти все свободное время, нередко приходится работать буквально днями и ночами, на пределе своих сил. Дальше так продолжаться не может. Мне пошел восьмидесятый год, пора и честь знать. Ищу себе премьера. Но не просто найти доктора наук – на бесплатную, систематическую, большую по объему и весьма ответственную работу. А просто бросить не позволяет чувство долга, и – жалко. Столько сил и времени потрачено, отнято у семьи. Надо хотя бы добиться создания элементарной финансовой базы, чтобы детище наше продолжало жить, не развалилось.

Эту проблему я должен решить во что бы то ни стало и как можно быстрее, ибо времени жизни осталось совсем мало. В моем возрасте все может случиться неожиданно быстро. Тем более при таких нагрузках, систематическом недосыпании и постоянном чувстве цейтнота. А ведь мне важно еще успеть кое-что сделать не только в научном плане, но и для моего дорогого малыша.

За последние годы я опубликовал более десятка важных (как мне кажется) статей по разным аспектам проблемы сознания (гносеология субъективной реальности, сознание и мозг, естественный интеллект и искусственный интеллект, взаимосвязь альтруизма и эгоизма в структуре сознания и их генетические корни и др.). Несколько статей были специально посвящены критическому анализу концепций ряда ведущих представителей современной аналитической философии (Т. Нагель, Дж. Серл, Д. Деннет, Д. Чалмерс); в них шла речь о проблеме «сознание и мозг», и я стремился не только высказать критические соображения, но и показать преимущества предлагаемого мной теоретического решения указанной проблемы. В прошлом году вышла моя книга «Сознание, мозг, искусственный интеллект» (М., «Стратегия-Центр», 2007). В текущем году скоро выйдет под моей редакцией коллективная монография «Проблема сознания в философии и науке» (в которой почти четвертая часть написана мной).

Первое издание моих воспоминаний появилось около восьми лет тому назад. Как сильно изменилась жизнь за это время благодаря развитию информационных технологий. Без компьютера и мобильного телефона теперь ни шагу. Даже Саша садится за мой стол и уже совершенно самостоятельно набирает нужные цифры и играет в свои детские компьютерные игры (про десять обезьянок

333

и др.). Удивительно, как быстро такой малыш осваивает операции на компьютере. Разговорам же по мобильному телефону он обучился давно. Какое счастье видеть его рядом, слушать его песни, играть с ним в прятки, купать его, заниматься с ним физкультурой, смотреть на его милую, умную мордочку, удивляться его «взрослым» рассуждениям, испытывать необыкновенную нежность и радость, когда он обнимает и целует меня со словами «Спокойной ночи!»

Моя задача-максимум – дотянуть до того времени, когда Саша пойдет в школу, т.е. прожить еще 3-4 года. Сложно, конечно. Но я буду стараться!

И в заключение я хочу повторить то, что сказал в Предисловии к первому изданию: пусть жизнь Саши и Оли, Иры и Тома, всех моих внуков и правнуков, всех близких будет не менее содержательной, долгой и удачливой, чем моя!

10 марта 2008 г.

334

СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ</b> .....	3
<b>НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВТОРОМ ИЗДАНИИ</b> .....	5
<b>ДЕТСТВО</b> .....	7
<b>ВОЙНА</b> .....	13
1. Эвакуация .....	13
2. Село Штефан. Колхоз «Искра» .....	17
3. Рассказы отца .....	20
4. Колхоз «Искра» (продолжение) .....	25
5. Завод .....	29
6. Дорога на фронт .....	49
<b>ФРОНТ</b> .....	84
1. Банно-прачечный отряд .....	88
2. Боевое крещение .....	91
3. «Прощай Родина!» .....	101
4. Гриша .....	105
<b>КАК Я ЧУДОМ НЕ ПОГИБ ПОСЛЕ ВОЙНЫ</b> .....	113
<b>МЕЛИТОПОЛЬ</b> .....	123
<b>КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ</b> .....	143
<b>БОЛЕЗНЬ</b> .....	167
<b>МОИ КРИМИНАЛЬНЫЕ ДЕЛА</b> .....	195
<b>ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УЧЕБЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ</b> .....	214
<b>О ТРЕХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЯХ</b> .....	227
1. Геннадий Сардионович Гургенидзе .....	227
2. Владимир Спирионович Готт .....	253
3. Владимир Павлович Эфроимсон .....	285
<b>ОЛЯ И САША</b> .....	311

335

Аннотированный список книг издательства Канон +  
РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте  
[iph.ras.ru/kanon](http://iph.ras.ru/kanon) или <http://journal.iph.ras.ru/verlag.html>  
Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу:  
[kanonplus@mail.ru](mailto:kanonplus@mail.ru); [bozhkoyna@mtu-net.ru](mailto:bozhkoyna@mtu-net.ru)

**ДУБРОВСКИЙ**  
**Давид Израилевич**

**ВОСПОМИНАНИЯ.**  
***Моим детям, внукам и правнукам***

Издание 2-е, дополненное

Ответственный за выпуск *Божко Ю. В.*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 21.11.2008.  
Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Печать офсетная. Бумага офсетная.  
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 22,0. Тираж 3000 экз.  
(первый завод 800 экз.). Заказ .

Издательство Канон + РООИ «Реабилитация»  
111672, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28.  
Тел./факс 702-04-57.  
E-mail: [bozhkoyna@mtu-net.ru](mailto:bozhkoyna@mtu-net.ru); [kanonplus@mail.ru](mailto:kanonplus@mail.ru)  
Сайт: [iph.ras.ru/kanon](http://iph.ras.ru/kanon) или <http://journal.iph.ras.ru/verlag.html>

Республиканское унитарное предприятие  
«Издательство “Белорусский Дом печати”».  
220013, Минск, пр. Независимости, 79.